

К. ПАУСТОВСКИЙ

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ

Время больших ожиданий

Константин Георгиевич Паустовский

Аннотация
Константин Паустовский. ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ
МАСТЕР. Предисловие
ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ. Повесть
- Предки Остапа Бендера
- Лабиринты из фанеры
- Ячная каша
- Блокада
- Хитросплетение обстоятельств
- «День мирного восстания»
- Австрийский пляж
- Глицериновое мыло
- Рубка мебели
- Полотняные удостоверения
- Похищенная речь
- Мнимая смерть художника Костанди
- «Что вы хотели, молодой человек?»
- «Мопассанов я вам гарантирую»
- «Тот» мальчик
- Каторжная работа

Близкий и далекий
Скандал с благородной целью
Замедленное время
«Прощай, моя Одесса, славный карантин!»
Одиннадцать баллов
Акрополь таврический
В глубине ночи
РАССКАЗЫ
Кофейная гавань
Жара. (Записки лейтенанта Жиро)
Ценный груз
Черные сети
Соранг
Доблесть
Морская прививка
Парусный мастер
Потерянный день
Австралиец со станции Пилево
Робкое сердце
Бриз
Роза ветров
Встреча
Черноморское солнце
Умолкнувший звук

Аннотация

В сборнике представлены автобиографическая повесть «Время больших ожиданий» и рассказы на морскую тематику.

Предисловие Ю. В. Бондарева «Мастер».

Константин Паустовский
ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ

К. ПАУСТОВСКИЙ

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ

Повесть, рассказы

Одесса
ИЗДАТЕЛЬСТВО „МАЯК"
1977

СОДЕРЖАНИЕ

Мастер. *Ю. Бондарев* 3

Время больших ожиданий. *Повесть* . . . 9

Рассказы 225

Кофейная гавань 227
Жара 239
Ценный груз 251
Черные сети 261
Соранг 269
Доблесть 273
Морская прививка 281
Парусный мастер 290
Потерянный день 296
Австралиец со станции Пилево . . . 308
Робкое сердце 324
Бриз 334
Роза ветров 340
Встреча 353
Черноморское солнце 359
Умолкнувший звук 365

Константин Георгиевич
Паустовский

ВРЕМЯ
БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ

Повесть, рассказы

(Серия
«Морская библиотека»)

Редактор-составитель
Ждана Ивановна
Зинченко

Художественный редактор
И. С. Белоус

Технический редактор
Т. Н. Молчанова

Корректор
В. Д. Шкодовская

ИБ № 152

Сдано в набор 23.XI. 1976 г. Подписано к печати 28.IV. 1977 г. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. На текст бумага типографская № 1, на вкладку — офсетная. Усл. п. л. 19,74+вкл. 0,42. Уч.-изд. л. 20,13+вкл. 0,38. Цена 1 руб. 60 коп. Зак. 6-473. Тираж 150 000 (1-й завод 1—50 000).

Издательство «Маяк», Одесса,
ул. Жуковского, 14

Книжная фабрика им. М. В. Фрунзе Республиканского производственного объединения «Полиграфкнига» Госкомиздата УССР Харьков, Донец-Захаржевская, 6/8.

Константин Г. Паустовский
ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ
Одесса, «Маяк», 1977 г.
Серия: «Морская библиотека», кн. 12
Тираж: 150 000 экз.
Обложка: твердая
Формат: 84х108/32 (130х200мм)
Страниц: 374
Составитель: Ж.И. Зинченко
Редакционная коллегия:
Г.А. Вязовский, И.П. Гайдаенко,
М.А. Левченко, И.И. Рядченко

МАСТЕР
Предисловие

Работа писателя напоминает тяжелейшую работу землекопа, роющего колодец в выжженной степи. Обливаясь потом, он день за днем — иногда годами — вгрызается в землю с фанатичным упорством, стараясь добраться до глубинной воды и испробовать вкус ее. Потом он отдает отрытые колодцы людям. Нередко же вода в них бывает солоноватой, порой с железистым привкусом горечи — тогда она не освежает, но люди пьют ее, испытывая еще большую жажду.

Константин Паустовский черпал из своих колодцев первозданно чистую воду — от нее исходит лесная прохлада, она утоляет жажду.

Его кристально отточенные слова сияют, переливаются, как капли на листьях, освещенные солнцем. И его книги наполнены прозрачным и душистым воздухом. Они издают запах утреннего моря, благостно-тихих лугов, закатного леса с сухим туманцем в коридорах просек; от страниц веет мягкой тишиной вечереющих полей.

Может быть, во всем этом ощутимо умиленное

созерцание окружающего мира? Умиротворенный взгляд окрест себя? Нет, в этом лиричное познание самого человека как частицы природы, рожденной ею, и познание доброты, которая подчас в сумасшедшем ритме каждодневных дел раздробляется, распыляется в мелочах. И тогда уже некогда внимательно оглянуться, всмотреться в предметы, осмыслить прожитый день, ощутить вне себя и в себе извечную красоту. Но именно она делает нас добрее, цельнее, благороднее. Почему же так заметно стремление Паустовского идти через красоту мира к доброте и от доброты к красоте мира?

Пути воздействия литературы не изведаны, так же как не изведаны психология творчества, стилистические склонности или верность писателя своим героям. Мы утверждаем: оселок образа — острейший конфликт. Да, разумеется, это так. Но истина эта не может быть абсолютной, ибо, признавая ее непоколебимой, мы надеваем на нее обруч литературной догмы — и в конце концов ограничиваем самих себя. От частого употребления, от беззастенчивой заемности общеизвестных положений они нередко теряют свою воздействующую силу.

Сила таланта Паустовского в неизменном ощу-

щении молодой открытости и чистоты его героев, и я беру на себя смелость сказать, что для него критерий истины и морали — красота мира и красота духовная.

Нет сомнения, что в этом неотразимость прозы Паустовского и этим объясняется его неугасающая популярность. Он никогда не был «моден» или «немоден» — его читали всегда. Он всегда был далек от всякой литературной суеты вокруг своего имени, от ложных фейерверков неудержимых восторгов, от фельдмаршальства в искусстве, разрушающих талант любой величины.

Иногда меня спрашивают, почему я так люблю Паустовского, ведь он пишет в другой манере, разрабатывает другие темы, его герои непохожи на моих героев.

Я люблю Паустовского потому, что именно он, выдающийся мастер, в самом начале моего литературного пути открыл мне изящество, алмазный блеск самого простого слова, потому что я был покорен его любовью к человеку и в его книгах, и в жизни. Есть писатели, наделенные счастливой судьбой: книги их не теряют свежести под воздействием лет и времени и, несмотря ни на что, не стареют — всегда остаются молодыми. Живые клетки таких вещей — не что иное, как

чистейшая позиция художника.

На книгах Паустовского воспитывалось не одно поколение. Я помню, с какой жадностью мы зачитывались в школьные годы ставшими потом знаменитыми «Колхидой», «Кара-Бугазом», «Черным морем», они переходили из парты в парту, из портфеля в портфель, из дома в дом, закапанные чернилами, с потертыми обложками, с захватанными корешками. Я только теперь понимаю, что донельзя потрепанные, с заклеенными страницами книги — самая большая награда для скромного писателя.

Мы часто говорим, часто сетуем, что многие наши книги не трогают и не греют. Я знаю иное. Я знаю молодых людей, которые захотели стать и стали моряками после того, как влюбились в «Черное море» Паустовского, — не это ли самое сильное влияние слова? Я знаю и никогда не забуду своего друга детства, который в сорок первом ушел в ополчение со страстной мечтой о море, привитой книгами Паустовского, и погиб под Москвой, сжимая жесткую деревянную ложу винтовки и видя не Черное море, а черные тела танков, ползущих сквозь черный, обугленный лес перед траншеями.

Эмоциональное воздействие Паустовского,

видимо, объясняется не только человеческой чистотой, естественным благородством его героев, не встающих на цыпочки, но и тем, как писатель умеет создавать неповторимую атмосферу, настроение, тот вещественный и порой невещественный мир, окружающий героя, ту пленительную обстановку, без которой герой бестелесен и тускл. Эта поразительная игра светотеней, точное сочетание красок, звуков, запахов, ритм, тональность — завидная способность, встречающаяся не так часто в нашей литературе.

Я могу закрыть глаза и по ощущениям Паустовского вспомнить, как покойно на рассвете море и как горяча галька, прожженная солнцем, как теплы в полдень стены домов в Новороссийске и Одессе, как догорает закат в пролете сосен, как ложится первый снег на проселочные дороги и подымается едкий туман над влажной малярийной Колхидой, как скрипят половицы в старом, рассохшемся доме, наполненном бледно-снежным светом российской вьюги, как вечером пахнет мокрыми заборами в маленьком приокском городке, как ровно шумит дождь по крыше, как в осенние ночи остро блестит, переливается созвездие Орион над темными лесами, отражаясь

в воде.

У Константина Паустовского удивительное и завидное свойство точно передавать свои ощущения — это, совершенно очевидно, достигается лишь высоким мастерством. Паустовский — писатель точного эпитета. Он создает пейзаж так осязаемо отчетливо, так лаконично и просто — изумляешься его зоркому глазу, его ясности.

Герои его всегда соучастливы, мужественны, скромны и лиричны. Добр и пейзаж — пусть не покажется это странным. Неразделимо и герои, и пейзаж несут тот эмоциональный заряд человеколюбия, который неизменно вызывает ответную эмоциональную волну. И это — качество тонкого писателя.

Немного можно назвать прозаиков, наших старых мастеров, о ком бы так охотно, так нежно говорили бы многие писатели среднего поколения, учившиеся после войны у Паустовского.

Раз в одной анкете «Как мы пишем» мне пришлось отвечать на вопрос, смысл которого заключался в следующем: «Как вы относитесь к писателям, которые в жизни одни, на бумаге — другие?»

Паустовский-писатель и Паустовский-человек слиты воедино. Он открыт и щедр как человек.

Я нисколько не преувеличу, если скажу, что встречи с Паустовским на семинарах в Литературном институте были праздником, которого нетерпеливо ждут, и возбуждающим импульсом, необходимым каждому писателю. Его общение со студентами высекало искру — хотелось писать лучше, глубже и любить жизнь и литературу так же, как и он.

Обычно он сидел за кафедрой, низко наклонясь к листкам рукописи, чуть отставив руку с потухшей папиросой, и говорил тихим, неторопливым, слегка скрипучим голосом — разбирал только что прочитанный студентом рассказ. Он говорил о значении и весомости каждого слова, о точности единственно найденного эпитета, о ритме прозы, о непостижимом сочетании юмористического и трагедийного, о кратком пейзаже и психологическом контексте. Он говорил о любимых и нелюбимых словах, которые есть у всех писателей. Он рассказывал об остроте, зоркости и беспощадности писательского глаза. Он говорил о титаническом труде Флобера над фразой, он рассказывал о мастерстве Чехова, Куприна, Бунина. Он иногда сердился, это почти незаметно было внешне. Но фраза, сказанная им: «Это не проза, это перекатывание булыжников по мосто-

вой», говорила о том, что прочитанный рассказ студента написан торопливо, неряшливо, без любви к слову. Однако, сам будучи превосходным стилистом, он был терпим к разным стилевым направлениям, к разным средствам выражения, он никому не навязывал своей манеры письма. Но он был нетерпим к рационалистической манере «чистописания», к той академической гладкописи, которая навевает ощущение пыльной пустоты покинутого навек дома.

Довольно часто, разбирая сюжет, коллизию того или иного рассказа, он по ассоциациям начинал вспоминать различные случаи из своей жизни, всегда удивительно интересные, полные юмора и неожиданных поворотов. И когда смеялся, морщинки доброты звездочками собирались возле век, и он, оглядывая нас, неторопливо чиркал спичкой по коробку, зажигая забытую папиросу.

Он рассказывал нам готовые новеллы из своей жизни, и устные эти новеллы, уже тронутые писательским домыслом, были настолько хороши, что я глубоко жалею — он не все их успел записать и опубликовать позднее.

Слушая Паустовского на семинарах, мы впервые понимали, что творчество писателя, его путь

— это не бетонированная дорога с удручающей и легкой прямизной, это не лавры самодовольства, не честолюбивый литературный нимб, не эстрадные аплодисменты, не удовольствия жизни. А это — «сладкая каторга» человека, судьбой и талантом каждодневно прикованного к столу. Это нечастые находки и горчайшие сомнения, это труд и труд и вечная охота за неуловимым словом. Это мужество и напряжение всех физических и душевных сил. И мы понимали, что писатель — человек, который всей мощью своих усилий, опыта, ценой своих радостей и страданий должен совершить чудо — чудо, которое совершает женщина, рождая ребенка, — написать рассказ, повесть, роман, пьесу, то есть сотворить жизнь, родить героя с неповторимым лицом, характером, страстями — значит вложить в книгу самого себя без остатка, до опустошения.

Однако тогда мы, студенты, еще, по-видимому, не осознавали до конца весь смысл слов Паустовского, постоянно говорившего нам, что писать каждую книгу нужно так, будто это твоя последняя книга: не надо бояться отдавать ей все, расточительно и щедро, никогда не надо откладывать свое искреннее, главное на будущее. Но кто не испытывал того неудовлетворенного

ощущения, когда вещь закончена? Возникает усталость и опустошение — та сиротливая пустота, какая бывает в квартире, когда вывезена вся мебель, стены оголены и веет бедностью.

Иногда мы думаем, что нельзя расточать себя на какую-то одну вещь — надо сдерживать себя, видя впереди другую, еще не написанную книгу — цель всей твоей жизни. Порой мы не знаем, какова же будет книга, о чем она, кто главный герой ее, но, видимо, это самая лучшая, та, которой еще нет, которая, не написана, но будет написана. Эту книгу и силу ее ты представляешь только по ощущениям, по неясному волнению, когда чувствуешь жаркий запах асфальта июльским днем, по фразе на улице, услышанной случайно, по походке незнакомой женщины в сумерках лета, по ее мимолетному взгляду, по запаху сырой земли, вдруг напомнившему смерть на безымянной высоте…

Эти смутные ощущения будущей вещи каждый писатель носит в себе. Они мучат его до бессонницы, они неуловимы до отчаяния — и в этом, вероятно, один из импульсов к творчеству: приближаться к непостижимому, боясь и радуясь ожиданию новых образов, слов, характеров, новой композиции, сюжета. Будущая книга кажется

вам совершенством.

Опытнейший мастер слова, Паустовский прав: надо найти, себя и в каждой книге выливаться полностью, не жалея себя и не скупясь.

Только так создаются честные и страстные вещи. Только так писатель начинает взвешивать и ценить свое слово. Только так рождается «чудо» искусства, лишь так писатель может приблизиться ко всему тому, что создан гением природы. Ведь все, что мы пишем вообще, все искусство — это лишь приближение к красоте и сложности объективного мира, которого нет лучше.

Книги Паустовского свежи, солнечны, в них туго сжата пружина молодой энергии, они искрятся, они волнуют, в них нет усталости, в них по-прежнему юный соленый запах моря, блеск жаркого южного полдня.

Ю. Бондарев

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ОЖИДАНИЙ
Повесть

Предки Остапа Бендера

В февральский день 1920 года во время пронзительного норда деникинцы бежали из Одессы, послав напоследок в город несколько шрапнелей. Они лопнули в небе с жидким звоном.

Белые оставили после себя опустошенный город. Ветер наваливал около водосточных труб кучи паленой бумаги и засаленных деникинских денег. Их просто выбрасывали. На них нельзя было купить даже одну маслину. Магазины закрылись. Сквозь окна было видно, как толпы рыжих крыс-пацюков судорожно обыскивали пыльные прилавки. Базарные площади — все эти Привозы, Толчки и Барахолки — превратились в булыжные пустыни. Только кошки, шатаясь от голода, неуверенно перебегали через эти площади в поисках объедков. Но ни о каких объедках в то время о Одессе не могло быть и речи.

Жалкие остатки продовольствия исчезли мгновенно. Холод закрадывался в сердце при мысли, что в огромном и опустелом портовом городе ничего нельзя достать, кроме водопроводной воды с привкусом ржавчины. Водопровод каким-то чудом еще качал из Днестра тонкую струю этой

воды.

Я жил в то время в Одессе, в пустом санатории доктора Ландесмана на Черноморской улице.

Вместе со мной в санатории поселилось несколько журналистов. В их числе был и петроградский журналист Яша Лифшиц — человек чрезмерно деятельный и не интересовавшийся ничем на свете, кроме политики и газетной работы. О нем я писал в предыдущей своей автобиографической повести «Начало неведомого века».

Незадолго до прихода советских войск Яша сказал мне, что надо выметаться от Ландесмана, так как большевики, когда войдут в Одессу, санаторий национализируют, а нас все равно выкинут.

— Возможны крупные неприятности! — произнес Яша роковым голосом.

Какие именно могут быть неприятности, он не объяснил. Но так как в те времена ожидание неприятностей было повседневным состоянием людей, то я его и не спрашивал.

Мы с Яшей сняли по соседству с санаторием дворницкую у оборотистого домовладельца, священника-расстриги Просвирняка.

Дворницкая стояла в заглохшем саду, окруженном высокой оградой из камня «дикаря». Со

стороны улицы ее защищал двухэтажный дом. Жить в этой дворницкой в то немирное время было спокойно, как в крепости. Недаром сам Просвирняк называл дворницкую «Форт Монте-Кристо».

До нас Просвирняк сдавал дворницкую профессору Новороссийского университета по кафедре политической экономии, обрусевшему немцу Швиттау. Профессор переделал дворницкую под маленький удобный особняк, окружил его куртинами маргариток, перевез в дворницкую свою библиотеку, но вскоре, предчувствуя приближение опасных времен, бросил все и бежал в Константинополь.

Профессорская библиотека состояла почти сплошь из немецких книг по экономике, таких аккуратных, что казалось, к ним ни разу никто не прикасался. К тому же они представлялись мне неимоверно скучными из-за своего готического шрифта.

Книги источали острый запах лизола и гвоздики. С тех пор этот запах стал для меня признаком вяжущей скуки, в особенности запах гвоздики — черных, похожих на маленькие обойные гвозди семян тропического растения.

Но зато в библиотеке у профессора стояли и все

восемьдесят шесть томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона. Это было завидное богатство.

Живя среди книг и вещей, оставленных Швиттау, я за глаза составил представление об этом профессоре. Он, конечно, был доволен собой, чисто умыт, румян, носил русую бородку и золотые очки, и в глазах его присутствовал тот водянистый блеск, какой бывает у застарелых девственников. Мне был неприятен этот мой воображаемый предшественник. Поэтому при каждом удобном случае я держал окна раскрытыми настежь, чтобы выветрить из дворницкой добропорядочный профессорский дух.

Прежде чем перейти к описанию дальнейших событий, следует сказать несколько слов о Черноморской улице. Я полюбил эту маленькую окраинную улицу и был уверен, что она самая живописная в мире.

Самый путь из города на Черноморскую улицу был своего рода лекарством от невзгод. Я часто испытывал это на себе. Иногда я возвращался из города в полном унынии из-за какой-нибудь неудачи. Но стоило мне войти в безлюдные переулки, окружавшие Черноморскую, — в Обсерваторный, Стурдзовский или Батарей-

ный, — услышать шелест старых акаций, увидеть темный плющ на оградах, освещенных золотеющим солнцем зимы, почувствовать веяние моря на своем лице, и тотчас возвращались спокойствие и душевная легкость.

Все эти переулки состояли из оград. Дома скрывались в глубине садов за глухими калитками. Переулки приводили на Черноморскую улицу. Она тянулась по краю высокого обрыва над морем. Слово «тянулась» здесь вряд ли подходит, так как улица была недлинная. Ее можно было пройти за несколько минут.

С Черноморской улицы открывалось море — великолепное во всякую погоду. Слева внизу были хорошо видны Ланжерон и Карантинная гавань, откуда уходил, изгибаясь, в море обкатанный штормами старый мол. Справа крутые рыжие берега, поросшие лебедой и пыльной марью, шли к Аркадии и Фонтанам, к туманным пляжам, где море часто выбрасывало сорванные с якорей плавучие мины.

Черноморская улица была морским форпостом Одессы. Мимо нее проходили все пароходы, шедшие в порт и уходившие из него. Шум ее садов говорил о разной силе ветра. Мы научились определять ветер по этому шуму, как моряки по

шкале Бофорта.

Существовали и другие звуки, даже незначительные, но и они сообщали нам о состоянии погоды. Так, например, частый стук созревших каштанов о тротуар свидетельствовал, что ветер крепчает и доходит до четырех баллов.

Черноморская улица всегда была безлюдна. Редкие ее обитатели предпочитали сидеть дома. Поэтому когда на ней появился однажды черный угольщик со своей клячей, то это было встречено как фантастическое событие. Прежде всего потому, что древесный уголь в то время продавался на вес золота. И еще потому, что угольщик, бесстрашно разоблачая свою частноторговую сущность, кричал мохнатым, мрачным голосом ласковые слова:

— Вот уголь, уголек, уголечек!

Среди неуютного быта тех дней Черноморская улица казалась хотя и обманчивым, но все же «островом спасения» для заброшенных на нее жизненной бурей людей.

В то время Илья Арнольдович Ильф[1] еще не был писателем, а ходил по Одессе в потертой робе, со стремянкой и чинил электричество. С этой

[1] Комментарии: 1

Ильф Илья Арнольдович (1897–1937) — русский советский писатель, соавтор Евгения Петрова (Евгения Петровича Катаева; 1903–1942).

стремянкой на плече Ильф напоминал длинного и тощего трубочиста из андерсеновской сказки.

Ильф был монтером, работал он медленно. Стоя на своей стремянке, поблескивая стеклами пенсне, Ильф зорко следил за всем, что происходило у его ног, в крикливых квартирах и учреждениях.

Очевидно, Ильф видел много смешного, потому что всегда посмеивался про себя, хотя и помалкивал.

Десятки Остапов Бендеров, пока еще не описанных и не разоблаченных, прохаживались враскачку мимо Ильфа. Они не обращали на него особого внимания и лишь изредка отпускали остроты по поводу его интеллигентского пенсне и вздернутых брюк. Иногда они всё же предлагали Ильфу соляную кислоту (в природе ее в то время давно уже не было) для паяльника или три метра провода, срезанного в синагоге.

Ильф в таких случаях вступал в оживленный торг, исключительно с целью выслушать новейший набор одесских острот, клятв и проклятий.

Мода на клятвы часто менялась. Она зависела от многих вещей: от положения на фронте гражданской войны, от стоянки или отсутствия в Константинополе английского дредноута «Сю-

перб» или от поведения балтийского матросского отряда, который, как говорили, занимал под постой дом мукомола Вайнштейна.

Самой модной была тогда клятва: «Чтоб мне не дойти туда, куда я иду». В этой клятве содержался явный намек на опасность хождения по одесским улицам.

Но Ильфу недолго пришлось чинить электричество. Вскоре одесская электростанция остановилась, и, как уверяли одесситы, навсегда.

Я вспомнил об Ильфе и его персонаже — бесстрашном плуте Остапе Бендере — потому, что даже в те суровые дни плутовство процветало в Одессе. Оно заражало даже самых бесхарактерных людей. Они тоже начинали верить в древний закон барахолки: «Если хочешь что кушать, то сумей загнать на Толчке рукава от жилетки».

Плутовство вползло наконец и в нашу среду литераторов и журналистов.

Советских денег у нас с Яшей Лифшицем не было ни копейки. Соленой камсы осталось на один день. В письменном столе валялось два черных сухаря. Они распространяли тот же ненавистный запах лизола и гвоздики, как и профессорская библиотека.

Следовало что-то предпринять, чтобы не про-

пасть от истощения. Но, как нарочно, голова гудела, и ни я, ни Яша ничего не могли придумать. Да и что придумаешь в опустошенном городе, где еще не было ни учреждений, ни газет, ни базаров, ни, наконец, советских денег! Приходилось ждать, пока все это наладится; но ждать было почти невозможно: нас уже шатало и тошнило от голода.

Поэтому мы предпочитали лежать в дворницкой, укрывшись с головой своими потертыми пальто, и все-таки чего-то дожидаться.

В дворницкой холод стоял густым слоем, как в леднике. Жестяную «буржуйку» мы топили старыми газетами и быстро доводили ее до белого каления. Но она так же стремительно остывала, как и разъярялась.

На пятый день после занятия Одессы советскими войсками к нам пришел мой школьный товарищ по Киеву Володя Головчинер. Недели за две до этого я встретил его на Дерибасовской, где Володя, несмотря на свою подслеповатость, золотые очки и потрепанный, но барский вид, торговал с рук зажигалками.

Володя привел с собой сморщенного, как обезьянка, человечка, говорившего так быстро и невнятно, будто во рту у него было полно голы-

шей.

— Вот, — сказал Володя Головчинер и неопределенно показал на человечка, — имею честь представить товарища Торелли — это псевдоним. А «в миру», как выражается ваш расстрига-домовладелец, он носит фамилию Блюмкис. Он одесский репортер. У него есть одна идея.

Мы высунули головы из-под пальто и молча рассматривали виновато улыбавшегося товарища Торелли, имевшего какую-то идею.

— Торелли или Торичелли? — придирчиво спросил Яша. Он был немного туг на ухо.

— Торелли, — уныло повторил Володя Головчинер. — Да это не важно. Идея его имеет отношение к нашему бедственному существованию. Упомянутый товарищ Торелли — в миру Блюмкис — находится в таком же пиковом положении, как и вы двое и даже я, Владимир Головчинер, сын киевского профессора-стоматолога и чемпион по плаванию. Эту идею товарищ Торелли имеет изложить сам, поскольку это позволят ему его речевые способности.

Володя любил говорить ерническим языком. Я к этому привык еще в гимназии.

Тогда Торелли что-то произнес, но так быстро, что мы услышали только треск, будто кто-то

проиграл стремительную дробь на турецком барабане.

— Позвольте, я переведу, — бесстрастно сказал Володя Головчинер. — Товарищ Торелли считает, что его идею следует принять немедленно и, по возможности, без смеха.

Оказалось, что товарищ Торелли снимает комнату у расстриги Просвирняка в двухэтажном доме, выходящем на улицу. Он узнал от расстриги, что мы столичные журналисты. Столичным журналистам Торелли завидовал, хотя ни за что не согласился бы променять Одессу даже на работу в самом «Русском слове». Вы спросите: почему? Очень просто. В Одессе можно было «сделать» любую сенсацию. Написать, например, в газете «Одесская почта», что на рабочей окраине Пересыпи лопнул меридиан и катастрофа для города была предупреждена только благодаря героическим усилиям пожарных команд. В Москве и Петрограде такой номер никогда не прошел бы.

Но дело сейчас не в этом, заметил Торелли. Дело в том, чтобы спастись от голода. Для этого нужно объединиться не меньше чем четырем опытным журналистам. Надо пойти на риск, но зато, может быть, завтра же мы будем, как нежно выразился Торелли, «кушать» хлеб и нам,

может быть, даже дадут аванс — по нескольку «лимонов» на каждого. «Лимонами» в то время назывались советские бумажные деньги достоинством в миллион рублей.

Сущность своей идеи Торелли объяснить отказался, требуя безусловного доверия.

— Разглашать раньше времени — значит сглазить! — сказал он убежденно.

Мы не удивились этому. Нам было теперь все равно: пропадать так пропадать, риск так риск! Мы отупели от голода и согласились на все.

— Тогда, — сказал Торелли, — завтра я заскочу за вами и буду сопровождать вас в город.

Он надел соломенное канотье — его он до тех пор держал за спиной — и, игриво сказав: «Привет, привет!», исчез.

— Да-а, — задумчиво произнес Яша Лифшиц. — «Все сметено могучим ураганом». Все продано, и все проедено.

— Вы о чем? — спросил Володя.

— О том, что рваное соломенное канотье товарища Торичелли не головной убор для зимних одесских нордов.

— Представьте себе, — сказал Володя, — что у него есть сестра. У нее год назад отнялись ноги. Она почти не может ходить. Они живут в одной

комнате. Как терпеливо он ухаживает за ней! Под его жалкой оболочкой бьется великодушное сердце. Тема, достойная Шекспира!

— Что он собирается выкинуть, этот Торичелли? — спросил Яша. — Как бы мы не влипли в какую-нибудь идиотскую историю.

Володя сказал, что все может быть, и ушел. Мы снова натянули на головы пальто. Но я долго не мог согреться и уснуть.

Проснулся я на рассвете, когда воздух за окном, похожий на воду, подкрашенную грязноватым ультрамарином, был даже на взгляд груб и насыщен ледяным ветром. Очевидно, этот ветер задувал прямо с полюса. Я с отвращением подумал, что скоро надо вставать, идти в город, а ветер будет врываться за шиворот и костенить тело.

Может быть, не ходить? Сжаться под пальто, собрать в комок все свое слабое тепло и потом, засыпая, вынуть из него, как из елочной ваты, невесомый и радостный сон — синий, тонкий, оставляющий такое же ощущение нежности, какое бывает, если прикоснешься своей щекой к щеке спящего ребенка.

Я ждал такого сна, но вместо него услышал, как в саду ядовито зашипел норд. Потом в это шипение вошел настойчивый и грубый стук в

дверь, — это пришел за нами товарищ Торелли.

В город мы шли через Александровский парк. Норд хлестал в лицо гравием и швырял шершавую пыль. Цинкового цвета море катило из рассветного цинкового тумана гремящие мутные валы. Противно и назойливо верещал цинковый флюгер на крыше маленькой обсерватории в парке.

— Весны не будет, — сказал Яша. — Солнца тоже не будет! Ничего больше не будет! Все это еще одна иллюзия недорезанных интеллигентов.

Торелли тонко пискнул и поперхнулся. Я не сразу сообразил, что он смеется. На его обветренных глазах блестели красноватые слезы.

— Куда вы нас ведете? — придирчиво спросил Яша. — Я предчувствую жалкую авантюру.

— Клянусь честью, что я вас доведу только до первого советского учреждения, — торопливо ответил Торелли. — Должны же они в конце концов открыться, эти учреждения! Кстати, вы сами согласились на риск.

На углу Канатной улицы нас ждал Володя Головчинер.

В городе было пусто. По Канатной процокали копытами всадники с красными лоскутками на потертых мерлушковых папахах. Они даже не по-

смотрели на нас. Изо всех подворотен высунулись мальчишки, и тотчас по дворам прокатились мощные материнские крики:

— Назад, чтоб вас хвороба взяла! Это же несчастье, а не дети! Назад!

Мальчишки скрылись.

Потом медленно проехала, сотрясая окна, расхлябанная грузовая машина с поломанной мебелью. В кузове машины сидел красноармеец с винтовкой и курил. Мальчишки снова появились в подворотнях, но так же внезапно исчезли под новые хриплые вопли: «Назад, байстрюки! Чтоб вы горели огнем на том свете!»

Чудесный, бодрый запах махорки пронесся, завиваясь, по улице. Я невольно проглотил слюну.

— Не отставайте от этой машины, — сердито прошептал нам Торелли. — Тут будет дело!

Мы прибавили шагу. Грузовик выехал на Ришельевскую, свернул к Оперному театру и остановился около темного здания. То был один из домов, оставшихся от времен Ришелье и де Рибаса[2]. Такие здания придавали Одессе бла-

---

[2] Комментарии: 2

Де Рибас Хосе (Дерибас Осип Михайлович; 1749–1800) — русский адмирал. Испанец, с 1772 г. — на русской службе, участник русско-турецкой войны 1787–1791 гг. Руководитель строительства порта и города Одессы.

городные черты Генуи, Флоренции и даже, как утверждали некоторые одесситы, самого Парижа.

На тротуаре около этого классического здания лежало имущество рядового советского учреждения (очевидно, учреждение это большую часть своей жизни проводило на колесах): оборванные рулоны бумаги, линялые плакаты из кумача, обернутые вокруг древков, расшатанные канцелярские столы, нервные этажерки, привыкшие падать навзничь от грубого хлопанья дверей, выгоревшие портреты в рамах, выкрашенных сизой морилкой, погнутый бак для кипяченой воды и множество ящиков.

Все это имущество охранял матрос с такой рыжей проволочной шевелюрой, что бескозырка у него не прикасалась к голове, а как бы стояла в воздухе, опираясь на эту шевелюру.

На дверях здания был прибит кусок холста с надписью: «Одесский Опродкомгуб».

— Сюда! Быстро! — сказал Торелли, рванулся в сторону и выскочил на маленькую площадь Пале-Рояль около Оперного театра. Там страж с проволочными волосами не мог нас заметить.

Сейчас Торелли совсем не казался таким жалким, как вчера на Черноморской или каким был

еще час назад. Отблеск вдохновения упал на его лицо. Но я не представлял себе ничего, что могло быть причиной этого вдохновения. Глаза Торелли лукаво поблескивали в щелках припухших век.

— Прежде всего надо выяснить, — сказал он, — что значит Опродкомгуб?

Я знал это сокращенное название и объяснил его. Оно означало: «Особый продовольственный губернский комитет».

Торелли присел, хлопнул себя по коленкам костлявыми лапками и залился тихим смехом.

— Лучшего учреждения, — пропищал он, — нам и не нужно. В самый раз!

Тогда обозлился Володя Головчинер.

— Слушайте, синьор Торичелли, — сказал он. — Объясните нам, что это за манифарги, или, проще говоря, что это за штучки. Иначе мы бросим вас и уйдем.

Володя называл «манифаргами» все, что было ему непонятно.

Тогда Торелли изложил свою «идею», свой план, показавшийся нам одновременно и невероятно опасным, и неслыханно глупым.

— Послушайте, — сказал он, — вы же знаете, что такое учреждение? Или вы не знаете? И вы тоже знаете, что ни одно уважающее себя учреждение

не может жить, если оно не издает какой-нибудь информационный листок или бюллетень про свою работу? Или, худо-бедно, не имеет собственного информационного отдела. Вы это знаете? Очень хорошо! А вы не подумали, что для этого отдела нужны газетчики? Особенно репортеры. И знаете ли вы, что если нет информационного отдела, то начальник учреждения, будь он хоть сам мистер Форд[3], начнет барахтаться в делах, как цыпленок в луже? Мы откроем в Опродкомгубе информационный отдел. Мы напечатаем роскошный бюллетень на ротаторе о прибытии в Одессу для раздачи нетерпеливому населению трех бочек выдержанной камсы из Очакова и вагона кукурузы и моченых помидоров из Тирасполя. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что в Одессе начнется жизнь! — крикнул Торелли. — Жизнь!

— А почему вы уверены, что в этом учреждении еще нет информационного отдела? — спросил Яша. — Вы слишком много на себя берете, товарищ Торичелли.

— Ха! — воскликнул Торелли. — И еще раз «ха»!

---

[3] Комментарии: 3

Форд— имеется в виду, очевидно, Генри Форд (1863–1947), американский промышленник, один из основателей автомобильной промышленности США.

И, если хотите, двадцать раз «ха»! Вы же видите, что они еще не втащили в дом даже свое барахло. Они еще сосунки. Ну, а если тут информационный отдел есть, так это же не единственное учреждение в Одессе. Пойдем в другое. И откроем информационный отдел там.

Мы промолчали, подавленные логикой Торелли.

— Требуется солидный человек в очках, чтобы он говорил по-русски, как актер Качалов[4], — сказал Торелли. — Самый подходящий для этого, по-моему, товарищ Головчинер. Он будет у нас начальником отдела. Вы, — он показал на меня, — заместителем, товарищ Лифшиц — экономистом, а я — репортером. Но главное — проскочить мимо матроса, мимо этого рыжего голиафа с винтовкой. Пошли! Быстро! В таких делах волынка — первая опасность.

Мы с деловым видом подошли к входу в таинственный Опродкомгуб. Торелли шел сзади, фальшиво насвистывая и стараясь спрятаться за нашими спинами.

Рыжий часовой сидел на ящике и держал за передние лапы белую мохнатую собачку.

---

[4] Комментарии: 4

Качалов Василий Иванович (1875–1948) — советский актер, народный артист СССР.

— Служи дяде! — говорил матрос нарочито грозным голосом. — Служи дяде, черт мохнатый, цуцик-пуцик! Служи дяде!

Собачка виляла хвостом и повизгивала, явно показывая, что ей слишком лестно такое обращение. Но служить она не умела.

— Вот приблудилась с ночи, — сказал нам матрос, — и не уходит. Такая обходительная собачка, не поверите! Голодная, стерва! Придется взять ее с собой в команду. Ой же, и придется! — ласково сказал он, начал трепать собачку по спине и приговаривать: — Ой же, и надо взять такую дурную смешную собачку! Ой же, и следует взять на матросское снабжение такую кудлатую псину!

Собачка молотила хвостом и подвывала от восторга.

Мы проскочили мимо матроса под суровые своды Опродкомгуба. Я посмотрел на своих спутников. Они растерянно улыбались.

— Ах, какой парень! — неожиданно сказал Яша Лифшиц.

— Кто? — спросил Торелли.

— Конечно, не вы!

По темным коридорам красноармейцы, топая бутсами, тащили канцелярские шкафы. Дверцы у шкафов сами по себе распахивались и тотчас

захлопывались с оглушительным треском. Красноармейцы вполголоса ругались.

— Значит, так, — сказал Володя Головчинер. — Мы сейчас узнаем, в какой комнате сидит начальник этого учреждения, пойдем к нему и попросим принять нас на работу.

Торелли взмахнул руками, отступил и с ужасом и презрением посмотрел на Володю.

— Вы что? — спросил он свистящим шепотом. — Окончательно сумасшедший? Или нет? Или у вас еще не прорезались зубы? Вы хотите, чтобы нас прямо отсюда отправили в Чека и разменяли на мелкую монету? Пришли с улицы — и бенц! — прямо к начальнику! Кто мы? Что мы? Желтая пресса! Бульварные журналисты! Вы угробите всех. Стоило мне стараться и придумывать такой замечательный план, чтобы из-за вас обмишуриться навеки! Разве так поступают?

— А как? — растерянно спросил Головчинер.

Мы с Яшей тоже опешили.

— Раз не знаете, так положитесь на меня! — высокомерно произнес Торелли. — Я подскажу вам все, что нужно делать. Никаких начальников! Мы сами начальники! За мной!

Торелли пошел вперед, а мы, горько сожалея, что впутались в эту историю, неуверенно пошли

следом за ним.

К счастью, никто не обратил на нас внимания, и мы наконец попали в пустой и пыльный коридор на втором этаже. Он кончался уборной с выломанной дверью и черной лестницей.

— Пожалуй, лучше всего будет здесь, — сказал Торелли и толкнул первую же дверь.

Она открылась, и мы вошли в пустую комнату. В ней не было ничего, кроме валявшихся на полу справок о прививке оспы и плаката с надписью: «Борись с трихинозом свиней!»

Торелли поднял плакат, достал из кармана синий карандаш, перевернул плакат чистой стороной, положил на подоконник и написал на нем витиеватым писарским почерком: «Информационный отдел». Потом подумал и приписал внизу шрифтом немного помельче: «Завотделом Головчинер В. Л.».

Мы следили за действиями Торелли, не спуская с него глаз, как кролики, зачарованные гремучей змеей.

Торелли достал из кармана брюк бумажный пакетик с несколькими кнопками, вышел в коридор и приколол плакат к двери.

— Вот и все! — сказал он и радостно потер руки. — Все обдумано. Первый акт отошел. Теперь

остается только ждать дальнейших событий. Присаживайтесь, прошу вас, на подоконники!

У Володи Головчинера была пачка кубанского табака, черного и сухого, как торф. Мы расселись на пыльных подоконниках, закурили и начали ждать. Говорили мы шепотом. Один Торелли насвистывал вальс из «Веселой вдовы»[5].

— Черт его дери, — неопределенно сказал Яша. — Может быть, нас действительно расстреляют?

Торелли презрительно фыркнул.

Мы сидели и прислушивались к беспорядочному шуму, постепенно заполнявшему учреждение. Где-то даже зазвонил, как вызов из преисподней, надтреснутый телефон.

За окнами был виден Ланжероновский спуск, но не весь, а только один его живописный кусок. Море синело: норд уже иссякал.

— Мы самозванцы, — опять сказал Яша мрачным голосом. — Нас разоблачат в три счета. Лучше, пока не поздно, уйти.

Тогда возмутился Торелли.

— Это мне страшно нравится! — воскликнул он. — Браво и бис! Не смешите меня. Где вы ви-

---

[5] Комментарии: 5

«Веселая вдова»— оперетта Ференца Легара (1870–1948), венгерского композитора.

дите самозванцев? Разве мы не будем честно работать? Если мы нашли подходящее место для приложения интеллигентских сил, так это простой здравый смысл, и только!

— Вы Спенсер[6], Торелли, — сказал Володя. — Кант![7] Президент Пуанкаре![8] Вы подвели железную базу под мое шаткое звание заведующего информационным отделом. У меня после ваших слов выросли крылья.

— Тише! — вдруг сказал злым шепотом Яша. — Хватит паясничать! Кто-то идет.

Действительно, по коридору кто-то шел, бряцая шпорами. Шаги были чугунные, как у Командора. Человек со шпорами остановился против нашей комнаты, густо прокашлялся, помедлил и распахнул дверь.

Мы вздрогнули.

В дверях стоял, очевидно, один из отчаянных командиров прославленных партизанских от-

---

[6] Комментарии: 6

Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.

[7] Комментарии: 7

Кант Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии.

[8] Комментарии: 8

Пуанкаре Раймон (1860–1934) — государственный деятель, был президентом Франции в 1913–1920 гг., один из организаторов иностранной интервенции в Советской России в годы гражданской войны.

рядов. Косматые седеющие брови густо свисали над его черными глазами. Плохо выбритое лицо отливало синеватой чернотой. На поясе у него висел мощный маузер с деревянным прикладом. Через плечо была перекинута полевая сумка. Нагрудные карманы френча были туго набиты пистолетными обоймами, махоркой, зажигалками и скомканными бумажными деньгами. От обилия этих вещей оба кармана лопнули, и при каждом движении человека с маузером из прорех в карманах сыпалась драгоценная махорка.

Человек с маузером пристально осмотрел нас, потом прикинул глазом величину комнаты и сказал неожиданно тонким, как дудочка, голосом:

— Доброго здоровьица, други! Будем знакомы. Карп Поликарпович Карпенко. Бывший работник на ниве народного образования, а ныне ваш комендант. Кто здесь заведующий столь замечательным отделом? Кажется, товарищ Головчинер Ве Эль? Он здесь?

— Да, это я, — осторожно ответил Володя.

— Покорнейше прошу, — сказал комендант, — не позже, чем через час, представить мне точный реестрик потребного вам имущества, заверенный вашим подписом. Не зевайте, пока имущество не расхватали другие, более нахальные отделы.

Информационный отдел всегда, знаете, остается в дураках. Имею на этот счет опыт. А почему? Потому, что интеллигенты, дорогой мой товарищ Ве Эль Головчинер, разводят нюни со всяким барахлом. Когти и кулаки надо показывать! Вот! — Комендант показал нам красный волосатый кулак. Он даже повертел им в разные стороны, чтобы мы лучше его рассмотрели. — Как говорится, сто раз покрути перед носом, а один раз стукни! Сразу всякое хрюкало хвост подожмет, и воцарится полнейший порядок. И эта штука, — он похлопал по маузеру, — тоже прочищает мозги лучше, чем технический нашатырь. Не беспокойтесь. Вас я не дам в обиду, поскольку от отца унаследовал почтение к трудовой интеллигенции. Оно, знаете, совершенно правильно сказано у поэта: «Сейте разумное, доброе, вечное…»[9]

Он внезапно замолк и прислушался. Из коридора доносилось кряхтенье нескольких человек. Комендант распахнул дверь, выскочил из комнаты и закричал плачущим бабьим голосом:

— Очи у вас повылазили, что ли! Балет мне устраиваете! Тут же информационный отдел, а вы сюда прете несгораемый шкаф, надлежащий

---

[9] Комментарии: 9

«Сейте разумное, доброе, вечное…»— Из стихотворения Н. А. Некрасова «Сеятелям».

до бухгалтерии. Назад!! Спускайте его по этой черной лестнице в первый этаж. Все здание сотрясаете, полы побили, как черепицу. Что это за чертовы люди, ей-богу! Противно даже на вас смотреть!

После сильного пыхтения за дверью вдруг раздался удар. В коридоре что-то обрушилось, треснула оконная рама, со звоном полетели стекла, и комендант снова закричал отчаянным голосом (так обыкновенно кричат, хватаясь за голову):

— Удерживай!!! Удерживай его, чертяку. А то завалите здание! Удерживай, говорю!..

И вот тогда мы впервые почувствовали как бы подземный толчок. Дом вздрогнул, качнулся. Громоподобный грохот покатился с нашего второго этажа на первый. Чердак у нас над головой затрясся, и с потолка белой чешуей посыпалась штукатурка. Было слышно, как, топая бутсами, разбегались люди.

Второй удар землетрясения слился с хриплым воплем коменданта:

— Тикайте с площадки, матери вашей черт! Разве сами не видите, что делается! Тикайте!

Внутреннее это опродкомгубовское землетрясение стихло так же внезапно, как и началось.

Мы вышли в коридор. В нем туманом висела известковая пыль. В полу зияли борозды, будто коридор пропахали тяжелым плугом. Угол у окна был отбит. Внизу, на первом этаже, на площадке черной лестницы, лежал на боку, отдыхая, слетевший со второго этажа злополучный стальной шкаф, опутанный рваными веревками. Перила лестницы были начисто отломаны. Они чудом висели на одной ржавой проволоке.

Над шкафом, как над покойником, грустно стояли, опустив головы, носильщики-красноармейцы. Очевидно, они были из хозяйственной команды: никакой выправки у них я не заметил.

Комендант тоже стоял около шкафа в глубоком раздумье. Он увидел нас и ударил носком сапога по шкафу. Раздраженно зазвенела шпора.

— Видали бугая? — спросил комендант. — Чуть людей не поубивал. Так пришлите мне, товарищ Головчинер, реестрик. И не стесняйтесь. Составляйте с «походом».

С этой минуты мы поверили, что «гениальный» план Торелли удался если не совсем, то, по крайней мере, наполовину.

Реестр был составлен. Торелли отнес его коменданту. При этом он успел подружиться с ним и войти в курс жизни Опродкомгуба. Комендант

оказался, по словам Торелли, «мировым хлопцем».

Мы повеселели, особенно когда в комнате появились первые столы и стулья. Повеселел даже Яша. Он перестал каркать, хотя время от времени и вспоминал о грозном часе, когда придется заполнять анкету.

Но наши испытания на этом не кончились. В коридоре снова послышались шаги, но теперь уже нескольких человек. Мы быстро, сели за свои пока еще пустые столы. На них не было даже чернильниц.

Дверь снова распахнулась, и в комнату вошел хилый молодой человек в пальто, перешитом из солдатской шинели, и в линялой студенческой фуражке. Он близоруко приглядывался к нам сквозь толстые стекла очков.

Это был начальник Опродкомгуба, бывший студент-юрист Харьковского университета, товарищ Агин.

За ним вошла его свита. Она состояла из здоровых парней в плотных гимнастерках и скрипучих кожаных портупеях.

Появление Агина было похоже на выход

римского императора Марка Аврелия[10] — прекраснодушного философа и поэта — в окружении гремящих мечами и латами легионеров.

Нам долго не верилось, что этот болезненный и мягкий человек был начальником учреждения, ведавшего снабжением Одессы, — учреждения шумного, грубого, которое тотчас же обсели, пытаясь прорваться в него, всякие деляги, рвачи, хапуги, рукосуи и «леваки».

Агин был тих, но непоколебим, и потому кипящие багроволицые толпы тайных и явных спекулянтов, равно как и раскаленные их мечты о баснословной наживе, стихали, как волны, у дверей его кабинета.

— Оказывается, у нас есть даже информационный отдел! — сказал Агин, пожевал губами и усмехнулся.

У меня упало сердце.

Агин обвел всех нас глазами и снова усмехнулся.

— Кто заведует им? Вы? Очень рад, товарищ. Как ваша фамилия? Головчинер? Вы не родственник известного сиониста Головчинера? Нет? Ну, тем лучше. Иногда однофамильцы тоже могут

---

[10] Комментарии: 10

Марк Аврелий (121–180) — римский император из династии Антонинов, философ — представитель позднего стоицизма.

причинить неприятности. А это ваши сотрудники? Все журналисты? Очень, очень рад! Надеюсь, мы сработаемся, хотя функции вашего отдела мне еще недостаточно ясны.

Торелли издал какой-то непонятный длинный звук, обозначавший, очевидно, утверждение, что мы, конечно, сработаемся.

Агин обернулся к нему, наклонил несколько набок голову, как бы вдумываясь в стремительную тираду Торелли и ожидая ее продолжения. Но Торелли покрылся обильным потом и молчал.

— Ага, понимаю, — сказал Агин и дружески улыбнулся Торелли. — Вы совершенно правы.

Он попросил Володю Головчинера прийти через час к нему в кабинет на совещание заведующих отделами для обсуждения плана работ, кивнул нам и вышел.

Володя Головчинер стоял белый, по словам Торелли, «как мукомол».

Через два томительных часа Володя вернулся румяный и веселый, крикнул нам с порога: «Встать, халдеи!» — и роздал всем по сто тысяч рублей, по талону на получение хлеба и по анкете из ста двадцати вопросов. Но сейчас уже анкета нас не пугала. Мы поздравили и поблагодарили Торелли. Он сиял, как победитель, и троекратно,

по-московски, облобызался с нами.

К вечеру отдел приобрел вид настоящей редакции. На маленьком столике стоял новенький ротатор.

Над ним висел огромный плакат: красноармеец в зеленом богатырском шлеме всаживал штык в чешуйчатое брюхо дракона. Из пасти дракона било косматое малиновое пламя. Внизу была надпись: «Долой гидру контрреволюции!»

Над столом у Володи Головчинера висел лист картона. На нем в кружочках из листьев дуба были напечатаны портреты вождей. Непостижимым образом все вожди походили друг на друга, как братья. Объяснялось это тем, что жидкая типографская краска расползлась по картону и очертания всех лиц слились в одно мутное пятно.

Плакаты прислал нам в знак особого расположения комендант Карп Поликарпович Карпенко.

Жизнь снова казалась прекрасной, а теплый хлеб из соседней временной пекарни, подгорелый и пахнущий хмелем, — необыкновенно вкусным. Я никогда еще не ел такого душистого хлеба с такой хрустящей горбушкой.

Все обошлось, но все же на душе у Яши и у меня

было неспокойно. Однажды ночью Яша, ворочаясь на жесткой, без тюфяка койке, сказал мне:

— Вы там как хотите, а я завтра пойду к Агину и расскажу про все это безобразие. Про то, как мы попали в Опродкомгуб.

— Ну что ж, пойдемте.

Наутро мы пришли к Агину. В тот день признаки весны уже появились в Одессе. Солнечный свет стал плотнее. Над морем плыли, разваливаясь и открывая синие небесные провалы, громады белых облаков.

Даже в кабинете у Агина чувствовалось приближение весны. От сырых полов, в тех местах, куда падал из окна солнечный свет, клубился пар.

Агин вежливо выслушал нас, откинувшись на спинку кресла, и, кивая головой, тихо засмеялся.

— Я ждал этой исповеди, — сказал он, — но, признаться, несколько позже. Я все знаю. Нельзя сказать, чтобы я был восхищен вашей выдумкой, — она лежит слишком близко от криминала. Но поскольку это изобрели не вы, а тот маленький человек с плохой итальянской фамилией, то на вас нет особой вины. А я был бы никуда не годным руководителем, если бы не догадался, что здесь дело, несомненно, подмоченное.

— Как же вы догадались? — спросил Яша.

— Прежде всего у нас по схеме нет никакого информационного отдела. Он свалился на Опродкомгуб как снег на голову. Кое-что начал подозревать с первой же минуты милейший наш комендант, Карп Поликарпович. Он первый же и доложил мне, что люди, видно, интеллигентные, никак не жулики, должно быть, хорошие работники, и не стоит подымать шума и губить их. Но, признаюсь, мне нелегко было задним числом включить этот самозваный отдел в структуру учреждения. Самое удивительное, что этот отдел действительно оказался нужным. Отсутствие его было бы явным ущербом. За что и примите мою благодарность.

Лабиринты из фанеры

Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами.

Опродкомгуб к весне переехал с Ришельевской в самую гущу этих уличных акаций — в «Северную гостиницу» на Дерибасовской.

Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных (или, как говорят на юге, «диктовых») перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями.

Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу по окружавшей город Портофранковской улице.

Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные, загадочные переходы, тупики и закоулки.

Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или

сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого муравейника. Он был заполнен особой породой человеко-муравьев. Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты, в фанерные клетушки.

На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты.

В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды с прикованной к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша — тетя Мотя или тетя Рая, — и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать.

Иногда даже казалось, что никакое учреждение немыслимо без фанерных перегородок и курьерш, и только при наличии курьерш и фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной «тети Моти», так и всех «тетушек Моть» из соседних — дружественных или враждебных — учреждений. Каждая «тетя Мотя» блюла авторитет своего заведения. «Правила внутреннего распорядка» были для нее

скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая!

В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и в первую очередь кассу — унылую клетушку за прорезанным в фанере кривым окошком.

В Опродкомгубе над окошком кассы было написано синим карандашом: «Товарищи! Сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег. Режьте сами! (Основание: приказ по Опродкомгубу № 1807)».

Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами!» объяснялась просто: кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату большими, неразрезанными листами.

В зависимости от стоимости купюры листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевок было отпечатано на листе двадцать штук, и потому лист стоил двадцать тысяч рублей, а десятирублевок — шестьдесят штук, и лист с ними соответственно стоил шесть тысяч рублей.

Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму.

Против этого кассир не восставал: в конце концов, такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами.

В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри:

— Что! У вас руки отсохнут, если вы порежете деньги? Не хотите сами, так дайте вашим деткам. Пусть они получат удовольствие!

Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным, приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда уже больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе.

Самый несговорчивый получатель денег всегда

сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, долго и горестно смотрел поверх очков на протестанта и качал головой.

— Стыдитесь, молодой человек! — говорил он. — Скандалить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут, где красная птичка.

С целью просветить сотрудников Опродкомгуба в области денежного обращения кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег, хождения не имеющих.

То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию, — кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами.

В то время почти все деньги носили прозвища. Тысячные ассигнации назывались «кусками», миллионы — «лимонами». Миллиардам при-

своили звучное прозвище «лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в тридцать и пятьдесят рублей.

Среди денег, не имевших хождения, были совершенно фантастические: например, сторублевки, напечатанные на обороте игральных карт. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине — не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом баржи, белогвардейские «колокола» и «ермаки», украинские «карбованцы», сторублевые «яешницы», «шаги» и еще множество всяческих банкнот и «разменных знаков», чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов — от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухова.

Наша стена около кассы Опродкомгуба выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию: он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску.

После этого деньги отпечатывались и на бумаге и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли

остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами.

После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись народного комиссара финансов.

Ячная каша

Сотни тысяч рублей, которые мы получали под видом заработной платы, целиком уходили на обед в соседней нарпитовской столовой. Там изо дня в день мы съедали две-три ложки ячной каши, сдобренной зеленым, похожим на вазелин веществом. Торелли уверял, что это было оружейное масло.

Кроме того, мы питались горелым хлебом и мидиями.

Хлеб отличался удивительной особенностью: корка и мякиш существовали в нем обособленно. Они образовывали как бы два чуждых друг другу геологических пласта. Между этими пластами находилось пространство, заполненное мутной кисловатой влагой, горьким хлебным квасом.

Были любители, которые высасывали этот сок и утверждали, что он вылечивает опухоли на суставах.

Такие опухоли появились тогда от недоедания и холода. К ним нельзя было прикоснуться без того, чтобы тотчас же не возникала резкая и длинная боль. Кроме того, при каждой попытке помыть руки опухшие места лопались и крово-

точили. В холод они сильно болели, а в тепле начинали нестерпимо чесаться.

Я пил хлебный сок и могу засвидетельствовать, что опухоли от этого не исчезали, но зато начиналась тяжелая изжога.

Мясо морских ракушек — мидий — мы варили с солью. В нем чувствовался сильный привкус ихтиола.

Кроме того, мидий надо было добывать самим на Ланжероне, отдирая их ножом от прибрежных скал, конечно, в тихую и теплую погоду. Поэтому мидии были только летней пищей.

Лета мы ждали с нетерпением. Летом я начинал ловить бычков и султанку. На широких молах в порту уже зеленели огороды, окруженные изгородью из ржавых труб и рваного листового железа. Чудно пахли листья помидоров, обещая недалекий урожай «красненьких» (так в Одессе звали помидоры). Призрак голода бледнел, но не уходил. Голод прятался рядом. Мы все время чувствовали его близость и знали, что при малейшей оплошности он появится снова, еще более мучительный и зловещий, чем раньше.

Что касается меня, то я считал себя совершенно счастливым, когда мне удавалось достать несколько таблеток сахарина. Я пил с ним чай из

сушеной свеклы с горелой хлебной коркой и чувствовал, как свежесть и сила вливаются в меня целыми зарядами, обновляя скудеющую кровь.

Деньги уходили на ячную кашу и на воду, — за ведро воды приходилось платить пятьсот рублей. Больше их почти ни на что не хватало, даже на спички и дрова. Акациевые дрова, похожие по цвету на серу, продавались в Одессе только щепками и только на вес.

Поэтому дрова приходилось воровать. Я не стыжусь признаться в этом хотя бы потому, что дело это было опасное и подчас грозило смертельным исходом.

Конечно — что говорить! — мы предпочли бы топить нашу верную «буржуйку» газетами и бумагой. Но старые газеты тоже приходилось воровать.

С точки зрения морали воровство дров и газет было явлением одного порядка. Но с практической точки зрения газеты, понятно, не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала мимолетное тепло, вернее — намек на него, но зато засыпала паленой бумагой и желтым своим пеплом весь двор и сад, вызывая нарекания растриги Просвирняка.

Дрова мы воровали преимущественно в Ар-

кадии. Это была ближайшая к Одессе дачная местность на берегу моря.

Когда наступало лето, то Аркадия напоминала руины римских вилл — Боргезе, Альдобрандини или Конти. Сухой плющ обвивал треснувшие колонны с отбитой штукатуркой. Ее отбивали нарочно, желая убедиться, что колонны кирпичные и не годятся на дрова.

Ящерицы грелись в оконных проемах, где цвел, крепко зацепившись за разбитые каменные подоконники, золотой дрок. Ласточки гнездились в пилястрах. В лоджиях, как в огромных каменных чашах, буйно разрастался пыльный татарник.

На мраморных плитах муравьи прокладывали широкие аппиевы дороги[1]. Подобно разрушенному с южной стороны Колизею[11], стоял тоже осыпавшийся с юга, со стороны моря, знакомый цементный бассейн. Он зарос по дну сухими злаками и бессмертником.

Хотя этим руинам и было всего каких-нибудь два года, но воздух древности уже завладел ими.

---

[1] Комментарии: 1

Ильф Илья Арнольдович (1897–1937) — русский советский писатель, соавтор Евгения Петрова (Евгения Петровича Катаева; 1903–1942).

[11] Комментарии: 11

Колизей— амфитеатр Флавиев в Риме, служивший для гладиаторских боев и других зрелищ. Памятник древнеримской архитектуры (75–80 гг. н. э.).

Он сообщил окраске пустынной Аркадии пыльный и бронзовый налет Пергама[12] и Эллады[13].

Так было летом. Зимой же, особенно в ненастные ночи, когда мы отваживались проникать в Аркадию, руины грозно чернели. В них выл январский норд и швырял в лицо заряды сухого снега. Тогда невозможно было представить себе, что над этими развалинами когда-нибудь подымется летнее солнце Одессы и легчайший шум ветра будет равномерно пробегать по листве уцелевших столетних деревьев.

Мы с Яшей воровали дрова всего три раза за зиму, но, правда, удачно. Два раза мы притащили по одной половице, а однажды нам удалось даже выломать раму от дверей.

Этих дров нам хватило на всю зиму, но только потому, что Яша открыл замечательный способ мгновенно раскалять «буржуйку» и так же мгновенно кипятить на ней чай. Все дело было в том, чтобы топить тоненькими, как солома, лучинка-

---

[12] Комментарии: 12

Пергам (Пергамское царство) — государство в северо-западной части Малой Азии, существовавшее в 283–133 гг. до н. э. Пергамом также называлась цитадель Трои.

[13] Комментарии: 13

Эллада— Греция; здесь имеется в виду открытая археологами в Центральной Греции Элладская культура бронзового века (ок. 2500–1100 гг. до н. э.).

ми. Это давало буйное, но короткое пламя и брало ничтожное количество дров.

Я хорошо помню наши ночные походы за дровами. Сначала мы ходили днем на разведку и выискивали дачу, где еще не все деревянные части были разворованы. При этом Яша вел со мной очередной запальчивый спор о подлинности пьес Шекспира или об экономических последствиях Версальского мира[14].

После разведки мы отправлялись в главный поход. Мы засветло шли к Аркадии по морскому берегу, где нас зимой вряд ли кто мог заметить. Мы несли с собой под пальто коловорот расстриги Просвирняка и его же маленький охотничий топор. За это расстрига получал от нас по строгому соглашению растопку для самовара. Дровами же мы делились только с Торелли, — его больной сестре, лежавшей без движения, нужно было постоянное тепло.

Около Аркадии, в заброшенной будке, где в доисторические времена продавали сельтерскую воду с сиропом, мы дожидались темноты.

---

[14] Комментарии: 14

...об экономических последствиях Версальского мира. — Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну, был подписан 28 июня 1919 г. державами-победительницами, носил грабительский империалистический характер.

В темноте мы находили выбранную днем дачу. Шли мы к ней осторожно, поминутно прислушиваясь. При малейшем шуме мы прятались за первой же оградой.

Мы боялись вовсе не милиции. В Аркадии ее не было, да и не могло быть. Кому бы пришло в голову охранять развалины, сады, свистящие голыми ветвями, и холодное побережье, затянутое черным дымом штормовых ночей? Мы избегали встреч не с милицией, а с мелкими бандитами, воровавшими дрова для продажи, с жадными торгашами. Ими кишели в то время базары.

В первую же ночь мы нарвались на них, и они чуть не подстрелили нас из обреза. При этом они изрыгали на нас такие чудовищные угрозы, что волосы становились дыбом и леденела кровь.

Тяжелее всего было выламывать половицы. Это следовало делать совершенно бесшумно, но заржавленные гвозди всегда предательски взвизгивали. Руки у нас были изорваны в кровь, ногти обломаны, а ноги дрожали от напряжения.

Половицы были невероятно тяжелые, будто чугунные. С величайшим трудом, изнемогая и спотыкаясь, мы вдвоем едва дотаскивали их до своей дворницкой.

Я разводил огонь в «буржуйке», а Яша падал

на продавленный матрас на полу, проклинал себя, «буржуйку», Одессу, Антанту и все на свете, стонал и клялся, что больше ни за что не пойдет воровать дрова.

У меня тоже было невесело на душе. Мне казалось, что мы с Яшей совсем опустились, и если так пойдет дальше, то мы превратимся в обыкновенных дровяных воров. Но соблазн горячего чая был так велик, что мы тут же забывали эти жалкие вылазки собственной совести. После чая Яша тотчас засыпал, а я лежал на жесткой профессорской тахте и долго прислушивался к звукам ночи.

Блокада

В туманной области человеческих воспоминаний заключено на первый взгляд много таинственных, а на самом деле просто необъясненных вещей.

Например, воспоминания о больших событиях бывают подчас такими же зыбкими, как, скажем, воспоминания о самом сереньком деньке.

В своих писаниях я старался избежать этой зыбкости, но не уверен, что это мне вполне удалось. Память зачастую оставляет нам субъективный облик времени, тогда как мы думаем, что он объективен и точен. Так, например, вся жизнь в Одессе в конце 1920 года и в 1921 году сохранилась в моей памяти как некий сравнительно мирный отрезок времени среди гремящих и ошеломляющих событий. Чем это объяснить?

В те годы Одесса опустела. Часть рабочих ушла на север, в Советскую Россию, с первыми же частями Красной Армии, с продовольственными и матросскими отрядами. Это было еще до появления интервентов и Деникина. Часть же населения отхлынула из Одессы в деревню, спасаясь от голода и белых мобилизаций.

В городе почти не было больших заводов. Самыми крупными предприятиями считались джутовая фабрика, консервные фабрики и судоремонтные мастерские. Над городом властвовал порт с его люмпенами — грузчиками, босяками и жлобами. А на обширных городских окраинах засел упорный и изворотливый одесский обыватель.

Во время интервенции оставшиеся в Одессе рабочие всячески поддерживали подпольщиков-большевиков.

Подпольщики скрывались в каменоломнях и в самом городе. Несмотря на аресты и расстрелы, они работали так смело, что им удалось даже провести при французах и деникинцах областную конференцию большевиков, регулярно выпускать подпольную газету «Коммунист», распространять множество прокламаций, поддерживать бастовавших работников типографий, трамвая и телеграфа, взорвать поезд с военным имуществом интервентов и, наконец, создать военно-революционный комитет, который принял временную власть над городом в первые дни занятия Одессы советскими войсками.

Незадолго до взятия города, когда бои с белыми шли уже у Берислава и Перекопа, деникинская

контрразведка расстреляла девять молодых большевиков-подпольщиков. Перед казнью их изощренно пытали, и средневековые эти пытки потрясли даже толстокожих одесских обывателей. Я помню рассказы об Иде Краснощекиной, проявившей непостижимую твердость и несокрушимое мужество. На нее обрушилась вся ярость контрразведчиков.

Перед казнью подпольщики написали письмо своим товарищам на свободе. В этом письме были простые и берущие за сердце слова: «Мы умираем, но торжествуем».

В этих словах был заключен молодой пыл и великая вера в неизбежность победы, — тот пыл и та вера, что с тех пор стали неотъемлемым качеством революционной молодежи.

Ко времени второго прихода деникинцев ряды рабочих в Одессе еще сильнее поредели. Почти все заводы были закрыты. Порт зарастал сорной травой. Жизнь явно замирала, и только бешеная спекуляция пылала пышным и ядовитым пламенем.

Кроме того, в Одессе существовал большой разрыв между сознанием людей, пришедших с севера и живших уже в третьем году революции, и сознанием одесситов, живших в революции

только первые месяцы.

Мне тоже пришлось пережить не одну, а три октябрьские революции: первую в Москве в октябрьские дни 1917 года, вторую в 1919 году в Киеве и третью в 1920 году в Одессе.

В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых практическому опыту обывателя-одессита.

Появились решительные и неумолимые люди (их всех одесситы без всякого разбора звали «комиссарами»), точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы.

Кажущееся спокойствие тогдашней одесской жизни объяснялось еще и тем, что зима 1920 года и весь 1921 год были в Одессе временем блокады. Море месяцами лежало, как мертвый плат, без единого пароходного дыма.

От Советского севера Одесса была отрезана разрушенными железными дорогами, налетами всяческих банд, «дикими территориями», где не было никакой власти, взорванными мостами.

Это и вызывало ту некоторую обособленность одесской жизни, какую нельзя было не заметить даже при самом беглом знакомстве с революционными событиями на нашем юго-западе.

Я часто просыпался на профессорской тахте и слушал ночь. С некоторых пор это стало любимым моим занятием.

Ночь наливалась тишиной. Я долго вслушивался в эту гудящую тишину и улавливал иногда далекий звук пушечного выстрела. Это французская канонерка «Ля Скарп» обстреливала каждую ночь Очаков.

Веская тишина и перекаты пушечного гула означали блокаду.

До сих пор я только читал это слово в исторических книгах или в старых, как зеленоватый налет на бронзе, морских романах. Но все же я довольно ясно представлял себе блокаду.

Что это было? Пустое море, где зловеще проносились быстрые сторожевые суда, бессмысленный орудийный огонь с моря по окраинным огородам, погасшие маяки, взорванный у входа в порт транспорт, стеньги его мачт над водой, далекий луч прожектора рядом с мерцанием Млечного Пути и легкость во всем теле от недоедания.

Если таковы были, по моему тогдашнему разу-

мению, приметы блокады, то одесскую блокаду можно было назвать классической.

Все, о чем сказано выше, стало в то время содержанием одесской жизни. Хотя по временам нам самим казалось, что реальность так густо переплелась здесь с фантастикой, что их друг от друга нельзя отделить.

Несмотря на голод, ледяную сырость в домах, на разруху и одиночество (Яша ближе к весне переехал в город, и я остался на Черноморской один), я чувствовал временами приливы необъяснимого подъема. Я приписывал это своей молодости, хотя и не был тогда так особенно молод — мои годы уже подходили к тридцати. Но я ощущал себя восемнадцатилетним. Ко всему взрослому — положительному и благоразумному — я был враждебен, хотя временами и робел перед ним, как мальчишка.

Все в Одессе вызывало у меня такое юношеское состояние, даже длившаяся всю весну и лето блокада.

Представление о блокаде, как я уже упоминал, связано с морем, где нельзя увидеть на горизонте ни одного пароходного дыма. Так было тогда в Одессе. И это мне нравилось.

Море было таким пустынным, как в те времена,

когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара вдаль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца в колебании волн.

Изредка на горизонте появлялась эскадра причудливых парусных кораблей. Они надменно плыли под белыми тугими парусами, но, приблизившись, превращались в грозные снеговые горы и неожиданно швыряли в потемневшую воду молнии и раскаты грома.

Море отзывалось на голоса этих туч, превращая один гром в сплетение многих гулких громов. Они сотрясали морские дали по всем направлениям.

Я пользовался всяким свободным днем, чтобы уйти из города на самые отдаленные станции Большого Фонтана. Начиналась весна. Приход ее на это степное побережье был трогательнее, чем в местах, богатых растительностью. Может быть, потому, что здесь был очень виден каждый цветок, тянувшийся из-под заржавленных рельсов заброшенного трамвая, каждая трепещущая бабочка, сушившая крылья в теплых струях морского воздуха.

Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов,

подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца «Занте». Он был выброшен на прибрежные скалы у Большого Фонтана, вклинился в них, и никто даже не пытался снять его с этих скал.

В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь, вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы — погреться на склепанных железных листах.

А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих трирем или цветные паруса финикиян, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда.

Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются. Ведь в баснословные времена трирем людей на земле было мало, и потому, конечно, были очень пустынны все ее моря и материки.

Сейчас же Черное море было пустым из-за блокады и еще потому, что белые, бежав из Одессы, увели с собой весь так называемый торговый флот — все пассажирские и грузовые пароходы, буксиры, баржи и катера пароходных обществ

РОПИТа («Русского общества пароходства и торговли»), Черноморско-Дунайского пароходства и Добровольного флота.

Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродавало его заграничным компаниям.

Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлядь, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Крапотницкого. Шая был посмешищем морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг даже извозчики. Служить на пароходах Крапотницкого соглашались только отпетые неудачники. Жалованье из Крапотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот.

Шае принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», ходивший из Одессы в Аккерман и описанный Катаевым в повести «Белеет парус одинокий». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что «Тургенев» принадлежал пароходной фирме «Мишурес и сыновья».

Где-то на мусорных задворках Нефтяной гавани, на «корабельном кладбище», осталось несколько развалившихся пароходов, предназначенных на слом, и среди них проржавевший

насквозь «Димитрий», тоже принадлежавший пресловутому Шае. Этот пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни.

Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков, в излюбленное место престарелых рыболовов.

Молы заросли овсом (от рассыпанного зерна) и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на одесском судостроительном заводе Беллино-Фендерих.

На широких молах портовые сторожа разводили огороды.

Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разговоры.

По всем огородам стояли пугала и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугала изображали бродяг и пропойц в рваных тельняшках и брюках клеш из дырявой мешковины.

На тряпичные головы этих бродяг были напялены детские ватные капоры или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков вот-вот исполнят «танец смерти» или канкан.

Самой большой популярностью пользовалось пугало из огорода на Карантинном молу. Оно изображало прощелыгу в шкиперской каскетке, с бутылкой водки в руке. Прощелыгу этого прозвали «Жорой с Дюковского сада».

Вместо водки в бутылке была морская вода. Но это не мешало завсегдатаям порта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать.

Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимый для воробьев.

Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развевались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь.

Все это (в том числе и пугала в порту) было косвенными приметами блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно (в начале лета даже старый знакомец «Ля Скарп» удалился от одесских берегов), и потому ей сопутствовали разные мирные, а иной раз и идиллические занятия жителей.

Война с белополяками не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне Очакова и Кинбурнской косы, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга, — немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развевая на гафеле грот-мачты[15] выцветший андреевский флаг.

Были еще и другие блокадные приметы. Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей.

Мы, работники Опродкомгуба, знали, какое

---

[15] Комментарии: 15

Гафель грот-мачты — наклонный рей, закрепляемый нижним концом на верхней части мачты (здесь — грот-мачты, второй от носа), служит для подъема флагов и сигналов.

нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, насытить, как в евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек.

Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, «по литерам». Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита, от «А» до «Я», и хлеб выдавался в зависимости от литеры: по «А» больше всего, а по «Я» давали почти невесомое его количество, очевидно, только для канареек.

Я получал хлеб по литере «К».

Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникавшей паникой, насмешливым обсуждением высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно — так же, как рассеивается пыль после взрыва.

Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь растопыренной пятерней.

В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности же-

ста она представляется мне образцом уличных скандалов.

В очереди стоял кроткий старец-еврей в длинном, до пят, потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно рассматривал очередь через необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман.

Это был, конечно, ученый, может быть, даже цадик, старый философ с Портофранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположения к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах.

Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли канареечного цвета.

Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках. Весь город наполнился их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастанье-

тах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах.

Молодой человек соображал, как бы незаметнее и без скандала втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой. Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротивления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, стал перед ним и небрежно сказал:

— Я извиняюсь!

Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь под самую «душу». При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку:

— Нет, это я извиняюсь!

Молодой человек икнул, отлетел и ударился спиной об акацию. Кепка упала у него с головы. Он подобрал ее и пошел, не оглядываясь, к перекрестку. Только на перекрестке он наконец обернулся, погрозил старику кулаком и сказал,

всхлипывая:

— Каторжанин! Старый бандит!

Очередь молчала. Коллективная мысль, захваченная врасплох этим событием, еще не оформилась и не получила ясного выражения. А старик вытащил из кармана книгу, углубился в нее, выискивая, очевидно, какую-нибудь истину, пригодную для обсуждения с приятелями-стариками в тихих дворах Портофранковской улицы.

Дни блокады казались безмятежными некоторой части населения Одессы только из-за полной неосведомленности о том, что происходит вне города. На самом же деле положение для молодой еще Советской власти было грозным и напряженным. Нужна была большая находчивость и вера в свои силы, чтобы выйти из нависшей над городом опасности.

Дело в том, что после бегства белых из Одессы на окраинах города и в немецких колониях, во всех этих Либенталях, Люстдорфах и Мариенталях, застряло около семидесяти тысяч деникинских офицеров и солдат.

Союзники рассчитывали, опираясь на них, поднять в Одессе восстание и поддержать его с моря огнем своих кораблей.

Кроме того, в предместьях — на Молдаванке,

Бугаевке, в Слободке-Романовке, на Дальних и Ближних Мельницах — жило, по скромным подсчетам, около двух тысяч бандитов, налетчиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого и прочего темного люда.

Настроение этого разнообразного и нервного общества было неясным. Бандиты вообще отличаются истеричностью и непостоянством привязанностей. Никто не мог знать, как они себя поведут, если случится восстание.

В Одессе в то время было мало советских войск. А между тем союзная эскадра уже крейсировала у берегов Одессы, выслав вперед для разведки итальянский миноносец «Ракия».

И вот произошел случай, резко изменивший всю обстановку. Миноносец «Ракия» наскочил на мину на траверзе[16] Большефонтанского маяка. Внешним проявлением этого события был только легкий гул, докатившийся до города с моря. Но он никого не встревожил.

По приказу Одесского губкома рыбаки с Золотого берега, Большого Фонтана, с дачи Ковалевского и из Люстдорфа — люди опытные и спокойные

---

[16] Комментарии: 16

Траверз— направление, перпендикулярное курсу судна. «Быть на траверзе» какого-нибудь предмета — находиться на линии, направленной на этот предмет и составляющей прямой угол с курсом судна.

— немедленно вышли на своих шаландах к месту взрыва, подобрали уцелевших итальянцев, сняли с тонущего миноносца убитых и доставили их на берег раньше, чем успели подойти на помощь корабли эскадры.

Тела погибших итальянцев привезли в Одессу. Командующему эскадрой было передано радио. В нем сообщалось, что город, удрученный этим несчастьем, берет на себя похороны доблестных итальянских моряков, приглашает командира эскадры прибыть на торжественную церемонию и просит выслать для отдания последних почестей погибшим отряды моряков.

Адмирал ответил согласием, — больше ему ничего не оставалось делать.

А наутро от порта до Куликова поля около вокзала, где была приготовлена братская могила, выстроились красноармейские части и отряд наших моряков без оружия. На всех домах висели траурные флаги. Путь похоронной процессии был усыпан цветами и ветками туи.

Сто тысяч одесситов присутствовало на этих похоронах — почти все тогдашнее население города.

Гробы несли на руках портовые рабочие. За ними шли с винтовками, опущенными дулами к

земле, загорелые итальянские матросы.

Играли оркестры с иностранных судов и сборный оркестр Одессы. Он не ударил в грязь лицом, и надрывающие сердце траурные звуки шопеновского марша заставляли чувствительных одесситок плакать, утирая глаза концами шалей.

В церкви Ново-Афонского подворья печально и похоронно звонили колокола. Крыши домов были черны от людей.

Над могилой говорили речи. Итальянцы слушали их, держа винтовки «на караул». Потом отдаленный прощальный залп кораблей слился с ружейным залпом на Куликовом поле. Братская могила превратилась в пирамиду цветов.

После похорон для иностранных моряков был устроен в бывшем кафе Фанкони ужин. На него товарищ Агин истратил почти весь неприкосновенный запас продовольствия.

После таких похорон не могло быть, понятно, и речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками их погибшим товарищам, и растроганы дружеским приемом.

Старый адмирал, похожий, как говорили, на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что про-

играно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь. И эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров.

Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов.

Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов эскадры с нашими рабочими и солдатами и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность.

Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами.

Потом в одно безоблачное утро у Карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки[17], турецкие фелюги из Скутари — первые торговые суда в Одессе.

На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыло из Турции на двух фелюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бочонок маслин.

---

[17] Комментарии: 17

Писанки— раскрашенные, разрисованные яйца.

Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, даже сразу изменилось: весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какой я на нем до тех пор не видел.

Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых хотя и в чужой, но прекрасной стране.

Хитросплетение обстоятельств

Володя Головчинер любил глубокомысленно говорить, что жизнь наша зависит от причудливого и неожиданного сплетения обстоятельств. При этом в доказательство своей правоты он приводил слова из чеховского «Иванова»:

«Жизнь наша… Жизнь человеческая подобна цветку, пышно произрастающему в поле: пришел козел, съел — и нет цветка…»

Торелли соглашался с Володей и говорил, что, может быть, на всем земном шаре жизнь и течет закономерно, но что касается Одессы, то за это поручиться нельзя.

Он утверждал, что Одесса — взбалмошный город, где возможно все, вплоть до уличных боев из-за венских стульев. При этом Торелли вспоминал случай во время интервенции Одессы в 1919 году.

Интервенты разделили город на четыре зоны: французскую, греческую, петлюровскую и деникинскую. Каждая зона была отгорожена от соседней рядами венских стульев. Однажды петлюровцы воспользовались тем, что французский часовой отлучился с поста по нужде, и перета-

щили часть стульев к себе — отхватили большой кусок чужой территории. Возмущенный часовой поднял, по словам Торелли, «страшный шухер» и начал даже стрелять.

Но как бы там ни было, все же в том случае, о каком речь будет ниже, Володя Головчинер оказался прав: произошло причудливое и неожиданное сплетение (или, как говорил Володя, «хитросплетение») обстоятельств.

В самый разгар блокады, когда почти полная отрезанность от мира сообщала одесской жизни даже некоторый оттенок беззаботности, ранним летним утром ко мне в дворницкую постучался Торелли.

— Вставайте! — крикнул он мне через дверь. — Кажется, в Одессе началась новая интервенция.

Я вскочил. В Одессе можно было ожидать чего угодно. С обрыва над Ланжероном мы с Торелли увидели затянутый голубоватой и нежной дымкой порт, увидели, как пышно выразился Торелли, «розовоперстую Аврору» — тонкие пряди облаков над морем, освещенные тихой зарей, и на прозрачной воде порта — два огромных и неуклюжих океанских парохода под французским флагом.

Рядом с пароходами стоял элегантный и длин-

ный, как серая сигара, французский контрминоносец «Лейтенант Борри». Прозрачный дым струился из его труб, а медные части пылали на палубе десятками жгучих солнц.

Мы пошли в порт, но нас туда не пустили. Порт был оцеплен отрядами красноармейцев и наших матросов.

Французские транспорты медленно и осторожно подтягивались к причалам.

Мы узнали, что контрминоносцем «Лейтенант Борри» командовал известный и весьма изысканный французский писатель-моряк Клод Фаррер, автор книги «В чаду опиума».

Само по себе это было тоже интересно. Но гораздо интереснее была высадка, тотчас же начавшаяся с французских транспортов.

С них в полном порядке и тишине спустились не зуавы и не кофейные сенегальцы и даже не солдаты французского Иностранного легиона, а наши русские солдаты в новенькой, с иголочки, защитной форме, но без оружия. Единственное, что отличало их от солдат старой царской армии, — это скрипучие краги из желтой глянцевитой кожи.

Солдаты выстраивались на пристани и уходили в казармы в сопровождении советских

командиров.

Да, через час мы уже знали всё. Это «всё» заключалось в том, что во время Первой мировой войны по прихоти Николая Второго во Францию был отправлен корпус русской пехоты, так называемый Экспедиционный корпус. Солдат везли морем из Владивостока в Марсель.

Корпус высадился в Марселе и промаршировал через Париж перед восхищенными француженками, осыпавшими офицеров и солдат цветами.

Президент республики принял парад русских войск около Триумфальной арки. Солдаты прошли перед президентом с залихватской песней:

Чубарики-чубчики, горе не беда!

Потом в России произошла революция, русские солдаты, естественно, отказались воевать, и французы увели их в тыл, в лагеря для военнопленных. Там наши солдаты просидели несколько лет, требуя возвращения на родину и время от времени устраивая бунты, вызывавшие панику во французском правительстве.

В конце концов французы решили избавиться от русских, погрузили их на морские транспорты и, договорившись с Советским правительством, отправили под конвоем в Одессу.

Вся Одесса повалила на портовые спуски приветствовать русских солдат. Их обнимали, целовали, дарили цветы.

Но затем произошло нечто совершенно загадочное.

Когда разгрузка была окончена и транспорты тут же отвалили от причалов и в сопровождении контрминоносца «Лейтенант Борри» начали вытягиваться на рейд за Воронцовский маяк, со стороны нашей Черноморской улицы раздался громоподобный орудийный залп, и полоса шрапнели разорвалась перед носом транспортов.

Транспорты застопорили машины, а контрминоносец развернулся бортом к Одессе, и тотчас же на его боевой рубке замигали ослепительные вспышки фиолетового огня: миноносец начал какие-то торопливые переговоры с берегом.

На оцепленном Приморском бульваре устанавливали орудия. Сосредоточенные и суровые матросы с маузерами на поясах работали молча и быстро.

Тотчас же вся Одесса узнала, что в трюмах транспортов был спрятан большой груз оружия, вплоть до легких танков.

Французы решили одним ударом убить двух зайцев: избавиться от революционных русских

солдат, а на обратном пути из Одессы в Константинополь зайти в Крым и выгрузить оружие Врангелю.

Одесские власти узнали об этом от солдат Экспедиционного корпуса и запросили по радио распоряжения из Москвы.

Москва приказала не выпускать французские транспорты и потребовать от французов, чтобы во избежание излишнего кровопролития врангелевское оружие было выгружено в Одессе.

Французы упорствовали. В Одессе говорили, что всю эту наглую и жульническую историю с оружием придумал генерал д'Ансельм. Даже его союзники — деникинцы — считали, что д'Ансельм глуп как пробка и скуп как Плюшкин.

Прошло два дня. Вся Одесса толпилась на берегу, гадая, чем все это кончится. Французы упорствовали и держали в котлах пар: трубы транспортов все время дымились.

Очевидно, французы искали какого-нибудь выхода из положения, в котором был бы хоть оттенок благородства. Но они, конечно, ничего не придумали, кроме применения грубой силы.

Из Константинополя в Одессу была отправлена сильная эскадра французских военных кораблей. Командующий эскадрой передал в Одессу радио

с угрозой открыть по городу огонь из тяжелых орудий и снести весь город, если транспорты не будут отпущены.

Я помню до сих пор ту жгучую горечь и досаду, когда мы узнали, что Москва предложила выпустить французов, чтобы спасти Одессу. Тогда мы еще не были так сильны на море, чтобы принять бой со всей французской эскадрой.

В день ухода французских транспортов я пошел на Фонтаны, откуда было видно открытое море. С обрывистого берега я увидел морской горизонт, затянутый пеленой тяжелого и непроницаемого дыма. Это подходила французская эскадра. Она остановилась в нескольких милях от берега, дожидаясь своих транспортов.

Транспорты уходили полным ходом. За ними несся, юля и перебегая от транспорта к транспорту, контрминоносец «Лейтенант Борри». Все же одна из наших батарей не выдержала и дала вслед уходящим французам залп шрапнелью.

Я испытал тогда жестокую обиду за Францию и за французов, обиду за великую французскую

культуру, за Дидро и Вольтера[18], Гюго[19] и Стендаля, за Золя и Коро, за Пастера[20] и Делакруа[21], за всех великих французов, которых никто из нас не отделял от русских. Они казались нам такими же родными, как Пушкин, Толстой, Чехов. Они были жестоко унижены политическими маклаками Франции и их представителем — надутым, как петух, генералом д'Ансельмом. Я представлял себе, с каким холодным презрением Стендаль или Гюго приказали бы расстрелять этого генерала за его трусливую подлость.

---

[18] Комментарии: 18

Вольтер (Мари Франсуа Аруэ; 1694–1778) — французский писатель и философ-просветитель.

[19] Комментарии: 19

Гюго Виктор Мари (1802–1885) — французский писатель.

[20] Комментарии: 20

Пастер Луи (1822–1895) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии.

[21] Комментарии: 21

Делакруа Фердинанд Виктор Эжен (1798–1863) — французский живописец и график.

«День мирного восстания»

Электричество в Одессе давно не горело. О нем забыли. Лампочки обросли пыльной корой. Выключатели, если их случайно поворачивали, взвизгивали от ржавчины.

Единственным человеком из нас, который радовался этому, был Володя Головчинер.

— У каждого времени, — говорил он с апломбом, как будто открывал необыкновенную истину, — есть свой стиль. Стиль нашего времени — приближение к патриархальной жизни. Посудите сами, электричество ушло в невозвратное прошлое. Трамвайные рельсы зарастают крапивой. На площадях городов цветет картошка. Из воздуха исчезли последние молекулы копоти. Вместо обуви мы носим греческие котурны, а вместо водки пьем чистую воду. По-моему, это прекрасно. Начинается золотой век.

Однажды мне нездоровилось. Я не пошел в Опродкомгуб и до вечера пролежал у себя в дворницкой. Стояла поздняя весна. Цвели каштаны, и над морем взошел затуманенный месяц.

Я мирно читал при коптилке десятый том энциклопедии Брокгауза и Ефрона, как вдруг про-

изошло нечто непонятное и тревожное — тонкий волосок в электрической лампочке под потолком начал желтеть и, далеко не дойдя до полного накала, остановился и замер. Он залил все вокруг таким тусклым и неприятным светом, как будто комната превратилась в морг.

Я оцепенело смотрел на лампочку, соображая, почему она горит так тускло. Очевидно, немощный ток с натугой протискивался по ржавым проводам, едва пробивался через пыльные соединения, обмотанные высохшей изоляционной лентой, и застревал в затянутых паутиной механизмах электрических счетчиков.

«В конце концов он разгорится», — уверял я себя, но свет не усиливался, а, наоборот, убывал. Но его все-таки было вполне достаточно, чтобы осветить ряды хмурых профессорских книг в дубовых шкафах.

Я подумал, что неожиданный свет загорелся, конечно, неспроста. Он был загадочным предостережением. Подумал так, конечно, не я один. В Одессе началась скрытая паника. Одесситы поняли, что появление света предшествует неприятностям. Но каким?

На это намекнул мне Торелли. Он постучался и вошел в дворницкую желтый, с побелевшими

глазами. Через руку у него было перекинуто новенькое женское пальто с обезьяньим воротником.

— Я вас попрошу, — сказал Торелли торопливо, — повесить это пальто у себя на вешалке. На несколько дней. Это пальто моей сестры.

Я был озадачен, но взял у Торелли пальто и повесил в шкаф. Пальто было легкое и пахло духами. Очевидно, после болезни сестра Торелли Рахиль — еще молодая и миловидная женщина, рыжая от веснушек, — не надевала это пальто ни разу.

— А в чем дело? — спросил я Торелли.

— Дело в логике. — Торелли неестественно хихикнул и потер руки. — Мы с вами прекрасно знаем, что в Одессе угольного штыба для электростанции хватит всего на три ночи. А между тем станцию пустили. Значит, за три ночи что-то произойдет. И это «что-то» обязательно требует электрического света.

— Что же может случиться? — растерянно спросил я.

— Я знаю?! — Торелли пожал плечами. — Вар-

фоломеевская ночь![22] Избиение младенцев![23] Похищение сабинянок![24] Последний день Помпеи![25] Что вам больше понравится. Привет, до завтра!

И он исчез, оставив меня в полном недоумении.

В конце концов, ничего не придумав, я лег спать. Выключатель, когда я повернул его, заверещал, но лампочка не погасла. Я начал вертеть выключатель. Он пищал все пронзительнее и злее, но лампочка продолжала гореть. Она даже не мигала. Тогда я влез на стул, обернул лампочку газетой и попытался вывинтить ее. Но она прикипела к патрону и потому лопнула со звуком выстрела и погасла, теперь уже навсегда.

Я лег, не закрывая окон. Гул моря то сонно вка-

---

[22] Комментарии: 22

Варфоломеевская ночь— массовая резня гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день святого Варфоломея) в Париже, организованная Екатериной Медичи и Гизами.

[23] Комментарии: 23

Избиение младенцев— ставшее крылатым выражение, возникшее из евангельской легенды об умерщвлении всех младенцев в Вифлееме по повелению иудейского царя Ирода после того, как он узнал от волхвов о рождении Иисуса, названного ими царем иудейским.

[24] Комментарии: 24

Похищение сабинянок— эпизод, относящийся к легендарному периоду римской истории — похищение девушек у приглашенных Ромулом на праздник соседей-сабинян, не желавших отдавать их римлянам в жены.

[25] Комментарии: 25

Последний день Помпеи. — Римский город Помпея погиб при извержении вулкана Везувий 24 августа 79 г. н. э. «Последний день Помпеи» — название картины Брюллова на эту тему.

тывался ко мне в дворницкую, то отливал из нее так равномерно, что быстро усыпил меня.

Проснулся я на рассвете. Капли росы собирались на ветках туи за окном. В саду было тихо и пусто. Только в углу, около стены, где всегда стояла старая бочка с известью, чернело нечто большое и бесформенное.

Я долго всматривался в эту черную кучу, похожую на копну сена. В куче было что-то пугающее, но я пересилил страх, вылез в сад через окно и подошел к ней.

Куча состояла из нескольких старых, но дорогих шуб. Была шуба на хорьковом меху, с бобровым воротником, было два старомодных демисезонных драповых пальто, были каракулевая женская шуба и меховой жакет из кенгуру.

Под слоем шуб я нашел низенькую, обитую штофом табуретку на вычурных золоченых ножках. Такую табуретку я видел как-то в театре на «Пиковой даме» под ногами у старой графини.

Я хотел вытащить табуретку, чтобы рассмотреть ее, но не рассчитал своих сил — поднял ее и тут же уронил. Мне показалось, что табуретка налита свинцом.

Я ударил по ней ногой и услышал, как внутри нее, под нарядным штофом эпохи Людовика XIV,

звякнуло нечто металлическое. Тайна сгущалась. Но прежде чем заняться ее разгадкой, я побежал за хлебом в ближайшую лавку. Она была открыта только два часа в день. Я боялся опоздать и остаться без хлеба.

Когда я вернулся, то куча шуб оказалась уже прикрытой соломой и старыми листьями так тщательно, что никто бы и не подумал, что здесь что-то спрятано.

История эта, как все непонятное, начала меня раздражать. Я знал, что ключ от единственной калитки со двора в сад был у Просвирняка, и пошел к нему за объяснениями.

Поведение Просвирняка всегда было для нас своего рода барометром. Если при встрече с Яшей или со мной он отводил глаза, делал вид, что плохо нас слышит, и, разговаривая, перебивал нас и кричал на кухню работнице, бывшей монахине: «Неонила, не лейте так много постного масла!» — или еще что-нибудь в таком же роде, то это означало, что положение Советской власти в Одессе в какой-то, даже в самой маленькой степени пошатнулось.

Если же Просвирняк был настороженно-любезен и хохотал неестественным басом, подбирая снизу обеими руками свою черную бороду, то это

свидетельствовало о крепости Советской власти.

На этот раз Просвирняк был сдержанно-любезен, но глаза у него побелели от злобы. Выслушав мой рассказ о залежах шуб и табуретке, он смиренно, но подчеркнуто ответил:

— Вам, глубокоуважаемый Константин Георгиевич, как советскому служащему хотя и с ограниченной, но все же с некоторой ответственностью за деяния ваших хозяев, надлежало бы знать, что с сегодняшнего числа в Одессе объявлен «День мирного восстания». Продлится этот день, по разъяснению властей, четыре дня.

— Я не был еще в городе, — ответил я. — Что это за «День мирного восстания»?

— Так вот, попрошу ознакомиться! — Просвирняк положил на стол передо мной серый листок бумаги. Руки его тряслись. — Собственноручно отклеил от стены своего дома вчера в одиннадцать часов вечера.

Я прочел приказ Одесского губисполкома о том, что в целях экспроприации у имущих классов богатств, являющихся отныне народным достоянием, в Одессе объявляется «День мирного восстания».

В этот день у всех без исключения граждан будут отобраны излишки вещей и продовольствия,

кроме самых необходимых, указанных в списке.

Я просмотрел этот список. Там было напечатано: «Оставить в пользовании каждого гражданина комплект верхней носильной одежды, комплект белья, пару ботинок (кроме сапог), головной убор» и так далее, вплоть до «одной ложки столовой и одной чайной, ножа, вилки, кружки, самой необходимой посуды для варки пищи и ста граммов сахара».

«В случае нахождения золота и драгоценных вещей, иностранной валюты, а также предметов роскоши и спекуляции скрывающие их лица будут преданы суду, как за измену родине и контрреволюцию».

— Хана! — неожиданно сказал Просвирняк, и я даже вздрогнул. Впервые я услышал из его медоточивых уст крепкое слово.

— Так вот, Даниил Семенович, — сказал я, — будьте добры забрать из-под моих окон все ваши вещи и спрятать их, где вам будет угодно. Я, можете себе представить, не хочу быть расстрелянным из-за ваших шуб, траченных молью, и табуреток, набитых золотом.

— Вы глубоко ошибаетесь, Константин Георгиевич, — ответил расстрига нежным голосом и прижал руки к груди. — Напрасно гневаетесь.

Две шубы, правда, мои, а табуретку принесла свояченица генерала Ренненкампфа. По сердолюбию своему не мог отказать, поскольку сам прятал при ней собственный скарб. Войдите в мое положение. Как стемнеет, я все унесу.

— Хорошо, — согласился я. — До вечера так до вечера.

Просвирняк, забыв, должно быть, что он расстрига, воздел руки к небу и сказал вдохновенным и лживым голосом, как с амвона (при этом глаза его на мгновение сверкнули бешеным огнем):

— Братоубийственные времена! Поистине нет предела человеческой скверне и происка антихриста!

Он опустил руки и продолжал уже обыкновенным голосом:

— Вас я уважаю, но жилец из третьей квартиры, монтер товарищ Гаварсаки, повергает меня в смятение. Он скупает взрывчатые вещества. Когда-нибудь всех нас заберут вместе с ним и поставят к стенке. Ручаюсь головой! Опасайтесь его! Посматривайте, чтобы он не закопал в саду свою дьявольскую пиротехнику. А шубы — это пустое дело. Ну, в крайнем случае «товарищи» отберут. Я готов ко всему.

Я ушел, нисколько не сомневаясь, что Просвир-

няк не уберет из сада свои вещи. И я оказался прав. Когда я вернулся к вечеру вместе с Яшей, то куча вещей уже протянулась вдоль ограды целым валом. Вещи так же тщательно были укрыты соломой, как и первая куча, теперь уже казавшаяся мне ничтожной.

Около вала из вещей сидел на венском стуле и дремал почтенный старец с вылинявшими баками. Он выглядел настолько старомодно, что можно было подумать, будто в саду идет съемка фильма из времен Гончарова или Островского.

— Вещи вы, конечно, не убрали, — сказал я Просвирняку. — Ну, да бог вам судья. Но что за персонаж сидит в саду на стуле?

— Страж, — таинственно ответил Просвирняк. — Между нами говоря, вещей понатаскали со всей Черноморской: уж очень место укромное. Но людей, естественно, пробирает двойной страх. С одной стороны, все могут отобрать власти, а с другой, не ровен час, наскочат одесские налетчики. Вот и решили караулить по очереди. До минования опасности. Товарищ Гаварсаки тоже совался в сад со своей пиротехникой. Но я его не пустил.

— С какой пиротехникой?

— Сулеи хотел спрятать. Двухведерные бутыли

с неизвестной жидкостью. Убогий умом человек этот Гаварсаки.

— Нда-а-а! — сказал Яша, ознакомившись с общим положением в саду и в доме. — Я могу предсказать, что дело у вас окончится хорошенькой катастрофой.

В городе в тот день меня прежде всего поразило невиданное уличное оживление. Особенно бросалось в глаза большое количество детских колясок всех сортов и вообще обилие всяких приспособлений для перевозки мелких вещей, вплоть до навьюченных, как мулы, велосипедов и маленьких деревянных платформ на низеньких колесиках. Среди детских колясок большинство представляло совершеннейшие развалины, связанные рваными веревками.

Весь этот поток детских колясок катился в сторону Греческого базара. Туда же, грохоча, резво бежали подталкиваемые сзади деревянные платформы. Туда же торопились запыхавшиеся люди с узлами и чемоданами. Туда же тащили настольные лампы и швейные машины, грудастые портновские манекены и зубоврачебные кресла.

Могучее это движение происходило в тишине. Особенно удивительно было полное молчание детей в колясках. Все дети, очевидно, спали бога-

тырским сном. Никто из них ни разу не заплакал, не вскрикнул. Кроме того, все эти наглухо закрытые и закутанные в колясках дети были, очевидно, будущими исполинами: коляски прогибались под их неимоверной тяжестью. Колеса скребли по ободранным кузовам.

Стихийное движение колясок длилось весь день. Служащие Опродкомгуба наблюдали за ним из окон. Малейшая остановка или замедление вызывали у зрителей беспокойство. Люди, высунувшись из окон, тревожно окликали людей, толкавших коляски:

— Что там? Не пропускают? Тогда заворачивайте на Пересыпь. Туда придут в последнюю очередь.

— Да нет, пропускают, — неохотно отвечали с улицы. — Тут только одна коляска развалилась и всех задерживает.

— А что в ней? — с живым интересом спрашивали из окон.

— Да банки с халвой, — отвечали с улицы. — Там ее пудов пять, этой халвы. Целое депо!

Как только я пришел в Опродкомгуб, Торелли объяснил мне смысл происходящего в городе передвижения людей и колясок из одного квартала в другой.

Этой ночью изъятие излишков было произведено в районе Греческого базара. Поэтому жители других районов, скажем, Вокзального, где изъятия еще не было, свозят к Греческому базару, как в безопасное убежище, свои ценные вещи. А завтра, если очистится Вокзальный район, весь этот поток колясок и людей хлынет обратно, чтобы освободить место для вещей с Французского бульвара.

— Это как на войне, — сказал Торелли. — Вы же знаете, что снаряд редко попадает два раза в одно и то же место. Поэтому, чтобы спастись, лучше всего прятаться в свеженькую воронку. Так вот, наш Греческий базар и оказался такой воронкой.

Всю ночь мы с Яшей не могли уснуть. За окнами шмыгали, как летучие мыши, владельцы вещей, сваленных в саду. При малейшем шуме они будто проваливались сквозь землю.

Не могли мы уснуть еще и потому, что каждую минуту ждали появления отряда, производящего обыски. Никто из нас не знал, когда дойдет наконец очередь до нашей Черноморской улицы.

Поэтому мы с Яшей лежали, прислушиваясь к необъяснимым шумам, долетавшим с улицы и из сада, и развлекались тем, что старались найти причину каждого звука.

Из главного дома слышался тихий гул. То был слитный встревоженный шепот жильцов всех четырех квартир. Но в этом гуле все же выделялись нудные жалобы товарища Гаварсаки. Ему все не удавалось сбыть с рук свои сулеи с неизвестной взрывчатой жидкостью.

— Не к добру мы развеселились, — говорил Яша Лифшиц. — Я на вашем месте вытащил бы из вещей в саду эту табуретку с золочеными ножками и выкинул ее к чертям. Забросил бы в соседний двор, что ли? Вы понимаете, что из-за нее вы рискуете головой? Как вы докажете, что она не ваша?

— Так встаньте и выкиньте сами, — спокойно ответил я. — Будете иметь дело со всей оравой владельцев. А мне теперь все равно.

Яша промолчал, но по его сопению я понял, что он начинает злиться.

— Эй вы, представители имущих классов! — вдруг, вспылив, прокричал он в окно, за которым испуганно метнулась чья-то грузная тень. — Губернаторы и статс-дамы! Перестанете вы мельтешить у нас под окнами или нет? Спать не даете с вашим кодлом!

У Яши от гнева поднялся, как всегда, хохолок темных волос на затылке. В саду и в доме после

Яшиного крика «воцарилась», как говорится, испуганная тишина. Я начал хохотать, уткнувшись лицом в подушку.

— Вы чего? — накинулся на меня Яша.

— Во-первых, — ответил я, — вы не знаете значения слова «кодло», а во-вторых…

Но я не успел досказать. В комнату без стука вошел со двора товарищ Гаварсаки. Он молча, но с укоризненным видом остановился в дверях. Он даже скрестил на груди руки.

— Вам что угодно, молодой человек? — спросил его Яша. — «Спокойной ночи!», как говорят в таких случаях хамам.

Но Гаварсаки даже не посмотрел на Яшу. Надо кстати сказать, что Гаварсаки обладал наружностью, которая могла смутить самого невзыскательного человека. Его длинное землистое лицо с вытянутым и несколько отогнутым в сторону черным носом, его маслянистые глаза, обведенные желтыми скорбными кругами, его заплетающиеся ноги и бубнящий голос выдавали неудачника, привыкшего безропотно сносить удары судьбы. Соображал Гаварсаки очень туго, и никогда нельзя было поручиться, что он понял все, что ему говорят.

Гаварсаки продолжал молчать и долго и вни-

мательно, приоткрыв рот, осматривать дворницкую. Потом он наконец произнес:

— Можно бы поставить вот тут, за дверью… Так туда влезет только одна сулея. А их у меня три.

В глазах у Яши я увидел испуг.

— Что он говорит? — спросил Яша. — Чего он хочет?

— Или засунуть их в шкаф? — спокойно спросил самого себя Гаварсаки. — Вещи у меня аккуратные. Чистый эфир.

— Какой эфир? — с ужасом спросил Яша и сел у себя на койке.

— Я же вам говорю — чистый. «Этер сульфурикус». Вы что, шутите? За каждую сулею дают три пуда муки и бутылку лампадного масла. Это вам не жук начихал на скатерть. Если найдут, ну, тогда, конечно, вас под ноготь и к стенке! Но в дворницкую к вам они не зайдут. Клянусь жизнью. Это же нежилое помещение, подсобное. На что оно им сдалось! А у меня сулеи стоят прямо посередке комнаты, как на сцене. У меня от этого нервозность разыгрывается. Я, товарищи, теряюсь до головной боли.

Яша вскочил, вплотную подошел к Гаварсаки и сказал шипящим, неслыханно злым голосом:

— Вон отсюда, иначе я вышвырну вас за дверь,

как щенка. Вон!

Гаварсаки с удивлением посмотрел на Яшу, поскреб в затылке и неохотно вышел из комнаты, осторожно прикрыв за собой дверь. Перед этим он спросил меня:

— Он что у вас? Сильно психический?

Яша запер дверь на ключ, задул коптилку, лег, долго ворочался в темноте и проклинал себя за то, что нелегкая принесла его на Черноморскую улицу.

Я начал засыпать. Странный, несколько резкий запах доходил до меня из глубокой дремоты. Я внезапно почувствовал, что теряю вес и у меня медленно, но верно останавливается сердце.

Оно ударило едва слышно в последний раз, потом затихло совсем без всякой боли и страха, и волна теплой, блаженной свежести окутала меня. Я даже засмеялся от наслаждения.

Тотчас я услышал, как будто из глубины вселенной раздался громоподобный рев Яши Лифшица:

— Вставайте! Скорее! Эфир!

Яша дернул меня за ногу. Я тяжело сел на койке и снова упал на нее. Яша схватил меня за плечи и, шатаясь, подтащил к низенькому оконцу дворницкой.

— Вылезайте в сад! — кричал он и толкал меня

в спину. — О проклятый, сукин сын! Чертов пиндос Гаварсаки! Скорее! Мы пропадем! Скорее!

Я с трудом высунулся в окно. Оттуда кто-то подхватил меня и выволок в сад. Это был Торелли. За мной вылез в окно Яша. В дворницкой стоял сильный, неприятный запах.

— Заклинаю всех господом богом! — рыдающим голосом кричал Просвирняк, воздевая руки к небу. — Не курите здесь и не зажигайте огня! Покорнейше умоляю! Иначе дом взлетит на воздух. Не подходите к канализационным колодцам. Это смертельно!

Я пришел в себя. Чуть светало. Сад был полон испуганных жильцов. Все они жались к каменной ограде.

Под старой акацией лежала на подостланном одеяле сестра Торелли.

— В чем дело? — спросил я, озираясь. — Был обыск?

— Как бы не так! — ответил мне Торелли фальшивым бодрым голосом. — Бог вместо обыска предпочел сотворить чудо.

Тогда все жильцы вдруг начали, как по команде, смеяться. Женщины качались от смеха, прикрывая рты платками. Мужчины беззвучно тряслись. Торелли хихикал и взвизгивал, а Про-

свирняк похохатывал, приглаживая бороду. Даже Яша кашлял от смеха и отплевывался.

Мне стало страшно.

— Перестаньте! — крикнул я. — Что случилось?

Оказалось, что в два часа ночи отряд, производивший обыск, дошел до соседнего дома. Тогда обезумевший от страха Гаварсаки схватил свои сулеи с эфиром, вылил их в отлив в уборной и тотчас исчез в неизвестном направлении.

Тяжелые, ядовитые волны эфира хлынули в дом, ворвались по трубам в дворницкую, в соседний дом, начали сочиться сквозь фланцы и расползаться из канализационных колодцев по улице и дворам.

Все население нашего и соседнего дома успело бежать. Сестру Торелли едва вынесли на руках. Отряд отступил, обошел зараженные эфиром дома и, явно торопясь, чтобы не угореть, начал обыскивать дальние дома. К утру он ушел, грозя найти Гаварсаки хотя бы на дне морском и оторвать ему голову.

В тот же день вещи из сада рассосались по владельцам. Они исчезли удивительно быстро и незаметно. Расстрига подмел сад, потом прошел дождь, прибил пыль, смыл все следы ночного

смятения, и снова синяя приморская тишина плотно окружила дворницкую и больше уже не исчезала.

Яша вернулся к себе в город. Вместо него ко мне на Черноморскую переехал Володя Головчинер.

Такова уж во все времена человеческая благодарность. Гаварсаки возвратился домой через неделю невредимый, но иссохшийся и очумелый. В квартирах еще попахивало эфиром.

И, несмотря на то что Гаварсаки спас жильцов дома от обыска, все они дружно обрушились на него. Почти не было дня, чтобы они не рассказывали о нем всяческих смехотворных и глупых историй.

Гаварсаки скреб затылок и безуспешно пытался найти у жильцов хоть каплю сочувствия. Но ее не было. Только Володя Головчинер терпеливо выслушивал его. Но когда Гаварсаки уходил, он тоже вздыхал и безнадежно качал головой:

— Нет, такой гражданин, конечно, керосина не выдумает!

Австрийский пляж

Карантинную гавань защищала от моря высокая стена из бетонных плит. Стена эта переходила в рейдовый мол.

Сильные зимние штормы пробили в этой стене широкую брешь и намыли под стеной со стороны моря небольшой песчаный пляж. Первыми начали пользоваться этим пляжем во время интервенции австрийские солдаты. Поэтому этот очень уютный, теплый и пустынный пляж и получил название «Австрийского».

До этого пляжа идти из города было дальше, чем до большого Ланжероновского. И на Австрийский пляж ходили только любители безлюдья. А может быть, и любители той морской старины, какая сохранилась главным образом на гравюрах в пожелтевших журналах. Потому что на Австрийский пляж надо было идти через порт, мимо вросших в землю, разряженных шарообразных мин и окрашенных в желтый и красный цвет буев, мимо каменных трапов к воде и сигнальных мачт, старых шаланд и бухт истлевшего каната, наконец, мимо загадочного маленького дома на молу с белой башенкой и проржавленным

балконом. Первый этаж этого дома был глухой, без окон. Это придавало ему некоторое сходство с фортом или блокгаузом.

Дом покрывала марсельская черепица. Вокруг его флагштока часто пел ветер, а в окне второго этажа за плохо задернутой занавеской виднелись выцветшие карты на стене и сваленные на подоконнике книги. В этом морском доме никто не жил. Если бы мне разрешили поселиться в нем, то я, конечно, счел бы себя счастливейшим человеком на свете.

Я украсил бы этот дом не только новыми картами и книгами, но просквозил бы его морским воздухом, прогрел бы солнечным светом, казавшимся розовым среди сплошной синевы, залегшей вокруг.

Австрийский пляж был местом, как бы созданным для чтения тех книг, какие нужно читать медленно, часто откладывая их, чтобы порыться в песке и невзначай найти осколок горного хрусталя.

Он был прекрасным местом для дремоты. Ветер открытого моря щекотал глаза, и солоноватый кислород долго не уходил из легких, вызывая слабое опьянение.

На Австрийском пляже среди немногих его

завсегдатаев я встречал Илью Ильфа (тогда у него еще не было псевдонима, и все звали его Илюша Файнзильберг). Мне нравилось его спокойное и грустное лицо. Всегда казалось, что какие-то полусны-полурассказы владеют им, и потому он часто засыпает на пляже и его приходится будить на закате.

Много лет спустя я прочел в «Записных книжках» Ильфа несколько записей. С тех пор я не могу избавиться от мысли, что все это пришло ему в голову именно тогда, в 1921 году, на Австрийском пляже. Приведу здесь одну такую запись.

«Раньше перед сном являлись успокоительные мысли. Например, выход английского флота, кончившийся Ютландским боем. Я долго рассматривал пустые гавани, и это меня усыпляло. Несколько десятков тысяч людей находилось в море. А в гаванях было тихо, пусто, тревожно».

«Я долго рассматривал пустые гавани». Тогда в Одессе не было, пожалуй, более привычного и грустного занятия, чем рассматривание пустых гаваней со множеством их подробностей. Они были особенно милы, эти подробности. Спокойный свет, жар полуденного солнца и близость тугой играющей волны придавали им живописность крайнего юга.

В жизни мне пришлось много действовать. Действие все время передвигало жизнь из одного положения в другое, вело ее по разным руслам и поворачивало под разными, подчас самыми причудливыми углами.

Но в этом не было ни суеты, ни лишних разговоров, ни беспорядочного общения с любыми людьми.

Наоборот, действие соединялось с жаждой наблюдений, разглядыванием жизни вблизи, как сквозь лупу, и стремлением придавать жизни (в своем воображении) гораздо больше поэтичности, чем это было на деле.

Я невольно подцвечивал и подсвечивал жизнь. Мне это нравилось. Она от этого наполнялась в моих глазах добавочной прелестью.

Даже если бы я очень захотел, то не мог бы уничтожить в себе это свойство, ставшее, как я понял потом, одной из основ писательской работы. Может быть, поэтому писательство сделалось для меня не только занятием, не только работой, а состоянием собственной жизни, внутренним моим состоянием. Я часто ловил себя на том, что живу как бы внутри романа или рассказа.

Вот это желание рассматривать жизнь сквозь увеличительное стекло сильно захватило меня в

Одессе и было, безусловно, связано с шатанием по порту и с безмятежными часами, проведенными на Австрийском пляже.

Время сгладило острые, как зазубрины, горести и беды того времени. Память неохотно обращается к ним. Она предпочитает вспоминать прошлое в его светлом виде, сквозь тогдашние редкие радости. Они стали на протяжении дальнейших лет значительными и вескими. Нашу веру в счастливую долю своего народа не могли нарушить ни тиф, ни голод, ни обледенелая каморка, ни полная неуверенность в завтрашнем дне.

Молодость была непобедима. Она могла превратить Дантов ад в захватывающее зрелище. Опухая от голода, мы все же чувствовали слабый запах первого цветка за окном дворницкой и радовались этому.

Я воспринял и запомнил те грозные годы вместе со многими своими сверстниками как великую и неоспоримую надежду.

Эта надежда присутствовала всегда и во всем. Она проникала в сознание, как отблеск солнца сквозь тяжелые тучи зимнего одесского неба. И какой-нибудь замерзший, посыпанный солью мороза стебель лебеды во дворе вдруг освещался неизвестно откуда теплым светом, и в этом

освещении уже чувствовалось сияющее приближение весны.

Однажды на Австрийском пляже ко мне и Володе Головчинеру подсел маленький картавый человек с томными глазами. В руке у него была выгоревшая морская фуражка, потерявшая всякую форму.

В фуражке этот человек носил целую груду абрикосов, которыми и стал нас угощать.

Когда мы сообща съели абрикосы, неизвестный человек назвал себя бывшим сотрудником газеты «Русское слово» Евгением Ивановым.

— Вы, наверное, уже слышали про меня, про Женьку Иванова? — спросил он, улыбаясь и показывая мелкие острые зубы. — Я заработал славу авантюриста. Но все это чистая одесская брехня! К вам у меня два предложения. И не с кондачка, а на полном серьезе.

Он лихо надел на затылок морскую фуражку и похлопал меня по плечу.

— Первое, — сказал он, — состоит в том, что через две недели в Одессе начнет выходить морская газета «Моряк». Вы видите перед собой технического редактора этой газеты. Идите работать ко мне. Я знаю вас понаслышке. Мы завинтим такую газету, что перед ней померкнут романы

Дюма-отца и Буссенара. Мы будем печатать ее на специально заказанной бумаге из саргассовых водорослей[26]. Мы зажмем вот в эту жменю, — он сжал в кулак маленькие пальцы, — все моря земного шара и выдавим из них, как сок из ананаса, столько великолепного материала, что через пятьдесят лет за каждый номер «Моряка» коллекционеры будут платить по сто рублей золотом.

Это было, конечно, неслыханное вранье. Я смотрел на него. Он так увлекся, что в уголках его губ начала пузыриться, как у детей, слюна.

— Я не шучу, — сказал он, засмеявшись. — Хотите быть секретарем редакции? Согласны?

— Согласен, — ответил я, не задумываясь.

Но Володя Головчинер отказался работать в «Моряке», сославшись на то, что он не журналист и к тому же заведует отделом в Опродкомгубе.

— Ну и сидите в вашем Опродкомгубе, — пренебрежительно сказал Иванов. — Там вы не сможете достать даже бутылку патоки, чтобы устроить торжественный чай с кукурузными сухарями по случаю открытия редакции. Ведь не сможете! Ну, а второе предложение гораздо проще. Пока то да се, не раздеться ли нам с вами,

---

[26] Комментарии: 26

Саргассовы водоросли— морские бурые водоросли, большие скопления которых находятся в Саргассовом море в Атлантическом океане.

не пойти ли вон на те скалы и не наколупать ли побольше мидий на ужин? Орудие производства у меня есть.

Он вытащил из-за пазухи зазубренный австрийский штык.

Володя не захотел лезть в воду. Он был великолепным пловцом, но на пляже его всегда разбирала лень.

Мы с Ивановым разделись и пошли к соседним скалам.

— Мидии, — сказал Иванов, — мы будем складывать в мою фуражку.

Ловля мидий свелась к тому, что я, раздирая себе в кровь руки, отковыривал мидий от скал тупым штыком, а Иванов складывал их в свою мокрую фуражку.

Но ловля длилась недолго. Довольно грубый женский голос закричал с пляжа:

— Женька! Куда полез? Выходи сейчас же!

— Маринушка, — закричал в ответ Иванов льстивым голосом, — да я же только...

— Долго я буду тебя ждать, босяк?! — снова закричала женщина, и я наконец увидел ее. — Вылазь, говорю! Хочешь схватить воспаление легких? Себя не жалеешь, так хоть бы о детях подумал.

— Моя жена, — сказал мне доверительно Иванов. — Марина. Приперлась-таки, стерва. Необыкновенная стерва! Но чудная женщина. Придется идти.

Марина оказалась волоокой и смуглой, как цыганка, огромной женщиной с черными усиками. Она потрясла руку мне и Володе и сказала:

— Приходите сегодня до нас вечером. Я достала шматок свинины. Зажарим ее и слопаем с мамалыгой. А Женька у меня шкодливый, как кот. Его с глаз спускать нельзя. Даром что такой маленький и изящный, как балерина, а бабник первостатейный! Журналист он, правда, замечательный, у него к этому настоящий талант, но любит бросаться во всякие аферы и комбинации.

— Замолчи! — сказал Женька, прыгая на одной ноге и натягивая парусиновые штаны. — Лезешь не в свое дело, а хлястик на брюках оборван.

— Если он вас уже пригласил в «Моряк», — продолжала Марина, не обратив внимания на слова Женьки, — то вы вдвоем сделаете чудесную газету. Но только смотрите, чтобы он не зарапортовался. Характер у него кошмарный.

Так на Австрийском пляже я стал сотрудником газеты «Моряк» и до сих пор считаю, что мне повезло. Доказать это я смогу только дальнейшим

рассказом.

Глицериновое мыло

За две недели, что остались до начала моей работы в «Моряке», случилось несколько событий. Самое печальное из них — смерть сестры Торелли.

Ее звали Рахилью. Она заболела новой в то время болезнью «испанкой». Это был жесточайший грипп с осложнениями.

Торелли перестал ходить в Опродкомгуб. Он сам ухаживал за сестрой, как санитар. Мы с Володей часто заходили проведать Рахиль, хотя Торелли каждый раз пугался и пытался выгнать нас, боясь, что мы заразимся.

Володя Головчинер достал где-то кусок старого глицеринового мыла и подарил его Рахили. Несмотря на жар и слабость, Рахиль всплеснула руками от радости и так покраснела, что веснушки на ее лице превратились в бледные пятнышки.

Не только Рахиль, но и мы рассматривали на просвет кусок этого чудесного мыла. Оно поблескивало золотистыми слоями и издавало тончайший, хотя и несколько усохший, запах.

Однажды Торелли надо было пойти в город,

некого было оставить с Рахилью, и он попросил меня посидеть с ней, но только держаться подальше, у самой двери.

Я к тому времени уже ушел из Опродкомгуба и потому весь день был свободен.

Рахиль лежала с закрытыми глазами и улыбалась. Кусок глицеринового мыла она положила себе на грудь и сжимала его сильными пальцами скрипачки. Рахиль училась играть на скрипке у одесской музыкальной знаменитости — Наума Токаря.

«Знаменитость» прекрасно «ставила руку» своим ученикам и «делала им пальцы», но была человеком практическим и лишенным возвышенности.

«Как вы играете эту вещь! — кричал Токарь какому-нибудь ученику. — Где мягкость? Где файность? Где сладость? Представьте себе, что ваша мама Розалия Иосифовна сварила свое знаменитое варенье из черешен и вы ожидаете, что сейчас будете его кушать. У вас даже текут слюнки. Вот так надо играть эту вещь! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая! Предвкушая!»

При этом маэстро сердито отбивал такт ногой.

Рахиль редко упоминала о своей скрипичной игре. Сейчас она открыла воспаленные глаза и

сказала мне:

— Не говорите ничего Абраму, но я знаю, что скоро умру. И он похоронит меня на еврейском кладбище, где лежат отец, мама и брат Аркаша. Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделаются красными, как помидоры, и я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого молодого человека в рубашке «апаш» и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже сто раз слышала от Абрама. А вы лучше скажите мне, где остров Майорка.

— Зачем это вам?

— Нам читали лекцию про Шопена и сказали, что он там жил. Но потом я ни разу и не вспомнила про этот остров, а сегодня почему-то увидела его во сне. Там с холмов стекают мелкие-мелкие речки с очень чистой и теплой водой и такие широкие, как отсюда до Карантина. Они текут по зеленой траве, но над травой выше воды стоят всякие цветы и все время качаются от течения. Я шла через эти реки босиком, и мне было так приятно, что под ногами мягкая трава.

Рахиль открыла глаза, повернула голову и посмотрела за окно. Над акациями неслись по небу белые ядра маленьких облаков. Было похоже, что

невидимые корабли выбрасывали их из старинных бронзовых пушек.

— Здесь, в Одессе, — сказал я Рахили, — живет сейчас поэт Георгий Шенгели. Еще во время войны я слышал в Москве, как он читал свои стихи на одном вечере. Я запомнил из них всего три строчки: «Есть острова, далекие, как сон, и нежные, как тихий голос альта, — Майорка, Минорка, Родос и Мальта...» Дальше я не помню. А Шопен действительно жил на Майорке с Жорж Санд. В заброшенном монастыре. Шопен тогда уже был смертельно болен, и потому его раздражало слишком яркое солнце этого испанского острова.

Я замолчал.

— А дальше? — спросила Рахиль и, не дожидаясь моего ответа, жалобно сказала — Зачем я только родилась в этой семье, где рано или поздно у всех отнимаются ноги? Рыжая уродка! А разве такой я хотела быть? Мне бы качаться на палубе, чтобы ветер хватал меня за колени. Мне бы хохотать и петь. Вам не противно, что я так говорю? Я бы вам и сейчас спела, но грудь у меня стянута, как свивальником.

Она замолчала, перекатывая в руках кусок глицеринового мыла.

— Сделайте мне одолжение, — тихо попросила

она, — пока нет Абрама. Налейте вон в то блюдечко воды, взмыльте ее этим мылом, а на комоде стоит сухой букет. Достаньте из него пустую соломинку и дайте все это мне.

Я сделал, как просила Рахиль. Она расщепила кончик соломинки, окунула соломинку в мыльную воду и медленно выдула большой мыльный пузырь.

Он оторвался от соломинки, чуть взлетел к потолку и остановился в воздухе, в немного пыльном солнечном луче, переливаясь бледным радужным блеском.

Рахиль прикрыла рот рукой, чтобы не потревожить своим дыханием легкий шар. Я тоже старался почти не дышать.

— Сейчас он золоченый, — сказала Рахиль. — А только что он был красный, как пожар.

Она осторожно пустила второй пузырь, третий, четвертый… Я тоже взял соломинку, начал выдувать пузыри, и вскоре вся комната замерцала от их мимолетных красок и блеска.

Часть пузырей опускалась на пол и лопалась, но большинство их играло с солнцем, летая по комнате и соединяясь иногда в разноцветные созвездия.

Внизу громыхнула на пружине парадная дверь.

Дом слегка затрясся. Все пузыри сразу лопнули. На пол посыпалась мельчайшая водяная пыль.

— Спрячьте все! — быстро сказала Рахиль и закрыла глаза. — Я устала и хочу спать. Я ее никогда не увижу, никогда.

— Кого? — спросил я.

— Да эту Майорку. Идите. Спасибо вам. Мне что-то плохо.

В дверях я столкнулся с Торелли. Он узнал, что сестра засыпает, и на цыпочках вернулся в кухню, чтобы вскипятить воду.

А вечером он пришел к нам в дворницкую, сел на порог и неожиданно заплакал. И мы узнали, что Рахиль умерла внезапно, должно быть от разрыва сердца.

Торелли плакал, не вытирая слез, глядя на нас круглыми красными глазами, и сморкался в рваную наволочку.

Я нашел в книжном шкафу у Швиттау наполовину высохший пузырек с валерьянкой. Она почти не пахла. Я накапал ее в банку от консервов (она заменяла мне в то время стакан), сел на порог рядом с Торелли и дал ему выпить.

Он покорно выпил лекарство, потом упал головой на руки, и плечи его затряслись. Он со свистом втягивал воздух, прижимал к глазам

наволочку и прерывающимся шепотом извинялся за беспокойство и за то, что закапал своими слезами мои пыльные рваные брюки из коричневого вельвета.

Врач, установивший смерть, сказал, что если бы не «испанка», то Рахиль могла бы выжить. Торелли рассказал, что она только сильно вскрикнула и сразу же перестала дышать.

Мы все: Яша, Володя Головчинер и я — пошли на похороны. В углу комнаты, где лежала Рахиль, стоял Гаварсаки и мял в руках замасленную кепку. Глаза его не выражали ничего, кроме горестной попытки понять, что происходит.

К выносу пришел Просвирняк. Он зло посмотрел на Рахиль, на ее стройные ноги в деревяшках и вполголоса сделал какое-то замечание синагогальному служке — распорядителю похорон. Служка подобострастно закивал в ответ и крикнул что-то нескольким безобразным старухам, шмыгавшим вокруг черного облезлого гроба. Очевидно, этот гроб, взятый «напрокат», уже сотни раз перевозил на расшатанных дрогах покойников из города на еврейское кладбище.

Старухи принесли откуда-то рваную коричневую шаль и завернули в нее ноги Рахили. Тогда расстрига с видом человека, исполнившего свой

долг, торжественно вышел из комнаты.

— Наглец! — довольно явственно сказал ему вслед Яша. — Распоряжается, как у себя дома.

Но Просвирняк сделал вид, что не слышит Яшиных слов.

— Умоляю вас, — прошептал Торелли, — не трогайте его. Я опасаюсь скандалов.

Я впервые был на еврейских похоронах. Меня поразила их судорожная спешка. Приехали дроги, запряженные траурной пыльной клячей. Седой болтливый возница вошел в комнату, постучал кнутовищем по крышке гроба и сказал:

— А ну, герои, кто помоложе! Взяли! Подняли! Разом. Понесли! Осторожнее на поворотах. Того, кто строил эту лестницу, надо заколотить в гроб вместо этой девицы, чтобы ему икалось на том свете! Разве это лестница! Это головоломка, накажи меня Бог!

Потом мы долго шли по булыжным мостовым, и дроги перед нами подскакивали и неожиданно сильно дергались из стороны в сторону, будто хотели сбросить гроб на землю, как норовистая лошадь сбрасывает надоевшего седока.

Кладбище лежало в степи за городом. Степь уже выгорела, несмотря на раннее лето. Вдоль высокой кладбищенской ограды ветер нес теп-

лую пыль.

Дроги зацепились колесом за ворота кладбища. Их надо было немного осадить, но кляча не хотела переступить назад, и возница начал бить ее по морде кнутовищем.

Торелли закричал на него. Возница сплюнул и сказал:

— Если вы такие нежные, так плакали бы лучше по сестре, чем по худой скотине.

Глаза у Торелли налились слезами. Он затопал узконосыми туфлями цвета апельсиновой корки и начал кричать на одной ноте пронзительным, доходившим до визга голосом:

— Мерзавец! Живодер! Молдаванский гицель!

Торелли был жалок в своем горе и гневе.

Возница только презрительно пожал плечами, поднял задок у дрог, освободил колесо, сел на козлы и поехал крупной рысью, нахлестывая лошадь и не оглядываясь, по длинной аллее кладбища к могиле. Вокруг не было ни одного дерева. Должно быть, их все порубили на дрова. Только одинаковые могильные памятники желтели по сторонам на грязной, неподметенной земле.

Могила была далеко. Мы бежали за дрогами вместе с толпой спотыкающихся кладбищенских нищих.

Гроб опустили в могилу. В ней валялось почему-то много битого стекла.

Торелли роздал нищим подаяние — по тысяче рублей каждому (в то время деньги уже поднялись в цене). Нищие брали деньги неохотно и не скрывали своего недовольства. Старуха с гноящимися глазами швырнула деньги на могилу Рахили и закричала:

— Что мне купить на ваши деньги? Дырку от бублика? Так покупайте ее сами, богачи!

Мы ушли подавленные. Торелли не мог успокоиться и всю дорогу до дома время от времени плакал. А синагогальный служка ковылял рядом и говорил:

— Я уже не узнаю людей, мосье Блюмкис. Чем так хоронить, так лучше самому лечь в могилу, клянусь матерью.

Несколько дней после похорон Рахили я никуда не выходил, только по утрам вылезал через окно в сад. Просвирняк держал сад на запоре, и потому там никогда никого не было. Изредка появлялся только сам Просвирняк, но, увидев меня, тотчас поворачивал и уходил, причем даже спина его выражала негодование.

После похорон Рахили мы с Володей Головчинером перестали считаться с Просвирняком.

Да и никто с ним уже не считался, даже как с бывшим домовладельцем. Это для него казалось тягчайшим оскорблением. Примерно с тех пор он уже кипел жаждой мести, и его вначале скрытые мечты о перевороте и падении Советской власти приобрели характер мании, тяжелой душевной болезни. Чем меньше было надежд на перемену, тем расстрига все больше ссыхался, чернел, и в запавших его глазах появлялся диковатый блеск.

Встречаясь с нами, он не здоровался и что-то бормотал о «жидовствующих интеллигентах» и расплате за невинную кровь Христа.

Безумие его с каждым днем усиливалось. Даже его работница Неонила, безгласная женщина, боялась оставаться с ним одна в квартире и переселилась в маленький чулан при дворницкой. Каждый день она плакала и рассказывала нам, что Просвирняк грозится убить ее за то, что она «перекинулась к евреям и еретикам».

Она же рассказала нам, что вдовец Просвирняк расстригся после Февральской революции, чтобы второй раз жениться (это священникам было запрещено) на богатой греческой негоциантке. Но гречанка перед самой свадьбой испугалась расстриги, раздумала и уехала со своими капиталами в Грецию.

Однажды ночью я проснулся от звука, будто рядом со мной кто-то тихо скребет железом о железо. Звук шел из кухни. Дверь из чулана, где спала работница, выходила в кухню.

Я неслышно встал и подошел к стеклянной двери в кухню. В саду перед низким окном сидел на корточках Просвирняк и пытался открыть стамеской оконную задвижку.

Он был так поглощен этим занятием, что не заметил меня. Он хитро ухмылялся и что-то бормотал.

Мне стало страшно, и я неожиданно и громко вскрикнул. Просвирняк вскочил и, не оглядываясь, в несколько прыжков выскочил из сада во двор, а оттуда бросился в свою квартиру. Старый подрясник развевался за его спиной, как черные крылья.

Я разбудил Володю. Мы вышли в сад к окну, которое хотел открыть расстрига. На земле около окна лежала ржавая пятифунтовая гиря и немецкая бритва с костяной ручкой.

Володя пошел в милицию. Через два часа за Просвирняком приехала санитарная карета из психиатрической больницы. Два здоровых санитара связали Просвирняку руки и увезли его. Просвирняк только тихо стонал.

Испуганная работница уехала к родственникам в Тирасполь. Она боялась, что расстрига убежит из сумасшедшего дома и тогда непременно ее убьет.

Вскоре от нас съехал Торелли. Ему неприятно было оставаться в комнате, где умерла Рахиль. Потом по неизвестной причине, должно быть из-за истории с эфиром, арестовали Гаварсаки. А как-то ночью бежал из Одессы вместе со своей семьей некий профессор церковного права, приятель Просвирняка, занимавший две квартиры. К лету дом совсем опустел. В нем поселился сотрудник «Моряка» боцман Миронов, рыжий молчаливый человек родом из Херсона. Миронов ломал на пари одной рукой железные прутья из садовых решеток. Он завел в доме, во дворе и в саду корабельный порядок.

До начала работы в «Моряке» оставалось всего несколько дней. Я прожил их беззаботно.

Я прочел в энциклопедическом словаре все, что было там напечатано об острове Майорка, Шопене и Жорж Санд, попытался вспомнить все, что я читал об этом раньше, и решил, что если что-либо и украшает наше прошлое, то это отдаленность во времени.

Жизнь Шопена и Жорж Санд на Майорке была

неустроенной, трудной, недоброй. Жорж Санд в то время уже теряла любовь к смертельно больному музыканту. Он был одинок. Его мучили ветреные ночи и дожди, боли в груди и кашель. Он понимал, что жизнь его сочтена по неделям и он уже не успеет написать ту поразительную музыку, какую он считал единственно достойной своего таланта.

Он думал, что жизнь его насильственно оборвана болезнью. Этого могло бы и не быть. Он тщательно искал в своем прошлом тот день, когда произошла роковая ошибка. О, если бы человеку дано было понимать эти ошибки не задним числом, когда ничто уже не поможет!

Но это не дано никому. Почти каждый уходит из жизни, не свершив и десятой доли того, что он мог бы свершить.

В позеленевших от сырости стенах старого монастыря, где в каждой комнате-келье висело чугунное распятие, Шопен роптал на Бога. Он боялся высказать свои мысли вслух, но его приводили в смятение рабьи человеческие молитвы, взывавшие к Богу о прощении грехов. Что значили эти ничтожные и жалкие человеческие грехи перед великим грехом кровопролития, обмана и ненависти, выпавшим на долю людей по мило-

сти Божьей!

И его, этого Бога, он воспевал в величественных звуках, в раскатах органа, в пряном дыхании роз, в нежных, как небесные струны, голосах причастниц.

Из монастырских коридоров тянуло плесенью, тленом. Черный лес шумел за решетчатыми окнами. И внезапно вся эта нарочно отысканная им и Жорж Санд романтика вдруг оборачивалась тоской по самой простой, даже бедной, но теплой — обязательно теплой — литовской комнате с невзрачным на вид роялем. Оборачивалась тоской по простой, деревянной, но удобной постели и жаждой покоя.

Он устал быть гением. Ему это было совсем ни к чему. Он носил это звание, или эту кличку, как обузу, приятную только для его близких и окружающих.

Но вот прошло какое-то время, и из его жизни с Жорж Санд на острове Майорка оно тщательно отобрало и выбросило все горькое и превратило эту жизнь в восхитительную поэму о самоотверженности любящих.

Поэма эта коснулась многих сердец, в том числе сердца рыжей еврейской девушки из Одессы, не видевшей в жизни ничего лучшего, чем воздуш-

ные пузыри из глицеринового мыла.

Я всюду возил с собой начатую еще в Таганроге повесть «Романтики». Писал я ее с большими перерывами и вообще считал чудом, что до сих пор не потерял рукопись.

Сейчас, в Одессе, я начал писать последнюю часть этой повести. Обычно, когда я втягивался в работу, я дичал: избегал людей, бродил сам по себе, вставал в два часа ночи и писал при коптилке, боясь, что Володя Головчинер проснется, и тогда мне не избежать ненужных расспросов.

И еще я заметил за собой одну странность, появившуюся во время работы: когда я писал о печальном, я искал горьких и резких впечатлений и таких же обстоятельств, как будто они могли помочь мне писать.

Поэтому однажды с раннего утра я ушел на еврейское кладбище, но вскоре сбежал оттуда, оглохнув от женских воплей, истерик и причитаний, испуганный видом желтых старушечьих пальцев, цеплявшихся за края гробов с такой силой, что их не могли оторвать даже несколько человек, потрясенный беззвучно кричащими и рвущими на себе волосы женами, пытавшимися броситься в открытые могилы мужей. Я вернулся в смятении от зрелища ничем не украшенного

человеческого горя.

Я дописывал «Романтиков», когда однажды вечером ко мне вошел худой и несколько вертлявый юноша и назвался выпускающим будущей газеты «Моряк» Исааком Лившицем.

— Только не «ф», а «в», — сказал он. — Не Лифшиц, а Лившиц. Просят не смешивать с Яковом Лифшицем.

— Вы его не любите? — спросил я.

— Нет, почему же, — ответил Лившиц. (С первого же дня знакомства я начал звать его, как и все, Изей.) — Но он недолго проживет в наше время.

— Почему?

— В нем мало юмора.

Изя принес мне записку от Иванова с просьбой прийти завтра в редакцию «Моряка» — пора было готовиться к работе.

С Изей пришел высокий и неправдоподобно худой человек в обмотках, с профилем менестреля и прядью красивых каштановых волос, свисавшей на лоб. Он подал мне широкую дружелюбную руку и щелкнул по-военному каблуками. Потом он подошел к шкафу с профессорской энциклопедией, вынул первый том, перелистал его и выбрал все листки папиросной бумаги, которыми в книге были переложены цветные рисунки и карты.

— Эдя! — предостерегающе сказал Изя, но человек с профилем менестреля даже не взглянул на него. Он вынул второй том энциклопедии и тоже вытащил из него всю папиросную бумагу.

— Вот теперь покурим! — сказал он с удовольствием.

— Эдя, это некрасиво, — заметил Изя.

Высокий человек молча оторвал от папиросной бумаги короткую полоску, как-то особенно ловко зажал ее между пальцами, поднес ко рту, и вдруг в дворницкой раздалась тоненькая, как колокольчик, но вместе с тем громоносно-звонкая трель какой-то безусловно трогательной птахи.

— А это, по-вашему, красиво или некрасиво? — спросил высокий человек.

Это было необыкновенно. Я слышал, как в крошечном и горячем горле этой птахи пересыпался поющий бисер.

— Простите, — вдруг спохватился Изя, — я забыл познакомить вас. Это наш одесский поэт и птицелов Эдуард Багрицкий.

— Вы, как всегда, напутали, Изя, — сказал нарочито хриплым басом Багрицкий. — Следует произносить: «Багратион-Багрицкий, последний потомок княжеского кавказско-польского рода из иудейского колена Дзюба». Пошли купаться

на Ланжерон!

Рубка мебели

В этой главе придется немного отступить от последовательного описания событий, чтобы дать некоторое представление об удивительном редакторе газеты «Моряк» Евгении Иванове и той обстановке, какая сложилась в редакции.

Должен оговориться, что Союз моряков назначил ответственным редактором газеты капитана дальнего плавания партийца Походкина. Иванов был только техническим редактором, но своим напором, изобретательностью и размахом он так сокрушительно действовал на уже одряхлевшего капитана, что тот почти отстранился от редактуры и предпочел сидеть у себя на даче в Аркадии.

У Иванова, ходившего, как я уже упоминал, в мятой морской фуражке, заштопанной кавалерийской шинели и в деревяшках на босу ногу, был вид прожженного портового жлоба. Но вместе с тем никто так не очаровывал людей, как этот картавый мальчик с невинными глазами. На вид Иванову было лет двадцать, тогда как на самом деле ему было уже под сорок.

Он был превосходным рассказчиком. Юмор не покидал его во всех, даже отчаянных, случаях

жизни. Кроме того, Иванов был очень учтив.

Он не боялся в те годы целовать женщинам руку. Говорили, что однажды его чуть не расстреляли за это в городе Рыбнице на Днестре. Город этот славился красавицами молдаванками.

Иванов действительно работал репортером в «Русском слове» у Сытина. Бывший директор этой газеты Благов, богобоязненный и прижимистый старик, бежавший из Москвы в Одессу, подтверждал это обстоятельство из бурной жизни Иванова. При этом он добавлял, что Иванов обслуживал для «Русского слова» московские бега и крупно играл в тотализатор.

Иванов взял Благова к себе в «Моряк» старшим корректором. Благов оказался возмутительно придирчивым к орфографии. Достаточно было кому-нибудь из сотрудников сделать пустяковую ошибку, чтобы заслужить его вечное презрение. Его боялся сам Иванов, не говоря о наборщиках. Когда в типографию входил Благов, на них жалко было смотреть. Они теряли самообладание, как гимназисты на выпускном экзамене.

Иванов принадлежал к тому типу журналистов, которые разыщут интересный материал даже в сточной канаве или на заседании общества по страхованию мелкого рогатого скота.

Он не только умел найти и украсить материал (в то время «материалом» называли в газетах всякую интересную новость), но даже предвидел его. Он знал, где его искать, и часто догадывался по известным только ему приметам о том, что может вскоре произойти.

Точно так же он судил о возможных поступках людей по таким ничтожным признакам, что на них никто, кроме Иванова, не обращал внимания. Он знал, от каких мелочей зависят подчас людские побуждения и поступки. Он не боялся настойчиво рыться в этих мелочах, как в корзинке с мусором. И часто находил на дне этой корзины «алмаз или кинжал, заржавевший от крови», или, наконец, «бесстрашное человеческое сердце». Так любил выражаться наш метранпаж, старик Суходольский.

Экспансивный Суходольский кричал во весь голос Изе Лившицу и мне, секретарю редакции, верстая в типографии газету:

— Что могло бы получиться из нашего Женьки Иванова? Не знаете? Бальзак, чтоб вы так жили! Бальзак! Или Ломброзо!

Иванов подбирал для газеты сотрудников по своей системе. Их он оценивал по трем качествам. Прежде всего он брал молодых и при этом

талантливых, потом опытных, так называемых «тертых», и, наконец, явных авантюристов и врале́й.

Последняя категория людей привлекала Иванова, быть может, потому, что он сам являл хрестоматийный, но мирный тип прожектера, того самого, что хотел разбогатеть от одной курицы с яйцом.

Иванов всегда был в дыму проектов. Некоторые из них он осуществил у нас в «Моряке». Это сопровождалось то удачей, то более или менее крупным скандалом. Но большая часть проектов жила всегда несколько часов. Иванов с удивительной легкостью от них отрекался.

Первый осуществленный проект сгоряча показался нам интересным. Во всяком случае, он поражал новизной.

Иванов предложил перед заголовком, где у всех газет стояли слова: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», печатать другой лозунг, совершенно морской: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

На заголовке газеты был изображен Воронцовский маяк, бросавший четыре луча света. Слова о «пролетариях всех морей» были напечатаны на этих маячных лучах на четырех языках: англий-

ском, русском, французском и немецком.

Но этот номер «Моряка» с таким удивительным лозунгом был первым и последним. Иванова вызвали в губком. Он вернулся неестественно бледный и потому красивый и приказал, заикаясь, тотчас же разбить пышное клише с морским лозунгом и заказать новое, с тем же Воронцовским маяком, лучами света, но с правильным лозунгом.

Когда была снята блокада и в Одессу стали приходить иностранные пароходы, то на время их стоянки в порту «Моряк» печатал часть тиража для иностранных моряков на их родных языках.

Честь этого новшества, сделавшего «Моряка» популярным среди иностранных матросов, принадлежала Иванову.

После этого от переводчиков не было отбоя. Однажды в редакцию пришел даже переводчик с абиссинского языка — коричневый, приветливый и очень голодный человек. Но так как у Абиссинии не было своего флота и никак нельзя было ждать появления в Одесском порту пароходов под абиссинским флагом, то от услуг этого человека пришлось отказаться.

Абиссинец вышел из редакции со слезами на глазах. Но у Иванова было доброе и широкое

сердце. Он вернул этого человека, расспросил его и узнал, что абиссинец — звали его Варфоломеем, — еще до революции присланный в Россию обучаться в Казанском университете, вынужден был потом работать парикмахером. Тогда Иванова осенила удачная мысль — назначить абиссинца штатным парикмахером при «Моряке», благо редакция буквально через неделю после выхода первого номера превратилась в шумный литературно-морской клуб. Через нее за день проходило множество народа, и потому у кроткого абиссинца быстро создалась обширная клиентура.

Старшиной всех переводчиков в «Моряке» был знаток английского языка, бывший фрахтовщик[27] и стивидор[28] Одесского порта, изысканно вежливый, сияющий от благодушия круглый человек по фамилии Мозер. То был великий знаток хитроумного фрахтового дела, всяческих крючковатых морских договоров и законов, знаток торговых флотов всего мира и морских традиций.

---

[27] Комментарии: 27

Фрахтовщик— лицо, предоставляющее судно для перевозки грузов.

[28] Комментарии: 28

Стивидор— лицо, заведующее погрузкой и выгрузкой грузов на суда в заграничных портах.

Он донашивал свои элегантные английские костюмы и среди нас, оборванных и отощавших, выглядел как настоящий лорд адмиралтейства.

Переводчицей на французский язык была жена Мозера — высокая и сухая, как англичанка, несколько чопорная и вполне светская дама, что в те годы производило на нас музейное впечатление.

Переводила она необыкновенно добросовестно. От каждой опечатки она заболевала, но тоже по всем правилам хорошего тона. Она лежала, стеная, весь день в своей комнате на старой софе, нюхала последние остатки выдохшейся ароматической соли и прижимала к виску кружевной платочек, смоченный под краном в коммунальной кухне. Там с утра до ночи властвовала некая тучная соседка «мадам» Зофер.

Эта почтенная матрона по нескольку часов подряд оглушительно развивала свои взгляды. Каждую фразу «мадам» Зофер начинала одними и теми же любимыми словами: «Во время оно…»

— Во время оно, — говорила она, — я в рот бы не взяла эту мамалыгу, когда я имела каждый день пшеничный арнаутский хлеб.

Через минуту ее голос гремел снова, но тема речи отличалась от только что высказанной

сентенции на «сто восемьдесят градусов».

— Во время оно, — говорила она, — мы таки рожали нормальных детей, а вы, моя дорогая, рожаете бог знает кого — просто котят.

Мозер в первое время нашего знакомства стеснялась этих громовых и грубых речей «мадам» Зофер. Но освобождение от условностей происходит быстро, и вскоре Мозер совершенно спокойно говорила, нюхая соль:

— Опять она завела свою шарманку, эта хипесница!

А через месяц после работы в «Маяке» «мадам» Мозер уже свободно изъяснялась на одесско-морском жаргоне.

В «Моряке» мы печатали всё, что имело отношение к морю и морской профессии. Погоня за морским материалом всех времен и народов приобрела среди сотрудников характер бешеного соревнования.

Одно время чемпионкой оказалась Мозер. Она перевела прекрасные стихи полузабытого французского поэта-матроса Тристана Корбьера[29]. Мы напечатали их целым циклом, предварив

---

[29] Комментарии: 29

Корбьер Тристан (Эдуар Жоакен Корбьер; 1845–1875) — французский поэт.

статьей Жюля Лафарга[30] и биографической справкой. В ней было указано, что Тристан Корбьер с юных лет работал матросом, всегда ходил в клетчатом плаще и сабо, успел напечатать в 1873 году в Париже единственную книгу своих стихов и вскоре умер совсем молодым.

В своей статье Лафарг писал с французским изяществом, что стихи Корбьера «полны дерзости, сухой крепости, каламбуров, живости, нервной отрывистости слога и глубоко жалящей и иронической тоски».

Но вскоре боцман Миронов, наш сосед по Черноморской улице, вырвал пальму первенства из слабых рук Мозер. Он достал на старом грузовом английском пароходе, носившем необъяснимо нежное имя — «Сердце Елены» (пароход был обшарпанный, с пятнами сурика на бортах и с неистребимым запахом птичьего помета — гуано), рукописную книгу, которая называлась «Библия моряка».

Она была написана на австралийско-английском морском жаргоне и являлась, по нашему общему мнению, фольклором, не имеющим равного в мире.

---

[30] Комментарии: 30

Лафарг Жюль (Лафорг Жюль; 1860–1887) — французский поэт-символист.

В руки к Миронову попало несколько глав этой книги. Их надо было быстро переписать, так как пароход «Сердце Елены» через два дня уходил в Эдинбург. Это случилось, конечно, уже после снятия блокады. Перепиской книги под руководством супругов Мозер и Миронова занималась вся редакция.

Начиналась «Библия моряка» главой «Большая молитва». Так звали на парусных кораблях плиту песчаника, которой скоблили палубу. Кроме того, были еще камни поменьше. Они назывались по молитвам: «Патер ностер» («Отче наш»), «Аве Мария» («Здравствуй, Мария»), «Матер долороза» («Скорбящая Богоматерь») и «Мизерере» («Помилуй нас, Господи!»).

Чистить палубу «Большой молитвой» матросов заставляли в виде наказания.

В «Библии моряка» была изображена тяжелая доля матросов на старых парусных кораблях, плававших главным образом между портами Европы и Австралии вокруг мыса Горн.

Отдельные разделы были посвящены несвежей пище, «собачьим вахтам», болезням, гнилому воздуху трюмов и способам борьбы с этим бедствием в тропических водах.

Была глава «О хитростях океана» — обо всем

неприятном, что могло ждать моряка в Атлантике и Тихом океане, главным образом в проклятых грохочущих сороковых широтах. То были не общие, расплывчатые описания, а рассказы об отдельных случаях, памятных для целых поколений моряков: об ураганах, смерчах, «цунами» — исполинских волнах во время подводных землетрясений, грозах, кораблекрушениях. И, конечно, о зловещих предвестниках опасности, в которых верили парусные (да и не одни парусные) моряки: огнях святого Эльма на верхушках мачт, кровавых радугах и «Летучем голландце». Говорили, что его снасти, несмотря на штормовые ветры, всегда были затянуты паутиной.

Рядом с этим были напечатаны «Предупреждения матросам» — имена капитанов, к которым нельзя было поступать на корабли из-за зверского их нрава (при этом точно перечислялись все преступления этих капитанов против матросов), списки «грязных собак», так называемых «шанхайеров» — вербовщиков (они работали главным образом в портах Латинской Америки и Китая). Они спаивали матросов и заставляли их в пьяном виде подписывать кабальные контракты с капитанами; список недобросовестных татуировщиков, адреса пивных в главных портах

земного шара, где принимали в залог матросские вещи, адреса «бордингаузов» (дешевых гостиниц для моряков), где постояльцам не давали покоя «братья» и «сестры» из Армии спасения.

Знакомство с этой «Библией» несколько разрушало наивные и романтические представления о морском труде.

В самой жестокости этого материала чувствовался накопленный десятилетиями матросский гнев. «Библия моряка» принадлежала к так называемым взрывчатым книгам, хотя и не содержала в себе никаких лозунгов и призывов.

Боцман Миронов несколько затрудняет меня. Я хотел бы сейчас рассказать о нем — здесь это было бы кстати. Но, к сожалению, я уже напечатал рассказ об этом боцмане, а повторять себя по литературным законам нельзя.

Я попытаюсь написать о Миронове с такой же точностью, как и в рассказе, но несколько по-иному.

Самыми резкими отличительными чертами Миронова были глубокая молчаливость и дружелюбно-насмешливый взгляд. Взгляд этот он применял только к тем людям, кого считал «стоящими чудаками».

Миронов много плавал на Тихом океане. С

биографией его вряд ли справился бы даже такой писатель, как Стивенсон. Да, пожалуй, никто даже из самых настойчивых писателей ее бы не осилил потому, что выпытать у Миронова что-либо о нем самом было невозможно.

Я все же выудил у Миронова некоторые черты его биографии. Она была революционной в самом ясном значении этого слова. Прежде всего, Миронов никогда не давал спуску собакам-капитанам и их прислужникам — боцманам. Он верил во всемогущее братство трудящихся и считал, что для революционной работы морская профессия самая подходящая.

— Возможности большие! — говорил он. — Как пароходный дым швыряет по ветру, так и мы разносим по всему миру слово «интернационал». Это понимать надо.

Потом я бился два месяца, пока установил, что, во-первых, Миронов видел первый пароход, сделанный из стекла, что, во-вторых, он два месяца просидел в тюрьме в Нью-Орлеане за то, что вступился за негров и устроил драку с полицией («Полисменов мы выворотили наизнанку», — скромно говорил он по поводу этой драки), и что, в-третьих, он был на архипелаге Кергуелен, носившем у моряков название «Островов Отча-

яния».

Больше высосать из Миронова ничего не удалось. Я махнул на него рукой.

Его воспоминания, если можно так выразиться, носили преимущественно климатический характер.

— Вы были на Новой Гвинее? — спрашивал я Миронова.

— А как же! — меланхолически отвечал Миронов. — Конечно, был. Когда там плаваешь («там» — это значило в Меланезии), так эту Гвинею никак не обойдешь. Она всюду торчит поперек дороги.

— Ну и как?

— Что — как?

— Какие там места?

— Места вроде подходящие, — сообщал Миронов с некоторым сомнением. — Только там до того жарко — чистая парильня! Вам бы определенно не понравилось.

— А в республике Перу вы были? — спрашивал я его в другой раз.

— Бывал, понятно.

— Ну и как?

— Что — как?

— Какие там места?

— Гроб! — отвечал Миронов. — Солнце шпарит, как в топке. Дыхать абсолютно нечем. А вода в океане, между прочим, холоднющая, как лед. Хрен искупаешься!

Миронов долго ждал назначения на пароход и потому прижился в редакции «Моряка». Там он был своего рода справочным бюро по части знания множества пароходов и парусников.

В этом деле никто не мог соперничать с ним, даже сам Мозер. Поэтому Иванов взял Миронова в штатные сотрудники, но долго ломал голову над тем, как его наименовать, пока наконец Изя Лившиц не посоветовал наделить Миронова пышным званием «консультанта по мировому тоннажу».

По вечерам на Черноморской улице «консультант по мировому тоннажу» любил сидеть на скамейке во дворе, курить и, поглядывая на звезды, петь вполголоса совершенно сухопутную украинскую песню:

Распрягайте, хлопцы, кони
Та лягайте спочивать!

Он пел, покуривал, благодушествовал, ничего не подозревая и не догадываясь, что уже близок день его славы.

Редакция «Моряка» получила из Москвы, кажется от народного комиссара по иностранным делам, запрос по поводу уведенного белыми торгового флота. Списки уведенных судов составить было легко, но комиссариат просил сообщить ему все сведения о дальнейшей судьбе этих судов: где они сейчас и под каким флагом плавают.

Вызвали Мозера. Он развел руками. Кто мог знать, что сейчас происходит с этими пароходами? Пожалуй, из случайно попадавших в Одессу иностранных газет можно было выяснить судьбу двух-трех пароходов, не больше. Да и то вряд ли.

Мозер предложил созвать в редакции бывших пароходных агентов, капитанов и вообще многоопытных морских людей и выяснить, что удастся, путем перекрестных расспросов.

Так и сделали. Табачный дым из комнаты, где шло это «заседание», вытягивался через окно на бульвар, как из трубы парохода. Многоопытные морские люди сидели в расстегнутых кителях и мокрых тельняшках, вытирали пот, лысины их сверкали, как надраенная медь, голоса охрипли, но пока что была выяснена, и то лишь приблизительно, судьба только одного парохода.

В это время в редакции появился Миронов. Цепляясь за стулья и густо краснея, он подошел к

Иванову и сказал ему таким шепотом, что было слышно в соседних комнатах:

— Вы это бросьте, Евгений Николаевич! Так у вас ни фига не получится. Пусть кто-нибудь записывает, а я буду рассказывать. При первой возможности можете проверить. Жизнью своей отвечу за каждую ошибку.

Морские люди переглянулись, усмехнулись и пододвинулись ближе к столу. Выжидательная тишина повисла в прокуренной комнате.

Миронов взял стул, сел немного поодаль от стола, крепко смял в кулаке свою потрепанную кепку и, глядя в угол комнаты, где дрожала на стене в свете заката нежная тень акации, сказал:

— Пишите! Пароход «Великий князь Алексей Николаевич». Принадлежал РОПИТу. Продан фирме «Мессажери Маритим» во Францию. Переименован в «Тулузу». Приписан к порту Марсель. Регулярно ходит под французским флагом из Марселя в Геную и на Корсику. Котлы почищены. Ремонт французы сделали, конечно, слабый. Команда французская, хлипкая, но старший помощник прежний, Григорий Павлович Мостовенко.

Среди морских людей возникло движение. Потом пронесся глубокий вздох.

— Пишите дальше, — невозмутимо сказал Миронов. — Пароход «Кострома». Океанский. Добровольного флота. Плавает под итальянским флагом из Бриндизи в Массову и Сомали с заходом до Александрии. Перекрашен в белый цвет и называется сейчас «Базиликата». Котлы никак не чищены. Поэтому полный тихоход. Держат его на несрочных рейсах, можно сказать, на задворках. Команда — все до одного негры.

Когда Миронов кончил перечисление пароходов, перламутровый рассвет уже просыпался над морем, осторожно запевали в платанах на бульваре птицы и сильно пахло из окна маттиолой.

Почти никто из морских людей не ушел. Все сидели бледные от усталости и рассвета. Он лился в окна холодноватой волной.

Это было поразительно и непонятно. Память у Миронова, очевидно, работала с феноменальной точностью.

Морские люди только качали головами, подходили к нему, крепко трясли ему руку и неохотно расходились по домам: хотелось еще поговорить «за родное море и за наши пароходы», знакомые до последней нагретой солнцем заклепки и цара-

пины на дубовом планшире[31].

Слух о Миронове прокатился по Черноморью. Возможно, что он дошел до Турции, а может быть, даже и до Греции. Есть у моряков своя загадочная и быстрая почта.

Комиссариат по иностранным делам прислал Миронову благодарность.

Смущенный своим триумфом, Миронов сбежал в родной Херсон, чтобы, как он выразился, прощаясь со мной и Володей Головчинером, «не дурить самому себе голову».

Чтобы закончить разговор об Иванове, необходимо было бы рассказать много всяких историй, связанных со строптивым нравом этого человека. Но пока я расскажу только одну такую историю.

Большая часть поступков Иванова, считавшихся дерзкими и своевольными, объяснялась его фанатической любовью к газете. Для него выше «Моряка» не было ничего на свете.

Он заразил этой любовью не только нас, сотрудников, но и свою жену Марину (она только по привычке сильно кричала и ругала мужа, но никто не обращал на это внимания) и двух своих

---

[31] Комментарии: 31

Планшир (планширь) — деревянные или металлические перила поверх судового леерного ограждения или фальшборта.

девочек. Не было таких лишений, на какие он сам не пошел бы ради любимой газеты и какие не перенесла бы безропотно его семья.

Зима 1921 года выдалась в Одессе нордовая, штормовая. Холод ощущался тяжелее, чем, скажем, в Москве, потому что ноздреватый камень «дикарь», из которого был построен почти весь город, легко пропускал пронзительную сырость морской зимы. Дома и мостовые покрылись пленкой льда и блестели, как эмалированные. Ветер гудел в улицах, обращенных к северу, и нагонял тоску. Только в поперечных переулках он сбавлял свой напор, и там можно было еще отдышаться.

Снова у всех начали опухать и кровоточить суставы на пальцах. Море замерзло до Большефонтанского маяка. Льды затерли у входа в порт болгарский пароход «Варна».

Среди книг профессора Швиттау я нашел нетронутый отрывной календарь на 1916 год и повесил его на стенке: все-таки он давал представление о движении времени.

А движение это казалось все более медленным. Время как бы оцепенело от стужи. Между этой стужей и первыми теплыми днями лежал толстый слой пожелтевших и пыльных листков календаря.

В «Моряке» было холоднее, чем дома. Редакция помещалась в большом особняке рядом с Воронцовским дворцом. Стены особняка, расписанные бледными фресками, и разноцветные стекла в окнах, особенно синие, усиливали нашу морозную дрожь.

Все сбились в одну комнату, где стояла железная «буржуйка» с выведенной за окно закоптелой трубой. Из трубы изредка капал на головы и рукописи жидкий зловонный деготь.

Около «буржуйки» сидела неунывающая и шумная машинистка Люсьена Хинсон. О ней все говорили, что она «красивая, как итальянка», и все завидовали ей из-за лучшего места в комнате. Но вскоре и Люсьена тоже нахохлилась и скисла.

Заведующий хозяйством, крикливый румын Кынти, ходивший в толстой черной шинели, как в чугунной броне, не достал ни охапки дров. В свое оправдание он распахивал шинель, бил себя по карманам старого френча и кричал, что от Одессы до самой Винницы нет ни одного полена дров, — пусть его повесят рядом с памятником Дюку, если это не так.

— Перестаньте пылить своим френчем! — небрежно сказала ему Люсьена. — И вообще прекратите вашу шмекерию!

Никто из нас, даже сама Люсьена, не знал значения румынского слова «шмекерия». Кынти пришел от этого слова в исступление. Даже стоять около него представлялось опасным: он весь трещал, хрипел, вертелся, плевался, грозился и каждую минуту, казалось, мог взорваться с оглушительным громом и свистом.

Только через несколько дней мы узнали значение слова «шмекерия». Оно было совершенно невинным. В переводе на русский язык оно означало «жульничество».

Наконец пришел день, когда жизнь редакции вот-вот должна была оборваться и умереть: нельзя уже было держать в пальцах ручку.

Тогда Иванов приказал притащить из подвала особняка огромный, как готический собор, буфет из черного дуба и разрубить его на дрова.

Когда я вошел в редакцию, то услышал еще из обледенелого вестибюля веселый стук топоров, треск дерева, крики, смех и гудение огня в раскаленной «буржуйке».

Вдохновенный, бледный от гнева, Иванов командовал стремительной рубкой мебели. Он был разъярен тем, что непосредственный хозяин газеты — Одесский районный комитет водников — не позаботился о топливе для редакции. Ива-

нов шел напропалую и играл ва-банк.

В самый разгар рубки в редакцию вбежал взъерошенный Кынти, воздел руки к небу и закричал, что сейчас созвано внеочередное, чрезвычайное, экстренное, срочное и пленарное заседание райкомвода, которое обсуждает вопрос о рубке мебели на топливо в редакции «Моряка».

Рубка пошла быстрее. Заседание продолжалось два часа и окончилось, когда весь буфет и вдобавок рассохшийся посудный шкаф были порублены на мелкие дрова. Они лежали у стены в кабинете редактора, а «буржуйка» исступленно гудела, как эскадрилья самолетов.

Райкомвод вынес Иванову строгий выговор с требованием, чтобы этот выговор был обязательно опубликован в очередном номере «Моряка».

У нас в «Моряке» работал под псевдонимом «Боцман Яков» одесский сатирический поэт-фельетонист Ядов.

Иванов заказал Ядову фельетон о рубке мебели, поместил его в очередном номере, а постановление райкомвода напечатал петитом в виде эпиграфа к этому фельетону.

Я запомнил только один куплет из этого фельетона:

Печать в стране — могучий фактор,

Блюсти ее — мой долг прямой.
Не допущу я, как редактор,
Чтоб замерзал сотрудник мой.

После рубки мебели, или, как говорили по Одессе, «лихой рубки лозы в редакции «Моряка», одесские морские власти начали относиться к Иванову с опаской и почти не вмешивались в дела газеты.

Полотняные удостоверения

До революции «Моряк» был маленькой нелегальной газетой. Печаталась она в Александрии, в Египте. Оттуда ее рассылали с верными людьми, главным образом с пароходными кочегарами, по разным русским портам.

Выходил «Моряк» редко и больше напоминал листовку, чем газету. Один из работников «Моряка» еще старого, александрийского периода, седоусый старец, слегка повредившийся на конспирации, уговорил Иванова выдать постоянным сотрудникам «Моряка» удостоверения, напечатанные на тонком полотне. Их можно было в случае надобности зашить под подкладку пиджака или пальто.

Мы, сотрудники «Моряка», не видели в этом смысла. Мы знали, что никто из нас не будет послан за границу ни с какими заданиями. Кроме того, мы не допускали мысли, что нам когда-нибудь придется уходить с этими полотняными удостоверениями в подполье.

Посмеиваясь, мы получили эти необыкновенные удостоверения, длинные, как детская игрушка «тещин язык», с печатью. На ней пере-

крещивались большие адмиралтейские якоря.

Пользоваться этими удостоверениями в обычных условиях было нельзя. Во-первых, нелегко было развернуть и прочесть мягкие тряпочки, а во-вторых, они вызывали полное недоверие у всех, кому бы мы их ни показывали.

В конце концов мы спрятали их на память, а для работы нам выдали обыкновенные удостоверения, отстуканные на машинке Люсьеной.

Вообще, с «Моряком» были связаны и некоторые другие странности. Начать хотя бы с того, что газета печаталась не на обыкновенной бумаге, а на обороте разноцветных чайных бандеролей. Бумаги в Одессе не было. Во всяком случае, скудных ее запасов хватало только на главную газету — «Одесские известия». Выход «Моряка» был разрешен, но печатать газету оказалось не на чем. К счастью, Иванов узнал, что на одесской таможне лежат большие запасы никому сейчас не нужных чайных бандеролей.

Эти бандероли были отпечатаны на листах тонкой, просвечивающей бумаги размером в развернутую газету.

Одна сторона этих глянцевитых листов была совершенно чистая. От краски бандерольная бумага не промокала.

Бандероли были разных цветов, в зависимости от сорта чая. Цвета почему-то выбирались бледные: сиреневые, желтоватые, серые и розовые.

В дореволюционное время бандерольные листы разрезались на узкие полоски. Их и наклеивали на пачки с чаем. На каждой такой полоске был обозначен сорт чая, его вес и отпечатан русский государственный герб — маленький двуглавый орел.

Вот из-за этих-то орлов нам долго не соглашались выдать бандероли. Иванов терял голос, доказывая, что печатание газеты на бандеролях ни в какой мере не является монархической пропагандой.

Мы старались выпускать газету разного цвета, в соответствии с разными днями недели. Например, по вторникам всегда сиреневую, а по средам — всегда розовую и так далее. Это довольно хорошо нам удавалось.

В исключительных случаях, для так называемых праздничных номеров, нам выдавали белую бумагу. Белой ее можно было назвать только в полном мраке. То была серая, рыхлая, очень толстая бумага, похожая на оберточную, прослоенная широкими и тонкими древесными стружками (даже со следами годичных слоев).

Краска на такую стружку почти не ложилась, и потому праздничные номера выглядели рябыми. Буквы на этой бумаге не отпечатывались, а выдавливались, как в книгах для слепых.

Но нас не пугала ни серая бумага, ни плохая краска. Из-за этого мы любили свою газету больше, чем если бы она была прилизанной и нарядной.

Мы вкладывали в работу много пыла, труда и выдумки. Поэтому лучшим вознаграждением для нас, сотрудников «Моряка», была его популярность. Газета расходилась мгновенно. Номера «Моряка» буквально рвали из рук.

Кроме полотняных удостоверений и бандерольной бумаги, у «Моряка» была еще третья особенность — множество преданных газете сотрудников, не получавших ни копейки гонорара. Они охотно довольствовались ничтожными выдачами натурой.

Выдавали все, что мог достать Кынти: твердую, как булыжник, синьку, кривые перламутровые пуговицы, заплесневелый кубанский табак, ржавую каменную соль (она тут же, в редакции, таяла, выпуская красный едкий тузлук) и обмотки из вельвета.

Эти блага распределяла между нами бурная

Люсьена. В ответ на жалобы она только насмешливо пела, подражая каскадной певице и отбивая лихой такт деревяшками:

Терпи немного,
Держи на борт!
Ясна дорога
И близок порт!

Все, конечно, терпели и не роптали, даже на вельветовые обмотки.

Иванов выдал шестьдесят полотняных удостоверений постоянным сотрудникам газеты.

Кроме постоянных сотрудников, у «Моряка» было множество рабочих корреспондентов и друзей газеты — тех людей, что в наше время зовутся «болельщиками».

Рабочих корреспондентов сначала было больше всего в Одессе и в ближайших портах — Очакове, Николаеве, Херсоне, Овидиополе, Збурьевке и Станиславе. Но по мере освобождения от белых Черноморского побережья число рабочих корреспондентов росло. Вскоре они появились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Мариуполе, Бердянске, потом в Новороссийске и по Кавказскому побережью, наконец, в Крыму.

Одесские рабочие корреспонденты — от ка-

питанов дальнего плавания до кочегаров и гальюнщиков — собирались в редакции, как в своем клубе. Весь день бурлил кипятильник, весь день Люсьена заваривала морковный чай, и гул голосов, густой кашель курильщиков и зычный смех раскачивали волнами дымно-табачный воздух.

Что касается постоянных сотрудников, то они представляли шумное, пестрое, насмешливое и живописное общество.

Иногда в этот редакционный «клуб» заходили старики (так мы называли всех, кому было больше сорока лет). Заходил знаменитый подпольщик во времена французской оккупации Одессы, старый большевик Ачканов, друг «Моряка» и его придирчивый покровитель; заходил седой и утомительно вежливый писатель Семен Юшкевич[32]; но главным образом в «клубе» собирались моряки и журналисты — народ нетерпеливый и горячий.

«Научитесь работать и ждать, — говорил нам изредка Ачканов, прислушиваясь к нашим разговорам. — Социализм не упадет вам прямо в карман, как финик с пальмы».

---

[32] Комментарии: 32

Юшкевич Семен Соломонович (1868–1927) — русский писатель. В 1920 г. эмигрировал за границу.

Мы прекрасно понимали, что для революционных преобразований нужно время, но все равно нам хотелось, пропуская трудные и напряженные годы, говорить о конечном результате революции, о победе и счастье.

Иногда мы засиживались в «клубе» до утра, и золотое свечение неба на востоке невольно казалось нам, поэтически настроенным юношам, отблеском приближающихся прекрасных времен, как бы отблеском недалекого золотого века.

Золотое свечение неба сливалось с золотым блеском утреннего моря. Даже степи по ту сторону Одесского залива, за Дофиновкой, светились от солнца и, казалось, готовились к празднику.

О чем только не говорили в «клубе»! О восстании «Потемкина» на Тендре, о расстреле революционного крейсера «Очаков» в Севастополе, об «Острове казненных» — Березани, о свойствах херсонских шхун — «дубков», о знаменитых бахчах за Санжейкой, о лучшем способе протирания маячных стекол, о ходе кефали, о греко-турецкой войне[33], о дошедшей до Одессы

[33] Комментарии: 33

Греко-турецкая война— война турецкого народа в 1919–1922 гг. против интервенции империалистических держав Антанты, проводившейся силами греческой армии.

книге Барбюса[34] «Огонь», о ремонте плавучего дока, о том, как делать брынзу и как стрелять из трофейных австрийских винтовок системы Манлихера.

Эти разговоры за морковным чаем были своего рода революционной, литературной, морской и бытовой энциклопедией. Но она была богаче любого, самого лучшего энциклопедического словаря, потому что мы слышали живой, образный, просмоленный и точный язык со множеством его великолепных интонаций.

То были россыпи языка, и потому, очевидно, молодые одесские писатели, ставшие со временем знаменитыми, почти все время проводили в этом революционном «клубе». Особенно часто там бывал Эдуард Багрицкий.

Невозможно рассказать здесь обо всех сотрудниках, хотя они этого и заслуживают. Придется остановиться только на некоторых, почти наугад, без выбора.

В «Моряке» было два фельетониста: бойкий одесский поэт Ядов («Боцман Яков») и прозаик Василий Регинин. Ядов, присев на самый кончик стула в редакции, торопливо и без помарок писал

---

[34] Комментарии: 34

Барбюс Анри (1873–1935) — французский писатель и общественный деятель, коммунист.

свои смешные песенки. На следующий день эти песенки уже знала вся Одесса, а через месяц-два они иной раз доходили даже и до Москвы.

Ядов был по натуре человеком уступчивым и уязвимым. Жить ему было бы трудно, если бы не любовь к нему из-за его песенок всей портовой и окраинной Одессы. За эту популярность Ядова ценили редакторы газет, директора разных кабаре и эстрадные певцы. Ядов охотно писал для них песенки буквально за гроши.

Внешне он тоже почти не отличался от портовых людей. Он всегда носил линялую синюю робу, ходил без кепки, с махоркой, насыпанной прямо в карманы широченных брюк. Только очень подвижным и грустно-веселым лицом он напоминал пожилого комического актера.

Ядов в Одессе был не один.

Жил в Одессе еще талантливый поэт, знаток местного фольклора Мирон Ямпольский.

Самой известной песенкой Ямпольского была, конечно, «Свадьба Шнеерсона»:

Ужасно шумно в доме Шнеерсона…

Она обошла весь юг. В ней было много выразительных мест, вроде неожиданного прихода на свадьбу Шнеерсона (под гром чванливого марша)

всех домовых властей:

Сам преддомком Абраша Дер Молочник

Вошел со свитою, ну прямо словно царь!

За ним Вайншток — его помощник

И Хаим Качкес — секретарь.

Песенку о свадьбе Шнеерсона, равно как и продолжение ее — «Недолго длилось счастье Шнеерсона», — мог написать только природный одессит и знаток окраинного фольклора.

Почти все местные песенки были написаны безвестными одесситами. Даже всеведущие жители города не могли припомнить, к примеру, кто написал песенку «Здравствуй, моя Любка, здравствуй, дорогая!» — Жора со Степовой улицы или Абраша Кныш? «Что? Вы его не знаете? Так это тот самый шкет, которого поранили во время налета на почтовое отделение в Тирасполе».

Мода на песенки в Одессе менялась часто. Не только в каждом году, но иной раз и в каждом месяце были свои любимые песенки. Их пел весь город.

Если знать все эти песенки, то можно довольно точно восстановить хронологию одесских

событий.

Так, например, песенку «Ростислав» и «Алмаз» за республику, «наш девиз боевой — резать публику!» пели в 1918 году, а песенку «Выйду ль я на улицу, красный флаг я выкину, ах, Буденному везет больше, чем Деникину!» пели в 1920 году, когда дело Деникина было проиграно.

Я помню, как вся Одесса пела «Мичмана Джонса», потом «Эх, хмурые будни, осенние будни», «Цыпленка», «С одесского кичмана бежали два уркана», «Дочечку Броню», «Вот Маня входит в залу».

После этого пошли уже более поздние песни, вроде знаменитой бандитской:

Губернский розыск рассылает телеграммы,

Что город Харьков переполнен их ворами!

Что наступил критический момент,

—

И заедает вредный элемент.

Эту песенку можно было петь без конца, потому что имена городов менялись в ней по желанию исполнителей — Харьков, Киев, Ялта, Голта, Сочи и почему-то вдруг далекая Вятка.

Поток одесских песенок не прекращался до сороковых годов. Но он заметно иссякал, а перед войной, в 1941 году, совсем высох.

Во время Отечественной войны шумные и легкомысленные одесситы, любители этих песенок, те, кого еще недавно называли «жлобами», спокойно и сурово, но с неизменными одесскими шуточками дрались за свой город с такой отвагой и самоотверженностью, что это поразило даже врагов.

Сражались и старые рыбаки, и морские люди, которым не хватало места на кораблях. Сражались отчаянно потому, что за их спиной была Одесса, город, где труд никогда не чурался веселья, город неугомонный, как шумный раскат черноморской широкой волны.

И естественно, что после войны родились новые песни о героизме одесских людей и их неизменной любви к своему городу.

Весной 1922 года я уехал из Одессы на Кавказ и несколько месяцев прожил в Батуме.

Однажды я неожиданно встретил на батумском приморском бульваре Ядова. Он сидел один, сгорбившись, надвинув на глаза старую соломенную шляпу, и что-то чертил тростью на песке.

Я подошел к нему. Мы обрадовались друг другу

и вместе пошли пообедать в ресторан «Мирамаре».

Там было много народу, пахло шашлыками и лиловым вином «Изабелла». На эстраде оркестр (тогда еще не существовало джазов и мало кто слышал даже про саксофон) играл попурри из разных опереток, потом заиграл знаменитую песенку Ядова:

Купите бублики
Для всей республики!
Гоните рублики
Вы поскорей!

Ядов усмехнулся, разглядывая скатерть, залитую вином. Я подошел к оркестру и сказал дирижеру, что в зале сидит автор этой песенки — одесский поэт Ядов.

Оркестранты встали, подошли к нашему столику. Дирижер взмахнул рукой, и развязный мотив песенки загремел под дымными сводами ресторана.

Ядов поднялся. Посетители ресторана тоже встали и начали аплодировать ему. Ядов угостил оркестрантов вином. Они пили за его здоровье и произносили замысловатые тосты.

Ядов был растроган, благодарил всех, но шеп-

нул мне, что хочет поскорее уйти из ресторана.

Мы вышли. Он взял меня под руку, и мы пошли к морю. Шел он тяжело, прихрамывая. Приближались сумерки. Опускалось солнце. Вдали, над Анатолийским берегом, лежал фиолетовый дым, а над ним огнистой полосой горели облака. Улицы нарядно пахли мимозой.

Ядов показал мне тростью на гряду облаков и неожиданно сказал:

И, как мечты почиющей природы,
Волнистые проходят облака.

Я посмотрел на него с изумлением. Он это заметил и усмехнулся.

— Это Фет, — сказал он. — Поэт, похожий на раввина из синагоги Бродского. Если говорить всерьез, так я посетил сей мир совсем не для того, чтобы зубоскалить, особенно в стихах. По своему складу я лирик. Да вот не вышло. Вышел хохмач. Никто меня не учил, что во всех случаях надо бешено сопротивляться жизни. Наоборот, мне внушали с самого детства, что следует гнуть перед ней спину. А теперь поздно. Теперь лирика течет мимо меня, как река в половодье, и я могу только любить ее и завистливо любоваться ею издали. Но написать по-настоящему не могу

ничего. Легкие мотивчики играют в голове на ксилофоне.

— Но для себя, — сказал я, — вы же пишете лирические стихи?

— Что за вопрос! Конечно, нет. У меня, слава богу, еще хватает ума и вкуса, чтобы понять, что в этом отношении я конченый человек. Вот, говорят, люди сознают свою талантливость и гениальность. А я сознаю беспомощность. Это, пожалуй, тяжелее. Вы не помните, кто из замечательных немецких поэтов в одно прекрасное утро сел к столу и вдруг написал паршивенькие стихи? Мозг иссяк. Оказывается, этот поэт небрежно и просто преступно обращался со своим мозгом. После этого страшного утра он уже не написал ничего годного, даже для бульварной печати. Он переменил профессию и начал варить ядовитую жидкость от клопов. Хоть маленькая польза. Для человечества.

— Грех вам так говорить, Яков Семенович, — сказал я.

Я был искренне огорчен его словами.

— Милый мой, это все давно уже обдумано и передумано. Я не отчаиваюсь. Я раздарил свой талант жадным и нахальным торгашам-антрепренерам и издателям газет. Мне бы дожить без

потерь до сегодняшнего дня — я, может быть, написал бы вторую «Марсельезу». А вам спасибо хоть на добром слове.

Мы распрощались. Первые тяжелые капли начали падать из непроглядной темноты. Я быстро пошел к себе, прислушиваясь к ровному шуму подходившего с моря дождя.

Больше я не встречал Ядова, но запомнил его лицо печального клоуна с глубокими складками около губ и тоскливыми глазами.

Василия Александровича Регинина[35] или, как его звали до старости, Васю Регинина, знала вся писательская и журналистская Россия.

Я увидел его впервые в Одессе, в редакции «Моряка». До этого я много слышал о нем от Яши Лифшица, Благова, Евгения Иванова и других старых журналистов.

Рассказы о Регинине казались неправдоподобными, похожими на анекдоты. Судя по этим рассказам, Регинин был журналистом той дерзкой хватки, какая редко встречалась в России. Таким журналистом был Стэнли, отыскавший в дебрях Африки Ливингстона из чисто спор-

---

[35] Комментарии: 35

Регинин Василий Александрович (1883–1952) — русский советский журналист.

тивного интереса. Но в России почти не было журналистов такого темперамента, как Регинин. А между тем в повседневной жизни он был человеком благоразумным и даже осторожным.

До революции Регинин редактировал в Петербурге дешевые и бесшабашные «желтые» журналы вроде «Синего журнала» или такие журналы на всеобщую потребу, как «Аргус» или «Хочу все знать». Делал он эти журналы с изобретательностью и размахом. У этих журналов был свой круг читателей.

Серьезный, «вдумчивый» читатель привык к скучноватому, но строго «идейному» «Русскому богатству», к солидному «Вестнику Европы», к «Ниве» с ее прекрасными приложениями, к «Журналу для всех», наконец, к передовой «Летописи». Серьезного читателя раздражала всеядность хотя и хорошо иллюстрированных, но только занимательных регининских журналов.

Число «желтых» журналов росло. Естественно, между ними началась конкуренция и погоня за читателем. Для этого выдумывали разные приемы, более или менее низкопробные, как, например, знаменитый конкурс в «Синем журнале» на лучшую гримасу. Победитель на этом конкурсе должен был получить большую премию.

Желающих участвовать в конкурсе нашлось много. Фотографии гримас печатались в «Синем журнале» из номера в номер.

Тираж журнала сразу поднялся. Но конкурс не мог длиться долго. Пора было давать по нему первую премию и выдумывать какое-нибудь другое, столь же сногсшибательное рекламное занятие.

Тогда в петербургских газетах появилось объявление о том, что такого-то числа и месяца во время представления с дикими тиграми в цирке Чинезелли редактор «Синего журнала» Василий Александрович Регинин войдет совершенно один, без дрессировщика и без оружия, в клетку с тиграми, сядет за столик, где будет для него сервирован кофе, не спеша выпьет чашку кофе с пирожным и благополучно выйдет из клетки.

Подробнейший отчет об этом необыкновенном происшествии, в том числе и непосредственные впечатления самого Регинина, будет напечатан в «Синем журнале» в сопровождении большого количества фотографий. При этом исключительное право на печатание этих фотографий закреплено за «Синим журналом».

В день встречи Регинина с тиграми цирк Чинезелли был набит людьми до самого купола.

Наряды конной полиции оцепили здание цирка на Фонтанке.

Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе.

Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали.

Цирк не дышал. У решетки стояли наготове, с брандспойтами, бледные служители.

Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки.

В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали их трясти и выламывать.

Вскрикивали, падая в обморок, женщины. Цирк вопил от восторга. Плакали дети. Служители пустили в тигров из брандспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы.

Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки.

Я не очень верил этому рассказу о Регинине,

пока он сам не показал мне фотографии — себя с тиграми. «Тогда, — сказал он, морщась, — я был мальчишка и фанфарон. Но мы вздули тираж «Синего журнала» до гомерических размеров».

Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости и заметил, что легкий налет буффонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному.

После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал «Тридцать дней», один из интереснейших журналов.

Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще.

В «Тридцати днях» он первый напечатал «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли «воздержаться» от печатания этой удивительной, но пугающей повести.

В «Тридцати днях» Регинин собрал лучших писателей и поэтов и всю талантливую тогдашнюю литературную молодежь (сейчас это уже всё маститые писатели и даже «классики»).

С легкой гордостью Регинин говорил, что сотрудниками «Тридцати дней» были все без исключения писатели и поэты тридцатых годов.

В этих словах не было преувеличения. Подобно тому как все дороги ведут в Рим, дороги всех писателей проходили через «Тридцать дней», особенно писателей молодых, начинающих. Недаром до сих пор писатели шутливо говорят:

Старик Регинин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил…[36]

Самая манера работы (или, как принято говорить, «стиль работы») Регинина отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил.

Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом: «Ну что ж! Пишите расписку на триста рублей», — выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти триста рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор: пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм.

Регинин прожил большую и разнообразную

---

[36] Комментарии: 36

«Старик Регинин нас заметил…» — Переделанные строки А. С. Пушкина «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил» («Евгений Онегин», гл. 8).

жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом.

Несколько лет назад Регинин умер. Он умирал тяжело, но мужественно. В мужественности его последних дней на земле был итог его жизни, очень беспокойной, кипучей, отданной журналистике и искусству, жизни человека, который больше всего на свете любил сенсацию, литературу, театр, цирк и дружбу с талантливыми людьми.

Каким он был в Одессе, таким оставался и в Москве, через много лет после работы в «Моряке»: сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими и вместе с тем утомленными глазами.

Похищенная речь

В половине апреля, к вечеру, когда за окном редакции зеленел воздух и мерно мигал красным огнем Воронцовский маяк, ко мне в комнату осторожно вошел Изя Лившиц. Он тихо прикрыл за собой резную дверь (на ней были выточены из дерева тяжелые кисти винограда и гирлянды роз), на цыпочках подошел к столу и сделал классический жест, призывающий к молчанию, — прижал указательный палец к губам.

Изя тяжело дышал и был чрезвычайно взволнован.

В редакции уже никого не осталось, все разошлись, кроме абиссинца Варфоломея. Поэтому поведение Изи показалось мне неестественным.

— Ну, выкладывайте! — громко сказал я ему. — Что случилось?

Изя сделал страшные глаза, стиснул меня за плечо и едва слышно, одним только дыханием, прошептал:

— Молчите. И слушайте! — Он рассказал мне, изредка откидываясь и глядя на меня победоносно и испытующе, что только что заходил в типографию Одесского губкома и увидел там…

Изя задохся от волнения. Он замолчал, неловко скрутил папиросу, закурил, затянулся и только после этого рассказал о том, что он увидел в типографии губкома.

А увидел он набор недавно произнесенной Лениным в Москве речи о новой экономической политике[37]. Речь была набрана в виде брошюры, но еще не отпечатана. На первой странице перед текстом стояла надпись о том, что речь не подлежит оглашению и печатается на правах рукописи, то есть для небольшого числа посвященных.

Неясный слух об этой речи уже третий день бродил по Одессе. Но никто ничего толком не знал. Мы у себя в редакции знали только одно: что речь была произнесена и, конечно, напечатана во всех газетах Российской Федерации. Но в Одессе ее почему-то скрывали от населения.

Мы были уверены, что в этом виноваты работники Одесского губкома. Очевидно, они не были согласны с основными положениями ленинской речи. Впоследствии так оно и оказалось.

С другой стороны, нам, беспартийным, — Иванову, Изе и мне, — в те времена трудно было

---

[37] Комментарии: 37

…произнесенной Лениным в Москве речи о новой экономической политике. — Имеется в виду доклад В. И. Ленина на X съезде ВКП(б) в 1921 г.

разобраться в этом. Мы ничего толком не знали. Мы были только глубоко возмущены тем, что от народа прячут ленинские слова. Это мы считали величайшим преступлением. Речь надо было достать и напечатать во что бы то ни стало.

Мы пытались добыть эту речь, но из этого ничего не вышло. В губкоме нам с усмешкой ответили, что мы напрасно интересуемся делами, которые нас не касаются.

И вот Изя Лившиц случайно увидел эту речь. Набор лежал в стеклянной кабине директора типографии. Директор куда-то на минуту отлучился. Прочесть речь Изя не смог: в типографии не было видно ни одного оттиска, да и задерживаться было нельзя. Изя забежал туда договориться с директором насчет клише для «Моряка». Он, конечно, не показал виду, что заметил набор ленинской речи, и тут же ушел.

— Мы должны или напечатать эту речь, — сказал Изя, — или признать себя последними трусами и слякотью. Ни трусом, ни слякотью я быть не хочу. И вы тоже. Поэтому слушайте: есть гениальный план! Наш метранпаж Суходольский три дня в неделю работает у нас, а остальные три дня — в типографии губкома. Там он свой человек. Надо его уломать, чтобы он ночью выдал нам го-

товый набор ленинской речи часа на два, на три. За это время мы успеем привезти набор в нашу типографию, отпечатать на вкладке к «Моряку», смыть краску и увезти обратно. Пошли к Иванову. Он один может уговорить Суходольского.

Мы тотчас пошли советоваться к Иванову. Он жил далеко, около Французского бульвара. Услышав о речи Ленина, Иванов побледнел и начал заикаться. Это было у него признаком страшного волнения.

С Ивановым мы пошли на квартиру к Суходольскому, в старый дом из выветренного песчаника. Мы с Изей ждали в подворотне. Мне казалось, что секундная стрелка на моих часах была намазана клеем. Она едва тащилась по циферблату, и каждая секунда давалась ей с величайшим трудом.

Время тянулось, и дело казалось проигранным. Разве такой ожиревший боров, как Суходольский, согласится на риск! Да никогда! Изя от досады несколько раз бил изо всей силы ногой по стене, стараясь сорвать на ней свое нетерпение.

Наконец Иванов вышел вместе с Суходольским. Глаза у Суходольского блестели, и он сказал нам таинственным шепотом: «Ай, босяки! Ай, умницы!» Такими словами Суходольский всегда выражал свое восхищение.

Оказалось, что сторожем при типографии губкома работает тесть Суходольского, «бриллиантовый старик».

Суходольский охотно взял на себя всю операцию похищения набора.

Все было сделано быстро и бесшумно. Мы вместе с Суходольским и сторожем незаметно вынесли тяжелый свинцовый набор речи, уложили на извозчика и поехали к нашей типографии. Там Иванов уже все подготовил: достал из склада бумагу и задержал на ночь надежных печатников. (Очередной номер «Моряка» уже допечатывался, и все наборщики давно разошлись.)

На общем совете мы решили напечатать речь отдельной вкладкой. Но брошюрный текст был шире нашего, газетного, и потому на вкладке помещалось не шесть колонок, как на странице «Моряка», а четыре, и сбоку еще оставалось большое пустое поле.

Но думать было некогда. Набор заложили в машину. Суходольский набрал заголовок. Машина тихо загремела и зашуршала листами бандеролей, печатая историческую речь.

Мы жадно читали ее при свете кухонной керосиновой лампочки, волнуясь и понимая, что история стоит рядом с нами в темной этой ти-

пографии и мы тоже в какой-то мере участвуем в ней.

Вкладку отпечатали, с набора тщательно смыли краску, отнесли набор на извозчика, и мы с Изей отвезли его обратно в типографию губкома и положили точно на то же самое место, где он лежал.

Никто нас не видел, кроме молчаливого сторожа. Мы не оставили никаких следов.

Домой идти не хотелось: через час должен был начаться рассвет. Мы были взволнованы и потому пошли в редакцию.

Варфоломей открыл нам дверь, обрадовался и поставил на печурку чайник.

Мы пили чай, сидя на кипах бандерольной бумаги. Богиня Аврора[38] едва проступала во тьме своим розовым пыльным хитоном.

Все мы были втайне горды тем, что завтра ленинская речь станет известна всей Одессе. Никто из нас не думал о последствиях дерзкого нашего поступка, хотя мы и понимали, что последствия могут быть для нас очень тяжелыми. Только метранпаж Суходольский качал головой и время от времени говорил, что на всякий случай хорошо

---

[38] Комментарии: 38

Аврора— в древнеримской мифологии богиня утренней зари.

бы незаметно смыться из Одессы.

А наутро 16 апреля 1921 года старые одесские продавцы газет — скептики, мизантропы и склеротики — пошли торопливо шаркать деревяшками по улицам и кричать хрипучими голосами:

— Газета «Морак»! Речь товарища Ленина! Читайте все! Только в «Мораке», больше нигде не прочтете! Газета «Морак»!

Как мы ни бились, но за все время существования «Моряка» не могли научить газетчиков кричать правильно. Они считали это требование нашим капризом, просто самодурством редактора и говорили: «Какая вам разница! Мы же продаем вашу газету, как никакую другую».

Номер «Моряка» с речью разошелся в несколько минут.

Одесса загудела, как потревоженное гнездо.

Мы ждали неприятностей и были готовы к ним. Но никаких осложнений не случилось, если не считать моей встречи на Греческой улице с секретарем губкома.

Красный от гнева, он мчался навстречу, потрясая номером «Моряка». Поравнявшись со мной, он остановился и крикнул:

— Украли! Наш набор! Бульварные штучки! Вы

ответите! До чего вы дошли!

Я сделал невинное лицо. Ничего мы не крали. Это — поклеп! Где доказательства?

Секретарь задохся от возмущения.

— Вам нужны доказательства? — Он выхватил из номера «Моряка» вкладку с речью. — Вот! Все опечатки наши! И колонка брошюрная, широкая, — тоже наша! Вот вам доказательства!

Он судорожно засунул номер «Моряка» в рваный портфель и исчез среди отцветающих акаций.

Не знаю, время ли приучило нас ко всяким неожиданностям или наша молодость еще не перебродила и не выветрила из нас остатки мальчишества, — но мы были горды своим поступком.

Это ощущение подымало нас в собственных глазах, хотя мы и не говорили об этом.

Мы считали себя уже не простыми газетчиками. Чувство гражданственности, близости своей жизни к жизни страны наполняло нас молчаливой радостью.

Мнимая смерть художника Костанди

Чехов боялся одесских репортеров. Как известно, он неохотно делился своими литературными планами. Все разговоры об этом он заканчивал одной и той же просьбой:

— Только, ради бога, не говорите об этом одесским репортерам.

Я еще застал нескольких одесских репортеров из числа тех, что нагоняли страх на Чехова. Эти репортеры были, конечно, последними «королями сенсации». Их рассадником и надежным убежищем была одесская газета «Одесская почта», а вождем — издатель этой газеты, некий Финкель.

Главным содержанием этой газеты было подробнейшее описание всех пожаров, краж, убийств, мошенничеств и всех прочих уголовных происшествий.

Стиль статей в этой газете был феерический. Я помню, как по поводу какого-то пустякового постановления городской думы Финкель писал в передовой статье, что «следует выкрасить на радостях наше одесское небо в розовый цвет и аплодировать городской думе на крышах домов».

Старые репортеры рассказывали нам, молодежи, что если Финкель и был легендарен, то только своим гомерическим невежеством.

Из тех репортеров, которых боялся Чехов, у нас в «Моряке» застрял только один — Лева Крупник, человек с обманчивой внешностью. Сухонький и кроткий, этот старичок с вкрадчивым голосом ходил в заштопанном чесучовом пиджаке и в золотом пенсне и распространял старорежимный запах тройного одеколона.

Несмотря на эту идиллическую внешность, Лева был опасен, как ипритовая бомба. Иванов предупреждал меня об этом, но я не верил ему вплоть до одного чрезвычайного случая.

Летом я приходил в редакцию ранним утром. Я любил идти со своей Черноморской улицы до редакции медленно, выбирая, любой путь из четырех возможных. Все они одинаково приводили на бульвар, к Воронцовскому дворцу.

Там пышно пылала, зацепившись за старые колонны, настурция и всегда веял — именно веял, а не дул — портовый ветер, солоноватый и свежий. Он наполнял приморские улицы запахом только что вымытых палуб.

Я садился на парапет над обрывом к порту и некоторое время сидел, закрыв глаза. Так я лучше

ощущал на лице дыхание этого ветра. Я различал в нем не только запах палуб, но и акаций, и высохших водорослей, и ромашки, что цвела в трещинах подпорных стен, и, наконец, дегтя и ржавчины. Но все эти запахи по временам смывал особенный послегрозовой запах, что налетал с открытого моря. Его ни с чем нельзя было сравнить и ни с чем спутать. Как будто холодноватое от купания матовое девичье плечо прикасалось к моим щекам.

Так я просиживал на парапете, теряя представление о времени, погружаясь внутренним взором в мерцающую даль Голконды[39]. Мне хотелось верить, и я в действительности верил, что эта цветущая страна существует на свете. Иногда мне казалось, что она приближается ко мне, наплывает, разгорается и гонит перед собой волны этого ветра, эти потоки легкого воздуха.

Подремав на парапете, я шел в редакцию. Дверь мне открывал абиссинец Варфоломей, наш редакционный парикмахер.

Он ночевал в некогда роскошной гостиной с

---

[39] Комментарии: 39

Голконда— крепость и город в Индии близ г. Гайдерабада, место усыпальниц древних раджей, в древности входила в состав могущественного государства Декана. Всемирную известность приобрели алмазы Голконды, обрабатывавшиеся в городе.

облезлыми фресками на стенах. Они изображали богиню Аврору в розовом прозрачном хитоне. Она летела по небу среди бежевых облаков и сыпала из рога на землю алые цветы и акантовые листья.

Меня всегда умиляла наивность художника, написавшего позади Авроры в голубой морской дымке одесскую лестницу к морю и памятник Дюку — герцогу Ришелье.

В моей редакционной комнате стоял еще прохладный воздух ночи. Я садился к столу и до появления Люсьены (она всегда приходила вслед за мной) успевал кое-что написать «для себя». Я очень ценил эти два-три часа безлюдья в редакции.

Потом приходили сотрудники и заваливали мой стол исписанными узкими полосками бумаги. Я правил весь день статьи, телеграммы и заметки. Правил до изнеможения, до того, что у меня начинала тупо болеть рука. Примерно половину заметок приходилось мне самому переписывать наново, чтобы убрать из них неистребимый одесско-молдаванский стиль.

В конце концов я полюбил правку. Ее навыки очень помогли мне в работе над своими рукописями.

Я был секретарем редакции, иными словами, должен был делать все: от правки и раздачи заданий репортерам до приема авторов и прекращения молниеносных скандалов, возникавших между молодыми и старыми репортерами.

Кроме того, я почти каждый вечер верстал вместе с Изей Лившицем очередной номер газеты.

Однажды я пришел очень рано и застал в редакции Леву Крупника. Он сидел на подоконнике и плакал, прижимая к глазам клетчатый платок. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

Я испугался и спросил, что случилось. Лева только отмахнулся от меня, подчеркивая этим жестом всю неуместность моего вопроса и мою неделикатность. Очевидно, горе его было так велико, что ему было не до расспросов.

Я налил в стакан воды и подал Леве. Он выпил ее вместе со своими слезами, снова махнул рукой и сказал:

— Лежит на столе… под простыней… Боже мой, боже мой!.. Вместе учились… восемь лет сидели на одной парте… вместе босяковали на Малой Арнаутской улице, и вот…

Он всхлипнул, высморкался и посмотрел на меня красными, припухшими глазками, ожидая

сочувствия.

— Кто же умер? — несмело спросил я. — Кто-нибудь из ваших родных?

— Зачем? Слава богу, у меня нету родных.

— Так кто же?

— Художник Костанди[40]! — воскликнул Лева таким тоном, будто с моей стороны было просто глупо задавать такие вопросы. — Глава южнорусской школы художников, — добавил он уже более спокойно. — Мастер! Бриллиантовая рука! И золотое сердце. Добрее его не было человека на свете.

Лева был безутешен. Мне стало его искренне жаль. Я не знал, как успокоить его. Внезапно у меня блеснула счастливая мысль, и я сказал:

— Возьмите себя в руки, сядьте и напишите некролог о Костанди. Для завтрашнего номера.

Лева поймал качающееся пенсне, криво прицепил его к носу, слез с пыльного подоконника, отряхнул брюки и неожиданно сказал капризным голосом:

— Так дайте же мне, по крайней мере, бумаги. На чем я буду писать? У нас в редакции не допросишься четвертушки на раскурку.

---

[40] Комментарии: 40

Костанди Кириак Константинович (1852–1921) — украинский художник-передвижник.

Я дал ему чистые с одной стороны старые гранки, но он презрительно хмыкнул и сказал, что на обороте старых гранок можно марать все что угодно — хронику происшествий или халтурные фельетоны, — но писать об умершем большом художнике просто неприлично и неуважительно.

Он явно привередничал. Я приписал это, как он сам выразился, его «расстроенным чувствам». Я дал ему несколько листов хорошей бумаги, ценившейся в редакции на вес золота.

Он ушел в соседнюю комнату, долго сморкался там, вздыхал и царапал по бумаге пером.

Потом пришла Люсьена, ахнула, узнав, что умер Костанди, и сказала:

— Такой был чудный старик — и вдруг умер! А все эти бугаи, вроде Кынти, всякие жулики-рамолики живут и только морочат людям голову.

— Ах! — горестно воскликнул Лева. — Вы разрываете мое сердце, Люсьена Казимировна, своими грубыми выражениями!

— Подумаешь, какой сиреневый принц! — ответила Люсьена. — Нечего прикидываться безутешным, старик.

Потом Лева диктовал Люсьене некролог, и они ссорились из-за того, что старик требовал двух копий, а Люсьена божилась, что у нее осталась

последняя копирка и с Левы хватит одной копии. Но все-таки Лева добился своего и ушел из редакции, захватив копию, очевидно на память.

Я прочел некролог, выправил его (в том месте, где Лева сравнивал кисть Костанди с божественной кистью Рафаэля) и послал в типографию.

Я вспомнил, как Лева тяжело вздыхал, уходя домой, и сказал Люсьене:

— Как вам не совестно преследовать этого несчастного, беззащитного старикана!

— Это кто несчастный? — спросила Люсьена. — Крупник? И это кто беззащитный, позвольте спросить? Тот же Крупник? Подождите, он еще подложит вам такую свинью, что вы проклянете день своего рождения. Вы все, московские, какие-то сентиментальные.

В это время пришел наш корректор Коля Гаджаев, юный студент Новороссийского университета, знаток левой живописи и поэзии.

Колины суждения отличались суровостью, краткостью и были бесспорны. Возражать ему никто не решался, так как ни у кого не хватало той эрудиции, какой обладал Коля.

Всех инакомыслящих Коля презирал и считал «мусорными людишками», — чем-то вроде тараканов. Говоря о своих идейных противниках,

он морщился и, по всей видимости, испытывал физическую тошноту.

Из одесских поэтов он терпел только Эдуарда Багрицкого, снисходительно относился к Владимиру Нарбуту[41], а Георгия Шенгели считал развинченным эстетом не только за стихи, но и за то, что Шенгели ходил по Одессе в пробковом тропическом шлеме.

— Коля! — крикнула ему Люсьена. — Вы слышали? Умер художник Костанди!

— Ваш Костанди не художник, а свиновод! — неожиданно закричал ей в ответ Коля и почернел от негодования. — Как можно так швыряться словом «художник»! Он всю жизнь держался за протертые штаны передвижников. Не говорите мне о нем!

Начали собираться сотрудники. Пришел репортер Аренберг, плотный человек со смеющимися глазами.

Он бурно радовался любой новости, будь то приход в порт норвежского парохода «Камилла Гильберт» или землетрясение в Аравии.

Его возбуждал самый ход жизни, все перипетии и подробности ее движения, все ее перемены,

---

[41] Комментарии: 41

Нарбут Владимир Иванович (1888–1944) — русский советский поэт.

независимо от того, что это может принести с собой: беду или счастье. Это было для него вопросом тоже важным, но все же второстепенным.

По поводу смерти Костанди Аренберг высказался в том смысле, что Костанди — это, конечно, не Репин. Это вызвало новый взрыв негодования со стороны Коли Гаджаева, но теперь уже не против Костанди, а против Репина.

— Старый чудак, объевшийся сеном! — сказал Коля о Репине и ушел, даже не глядя по сторонам, очевидно от презрения ко всем нам.

У Репина были свои странности, и одна из них — вера в целебные свойства супа из свежего сена. Эта история с сеном особенно возмущала Колю.

Потом пришли Иванов и репортер Ловенгард, седой, высокий, с донкихотской бородкой и с палкой в руке, похожей на короткую пику. Всю жизнь Ловенгард обслуживал в газетах Одесский порт, знал его до последней причальной пушки и потому сказал, что о художнике Костанди он судить не может, так как никогда не слышал о его существовании, но вот капитан Костанди с парохода «Труженик моря» — тот был, конечно…

Но тут его перебили. Он сел в угол, положил руки на свою палку, закрыл глаза и так просидел довольно долго, о чем-то размышляя. Это была

его обычная поза.

По вечерам я часто заходил в типографию проверить, как верстается очередной номер, поболтать с выпускающим Изей Лившицем и метранпажем Суходольским и вообще подышать воздухом типографии.

Со времени работы в «Моряке» я пристрастился к типографиям. Даже запах краски и свинца был для меня «сладок и приятен»[42]. Я полюбил наборщиков, их насмешливость, их обширные, хотя и случайные, познания, их безжалостные оценки и даже самую манеру набирать, покачиваясь около наборных касс, как качаются мусульмане, совершая намаз или читая Коран.

Темные, пыльные, низкие типографии, сырые оттиски, гул плоских печатных машин, пачки разноцветных бандеролей, рулоны бумаги, традиционные яростные схватки с корректорами, остывающий чай на подоконниках, вазон с геранью на окне, запах ее шершавых листьев — все это представлялось мне в несколько романтическом ореоле, очевидно, потому, что здесь рождались газеты и книги, географические карты и афиши, календари и расписания пароходных рейсов.

---

[42] Комментарии: 42

...«сладок и приятен»— из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» — слова Чацкого: «И дым Отечества нам сладок и приятен!»

Кажется, я никогда не забуду черный и липкий от краски, грубый деревянный стол у открытого окна типографии. За окном, за железной ржавой решеткой, висели, чуть поникнув от зноя, листья каштанов. Не забуду лиловый блеск на асфальте во дворе и сырую гранку с оттиснутыми на ней строчками стихов неизвестного мне поэта:

Закаты в августе! Плывут издалека
Полей дыхания и ветерки тугие,
И снежные встают над горем облака,
Такие белые, что даже голубые...[43]

На полях корректор написал жирным синим карандашом: «Не над *горем*, а над *морем*». Я прочел эту пометку корректора и подумал, что наборщик ошибся не так уж плохо. Почему не могут встать над человеческим горем облака, как образчик умиротворяющей красоты, как отвлечение, врачующее сердце?

Но в тот вечер, о каком идет речь, в типографии было шумно. Еще со двора я услышал негодующий голос Изи Лившица и хохот наборщиков.

Когда я вошел в типографию, Изя Лившиц

---

[43] Комментарии: 43

«Закаты в августе! Плывут издалека...»— стихотворение Г. Шенгели без названия (приведено полностью).

бросился ко мне, размахивая сырой, только что оттиснутой гранкой с некрологом Костанди.

— Кто дал в газету эту гнусность? — закричал он с такой яростью, что у него побелели даже глаза. — Какой негодяй?!

— Крупник, — растерянно ответил я.

— Я так и знал. Подонок! Шантажист!

— А что случилось?

— Случилась чрезвычайно интересная вещь. — Изя зловеще усмехнулся. — Чрезвычайно интересная. Чтобы его стукнуло брашпилем[44] по башке, этого вашего «короля репортеров»! Случилось одно пустяковое обстоятельство. Я шел сейчас в типографию верстать газету и за два дома отсюда встретил воскресшего Костанди. И даже проводил его до Екатерининской улицы. И даже говорил с ним о будущей выставке его картин. И даже пожал его мужественную руку. И даже заметил пятно от синей масляной краски на его чесучовом пиджаке. И он нисколько не был похож на покойника, уверяю вас.

— Что это значит? — спросил я.

— Это значит, что Крупник гнусно наврал. Хотел заработать на мнимой сенсации лишних

---

[44] Комментарии: 44

Брашпиль— судовая лебедка для подъема якоря или швартовки.

пять тысяч рублей. Вы скажете, что это бессмысленно, что за это его могут выгнать из «Моряка». Конечно, могут. Но Финкель за это не выгонял, и Крупник надеется, что и здесь все сойдет. Вранье — это его единственная верная черта. Он ей никогда и ни при каких обстоятельствах не изменяет. А изменяет он всем и всему.

— Давить надо таких, как этот Лева! — сказал метранпаж Суходольский. — Я его видеть не могу. У меня ноги трясутся, когда я его вижу. У меня к сердцу подпирает от его лживого голоса.

Мы с Изей вынули из номера некролог о Костанди. Наутро «Моряк» вышел без некролога, но тотчас же этот некролог был обнаружен нами в «Одесских известиях», тот же самый, до последней запятой, некролог, который мы только что выбросили из «Моряка».

Вскоре в редакцию примчался репортер Аренберг и, сияя от внутренней газетной сенсации, сообщил, что Крупник прямо из «Моряка» двинул в «Известия» и подсунул им некролог с теми же крокодиловыми слезами, какие он проливал у нас в редакции. Лева на всякий случай решил застраховаться.

«Известия» принесли Костанди свои глубочайшие извинения, а «Моряк» напечатал об этом

случае стихотворный фельетон Ядова. Он кончался словами:

Смотри в газетный нумер
И, если что, смирись,
Коль сказано: ты умер, —
Скорее в гроб ложись.

Крупник исчез. Взбешенный Женька Иванов потребовал, чтобы ему доставили Крупника на расправу, живого или мертвого. Но его нигде не могли найти. Дома он не ночевал.

Прошло недели две. Однажды я, как всегда, очень рано пришел в редакцию, вошел в свою комнату и отступил: на пыльном подоконнике опять сидел Лева Крупник и плакал. Пенсне висело на черной тесемке на шее у Левы и качалось от его судорожного дыхания.

— Извиняюсь, — сказал Лева прерывающимся голосом, — но вышла маленькая ошибка.

— Ошибка? — спросил я, чувствуя, как у меня холодеют руки.

— Да, — кротко согласился Лева. — Добросовестная ошибка. Оказывается, умер не художник Костанди, а чистильщик сапог Костанди. Однофамилец. Он жил в подвале того самого дома, где живет и художник. Легко, понимаете, спутать.

— Позвольте, — сказал я, приходя в себя, — вы же своими глазами видели его на столе, под простыней…

— В том-то и дело! — ответил, сморкаясь, Лева. — В подвале, понимаете, темно, а тут еще эта простыня… Кстати, я принес вам заметку о выставке Костанди. Она скоро откроется.

— Надо думать, — сказал я, — что это будет его посмертная выставка?

— Напрасно так шутите, — ответил с упреком Лева. — Это даже неприлично с вашей стороны!

— Знаете что! — сказал я. — Уходите! В «Моряке» вам больше нечего делать.

— Подумаешь! — воскликнул Лева сварливым голосом и встал. — Тоже мне газета! Паршивая свистулька! Я был одесским корреспондентом «Фигаро», а вы мне тычете в нос вашу селедочную листовку.

Я не успел ответить. Дверь распахнулась. На пороге стоял белый от гнева Иванов.

— Вон! — прокричал он ясным, металлическим голосом. — Вон немедленно!

Лева Крупник вскочил и засеменил к выходу, придерживая падающее пенсне.

Потом мы услышали, как он в сердцах плюнул на паркет в зале с богиней Авророй и застучал

деревяшками по панели, навсегда удаляясь из «Моряка».

Так исчез из редакции последний из тех одесских репортеров, которых с полным основанием боялся Чехов.

«Что вы хотели, молодой человек?»

Патетический язык почти забыт. Современная жизнь требует простых выражений.

Но каким же языком описать то, по существу, неописуемое одесское торжище, которое в двадцатых годах нашего века носило название «Новый базар»?

Как изобразить этот базар нам, отвыкшим от приподнятых слов? Как рассказать о вчерашних сыпнотифозных, толпившихся около раскаленных сковородок, где скручивались, потрескивая и жарясь в собственном жиру, куски домашней украинской колбасы с чесноком — первого детища нэпа?

Как передать множество клятв, завываний, возгласов, жалоб, истерик, проклятий и ругани, смешанных в слитный гул, внезапно прерываемый пронзительным свистком милиционера? И как описать тяжеловесное бегство спекулянтов, обвешанных вещами, по потрясенной их топотом брусчатой мостовой? Как описать потерянные в этом бегстве пожелтевшие лифчики, бязевые солдатские кальсоны и пересохшие резиновые грелки цвета печени, покрытые шрамами тре-

щин?

Поскольку патетический язык нам чужд, придется говорить об одесском базаре обыденными словами.

Прежде всего нужно упомянуть о нескольких правилах, без знания которых нечего было и соваться на Новый базар.

Первое правило состояло в том, чтобы, толкаясь по базару, обязательно сохранить на лице бесстрастное и даже скучное выражение и ни в коем случае не показывать вида, что вы хотите что-нибудь купить. Потому что в этом случае десятки людей начинали цепко хватать вас за рукава, или сильно дергать сзади за гимнастерку, или, наконец, тянуть за хлястик шинели и кричать почти трагически, с выражением отчаянной надежды:

— Что вы хотели купить, молодой человек?

Никто не спрашивал, что вы хотите продать. Спрашивать об этом было бессмысленно: все, что человек хотел продать, он таскал на руках или вешал себе на шею.

Если же человек ничего не нес с собою, но глаза его подозрительно бегали, ища покупателей, то базарные завсегдатаи тотчас догадывались, что он торгует фальшивыми драгоценностями, и

насмешливо кричали ему в спину:

— Бриллиантовые розы из навоза! Кораллы из крахмала! Халцедоны из бердичевской короны!

Но все же бывали и исключения, когда нельзя было сразу догадаться, чем человек торгует. Так было, например, с одним довольно потрепанным французским матросом по прозвищу Лева.

Он отстал от военного корабля, застрял в Одессе и был совершенно уверен, что в те феерические времена гражданской войны и ниспровержения международного права никто его не выдаст как дезертира французскому правительству.

Низенький, всегда небритый и недовольный, с длинным черным носом и яростными, презрительными глазами, в синей грязной шинели, в берете, с алым помпоном, в рваном фиолетовом кашне, он молча бежал по Дерибасовской, энергично засунув руки в карманы шинели, и вдруг неожиданно, совершенно внезапно кричал, не останавливаясь, пронзительным фальцетом, слышным за несколько кварталов:

— Сами лучши! Сами крепки! Сами вечный!

Он никогда не называл свой товар. Его пробежка по Дерибасовской была похожа на смерч. Толпа завивалась вокруг него и потом шарахалась, прижимаясь к стенам. «Что он продает?»

— растерянно спрашивали приезжие. Одесситы в ответ насмешливо пожимали плечами. Мальчишки восторженно свистели вслед матросу. С ближайшего поста навстречу матросу торопливо шел милиционер, держа в руке роговой черный свисток.

Увидев милиционера, матрос наконец выкрикивал свой товар:

— Сами лучши камешка! Для зажигалка! Сами длинный! Для зажигалка!

Под этот победный клич он исчезал в глубине Садовой улицы, где тлел в седом чаду постного масла Новый базар, прибежище мешочников, старых генеральш и карманных воров.

Он был очень скульптурной фигурой, этот матрос, весь как бы вылепленный из терракоты и подкрашенный яркими красками.

Второе базарное правило заключалось в том, чтобы соглашаться на первую же цену, какую вам давали за ваши вещи. Пренебрежение этим правилом могло окончиться катастрофой, как это и случилось со мной.

У Васи Регинина тяжело заболела жена, хрупкая и грациозная женщина, совершенно беспомощная во всяческих практических делах.

Кроме жены, у Регинина была еще маленькая

дочь Кира, тихая девочка лет шести.

Регинин совершенно раскисал из-за частых болезней жены. Он растерянно носился по городу. Он глох от волнения, стараясь достать немного денег и какое-то фантастическое в то время лекарство (кажется, горчичник), а меня слезно упросил загнать на базаре его великолепный ватин.

То был добротный, легкий, как пух, ватин. По моим понятиям, он представлял огромную ценность.

Я не знал, почему Регинин попросил продать этот ватин именно меня. Насколько помню, он упоминал о моей находчивости и ссылался на собственную негодность для этого дела. Он льстил мне, и я поверил ему.

Я зашел к Регинину, взял ватин, свернул его рулоном и пошел на базар. Это было глупо с моей стороны, но тогда еще я не подозревал, куда иду. Я спокойно шел по Садовой улице, не зная, что это — прямая дорога в ад.

Сначала никто даже не хотел смотреть на мой великолепный ватин. Все вели себя так, будто впервые слышали о ватине. «Это что? — спрашивали меня. — Материал на обивку кушетки? Или теплая обертка для недоношенных младенцев?»

Я оскорблялся, но молчал даже в тех случаях,

когда нахальные женщины отщипывали от ватина кусочки, раздергивали их по отдельным волокнам и нюхали неизвестно зачем.

Наконец добродушный старик с сантиметром на шее (из этого я заключил, что он портной) дал мне за ватин сто тысяч рублей. Это были хорошие деньги. Но я решил продать ватин не меньше чем за двести тысяч рублей и этим осчастливить Регинина.

— У вас есть мозги в голове? — удивленно спросил меня портной. — Берите деньги и не разыгрывайте из себя барона Нобеля[45]. Ваше счастье, что вы попали на честного человека.

Я отказался. Портной потоптался, потом сплюнул и ушел, покрикивая:

— Брюки галифе! Шьем перед глазами заказчика за два часа и с его материалом! Будут лежать как вылитые! Брюки галифе! Задаром! За триста тысяч рублей без приклада!

Следующий покупатель, маленький полупьяный грек, дал мне семьдесят тысяч. После него плаксивая женщина дала пятьдесят тысяч.

Время подходило к четырем часам, базар на-

[45] Комментарии: 45

Нобель— имеется в виду, очевидно, Эммануэль Нобель (1859–1932) — крупный промышленник и предприниматель, в 1888–1917 гг. возглавлявший крупнейшую нефтяную фирму России (Т-во бр. Нобель).

чинал пустеть. Грек снова вернулся откуда-то и предложил мне уже тридцать тысяч рублей.

Я послал его к черту. Тогда ко мне подошел босой парень в старой казацкой фуражке, сунул мне в руку десять тысяч рублей, сильно потянул у меня из-под локтя ватин и сказал:

— На, бери и катись с базара до своей Люсечки!

Я вырвал у него ватин и швырнул ему обратно его десятитысячную бумажку.

— Ах, ты так, зараза! — сказал парень и полез за пазуху.

В это время взвизгнула старуха в шляпе с бархатными анютиными глазками. Она доторговывала последним, свернувшимся в жгут малокровным пирожком с картошкой. В ответ на визг старухи засвистел милиционер. Парень независимо и медленно пошел прочь, шевеля лопатками под линялой рубахой.

— Уходите скорее, — сказала мне старуха. — У него нож за пазухой. Я уже не могу видеть крови на базаре и вечно попадать в свидетели.

Уже смеркалось. Мой базарный день был бесславно окончен. Так я думал тогда по своей непроходимой наивности.

Я ушел с базара. Я шел и вдруг вспомнил, что и грека, и плаксивую женщину, и парня в казацкой

фуражке я видел в самом начале базарного дня в толпе за рундуком — всех троих вместе. Только сейчас до моего сознания дошло, что около меня работала одна и та же шайка «маравихеров». Так в Одессе звали шпану, занимавшуюся сбиванием цен и, при удобном случае, базарными кражами и грабежами.

В базарных воротах мне встретился полупьяный грек. Он курил козью ножку и не обратил на меня внимания.

Я шел, и какой-то едкий, пакостный запах преследовал меня до ближайшего перекрестка. На перекрестке меня окликнула торговка семечками.

— Вы же горите, молодой человек! — крикнула она мне. — С вас дым идет, как с паровоза.

Я оглянулся. Из свернутого ватина шел белый едкий дым.

Я развернул рулон. По нему расползался, чадя и вспыхивая, огненный узор.

Я хотел затоптать этот ползучий огонь, но напрасно: он извивался, как десятки маленьких змей, и расползался по ватину все дальше. Единственное, что мне оставалось сделать, — это отшвырнуть ногой горящий ватин на мостовую.

— Я думаю, — сказала торговка, — что у вас

была на базаре крупная неприятность с «маравихерами», молодой человек. И они по злобе подожгли вам сзади ватин. Папироской.

Я вспомнил полупьяного грека в воротах базара. Это была его работа.

Вокруг горящего ватина собралась толпа. Торговка семечками рассказывала всем, крича и возмущенно жестикулируя, мою горестную историю.

Я не пошел к Регинину. Меня душили отвращение, гнев, стыд. Я проклинал всех, кто считал, будто в воровском и бандитском мире есть следы какой-то романтики. Сплошная чушь! Россказни для слюнтяев и доверчивых дураков.

Я поклялся себе страшной клятвой, что больше ни разу не пойду на базар.

Наутро мне надо было достать где-нибудь не меньше двухсот тысяч рублей — за эти деньги я обещал Регинину продать его ватин. Я ломал себе голову над этим, наконец решился и пошел к Мозеру. Он слыл среди нас человеком вполне состоятельным.

Мозер и его жена очень жалели меня, охали, возмущались, напоили чаем и дали два больших листа денег (каждый по сто тысяч рублей). Я свернул их в рулон и пошел к Регинину. Казалось,

никогда в жизни я не испытывал такой легкости на душе, как в тот день.

Из этого случая с ватином вытекало третье базарное правило: никогда не носить вещей у себя за спиной. Потому, конечно, что их незаметно разрезали лезвием безопасной бритвы или поджигали, а потом эти испорченные вещи шли за бесценок.

Но избавиться навсегда от базара, несмотря на клятвы, мне, конечно, не удалось. Государственных товаров в городе почти не было, если не считать бязи, некоторого количества шапок-ушанок и ватников.

Эти шапки-ушанки с искусственной серой мерлушкой привозились почему-то спрессованными в огромные тюки. Тюки эти лежали в магазинах, их никто не распаковывал, и они распространяли запах тления.

На базар приходилось ходить за всем, особенно за лесками и рыболовными крючками.

Каждый раз после базара я возвращался в глухом раздражении, подавленный и униженный. Униженный зрелищем бесстыдной алчности, беспомощной нищеты, глумления над людским достоинством, животной грубости и обмана.

Особенно много было жульничества — мелко-

го, шмыгающего глазами и наглого.

В тени под всеми рундуками играли в «три листика», в «узелок», в «кости», передергивали и дрались. Испитые шулера рыдали в голос, размазывая по лицу кровь и грозясь рассчитаться с обидчиками такими изощренными способами, что от них холодела кожа на голове.

Бродячим сумасшедшим привязывали сзади, к отрепьям, пуки газет и поджигали их.

Иногда в укромных углах базара неожиданно собирались плотные толпы. Люди молча, с яростным любопытством продирались вперед, к середине толпы, где слышались тупые удары и заглушенные крики: там, зверея, били вора или обыскивали, раздевая догола, женщину, заподозренную в краже, под визгливый хохот деревенских простоволосых кулачек.

Иной раз невозможно было понять, что происходит. Вор вырывался и, кривляясь, избитый, весь в кровоподтеках, начинал изображать какой-нибудь похабный танец под дружный и одобрительный рев толпы, а раздетая женщина вцеплялась в волосы обокраденной, и обе они долго катались в пыли.

До одесского базара я никогда не видел такого скопления в одном месте человеческой скверны

и злобы. И это было тем удивительнее и тяжелее, что рядом сверкало теплое море, шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям, на улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей, пахло цветами, и низко горели в морских далях чистые звезды, похожие на огни бакенов.

Но и на базаре попадались хорошие люди. Все это были чудаки или люди с изломанной, пустой жизнью, но здесь они казались образцами человечности.

Помню подслеповатого старика. Он торговал фотографиями для стереоскопа. Его постоянно окружали дети. Весь день он бесплатно показывал им виды Парижа и Рима, Москвы и острова Мадейра. Совершенно невозможно было понять, чем он живет. В то время ни единая живая душа (кроме Изи Лившица) не покупала фотографий для стереоскопа. Да и Изя покупал их только из жалости к этому старику.

Рядом со стариком стоял на мостовой выцветший, пыльный глобус. За пятьдесят рублей каждый желающий мог повертеть этот глобус и поискать на нем разные заманчивые страны и города, вроде острова Пасхи, реки Замбези или города Каракаса.

Невдалеке от этого старика поместился гадальщик-графолог. Гадал он по почерку. Весь день он сидел на скамейке и изучал в огромную лупу письма и конверты.

Гадал он сердито, выговаривая гадающим, и даже кричал на них. Но, несмотря на это, клиенты его любили, особенно женщины.

А кричал он вещи удивительные.

— Я же вам три раза уже нагадал, гражданочка, — кричал он заморенной женщине, — чтобы вы бросили этого вашего сожителя, если не хотите попасть вместе с ним в арестантские роты.

— Оно и верно, надо бы бросить, — неуверенно соглашалась женщина.

— Бросай, Верка! Видишь же, человек тебе желает добра, — уговаривали ее подруги.

— Выходит, — обиженно кричал гадальщик, — что я, как паразит, деньги с вас высасываю и получаю каждый раз по триста рублей. А все через вашу нерешительность! Это что за безобразие! Раз не хотите меня слушать, так и не ходите до меня. Я вам больше гадать не буду. Хватит.

В другой раз он кричал:

— Судя по начертанию букв, очень много об себе понимаете, отрок. Ходите таким фон-бароном и фон-трезвоном. А правильное соответствие

жизни достигается только путем науки и терпения, а не нахальства и гавканья. Я давно замечаю, что вы всё крутитесь в компании с Витькой «Десятка треф» — вместо того чтобы честно работать и радовать престарелых родителей.

Но самым трогательным оказался старый торговец кепками Зусман, державший на задворках базара крошечную лавчонку с вывеской «Варшавские кепы».

Он весь день сидел в лавочке вместе с подручным — унылым, болезненным мальчиком Милей. Мальчик спал, похрапывая, а старик, нацепив очки, медленно читал газету, вздыхал и недовольно поглядывал на редких покупателей.

Мы как-то зашли к нему в кепочную вместе с Яшей Лифшицем.

— Зачем вам новая кепка? — сердито спросил Зусман Яшу. — У вас же еще вполне приличная.

— Это уж мое дело! — так же сердито ответил Яша.

— Привыкли разбрасываться кепками? — иронически спросил Зусман. — Ваше дело! Миля, дай этому товарищу какую-нибудь кепочку. А мне надо зайти до соседа.

Он ушел. Яша, посапывая от гнева на странного продавца, начал примерять кепки. Миля держал

перед ним зеркало и два раза чуть не уронил его, засыпая.

Яша колебался. Он надел коричневую кепку и спросил меня, идет ли она ему.

Я не успел ответить. Вошел Зусман, мельком взглянул на Яшу и спросил:

— Миля, где же тот покупатель, который только что заходил до лавки?

— Так вот он, — уныло ответил Миля и показал на Яшу.

— Нет! — вскричал Зусман, отступил, всплеснул руками, и бородатое его лицо расплылось в счастливую улыбку. — Нет! Что ты выдумываешь, Миля! Это же передо мной стоит лорд в шотландской кепке, настоящий лорд Чемберлен[46]. А тот покупатель был, извините, совершенно затрушенный и смахивал на босяка.

— Так это же он, — так же уныло подтвердил Миля. — Только он в новой кепке.

— Ай-ай-ай! — закричал Зусман. — Что может сделать с человеком такая дешевая кепка за сто тысяч рублей! Если она, конечно, сшита хорошим

---

[46] Комментарии: 46

Чемберлен Остин (1863–1937) — министр финансов Великобритании в 1903–1905, 1919–1921 гг., министр по делам Индии, министр иностранных дел в 1924–1929 гг., занимал и другие министерские посты. В 1927 г. — один из инициаторов разрыва дипломатических отношений с СССР.

мастером! Она может сделать чудо!

Яша не выдержал и расхохотался. Зусман тоже хохотал до слез, довольный своей выдумкой, и дружески похлопал Яшу по плечу.

— Торговля с нас делает артистов, — говорил он сквозь смех. — Из меня бы вышел комик, честное слово! Будем знакомы. Приходите когда до меня поговорить, а то можно пропасть в этой пустой лавке. Я вам сошью такую летнюю кепку, что сам Ллойд-Джордж[47] не имел и не будет иметь такой кепки никогда в жизни. Абы только достать хороший материал.

Все были очень довольны, а Миля снова уже сидел на табуретке за прилавком, клевал носом и всхрапывал.

— Сами можете убедиться, — сказал со вздохом Зусман и кивнул на Милю, — какой у меня собеседник. Это же только сойти с ума и умереть!

«Что вы хотели, молодой человек?» — спрашивали меня каждый раз на одесском базаре. Что я хотел? Я хотел одного: чтобы это капище нищеты и грязи было сожжено, развеяно по ветру. В конце

---

[47] Комментарии: 47

Ллойд-Джордж Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобритании в 1916–1922 гг., один из крупнейших лидеров Либеральной партии. Один из организаторов антисоветской интервенции, затем выступил за установление контактов с Советской Россией.

концов так и случилось.

Да, кстати, Регинин поверил, что я продал его ватин за двести тысяч рублей. Обман обнаружился только через двадцать лет в Москве, и Регинин торжественно вернул мне эти двести тысяч рублей в виде двух десятирублевых бумажек выпуска 1939 года. При этом он по своей манере бесшумно трясся от смеха.

«Мопассанов я вам гарантирую»

В одном из номеров «Моряка» был напечатан рассказ под названием «Король». Под рассказом стояла подпись: «И. Бабель».

Рассказ был о том, как главарь одесских бандитов Бенцион (он же Беня) Крик насильно выдал замуж свою увядшую сестру Двойру за хилого и плаксивого вора. Вор женился на Двойре только из невыносимого страха перед Беней.

То был один из первых так называемых «молдаванских» рассказов Бабеля.

Молдаванкой в Одессе называлась часть города около товарной железнодорожной станции, где жили две тысячи одесских налетчиков и воров.

Чтобы лучше узнать жизнь Молдаванки, Бабель решил поселиться там на некоторое время у старого еврея Цireса, доживавшего свой век под крикливым гнетом жены, тети Хавы.

Вскоре после того, как Бабель снял комнату у этого кроткого старика, похожего на лилипута, произошли стремительные события. Из-за них Бабель был вынужден бежать очертя голову из квартиры Цireса, пропахшей жареным луком и нафталином.

Но об этом я расскажу несколько позже, когда читатель свыкнется с характером тогдашней жизни на Молдаванке.

Рассказ «Король» был написан сжато и точно. Он бил в лицо свежестью, подобно углекислой воде.

С юношеских лет я воспринимал произведения некоторых писателей как колдовство. После рассказа «Король» я понял, что еще один колдун пришел в нашу литературу и что все написанное этим человеком никогда не будет бесцветным и вялым.

В рассказе «Король» все было непривычно для нас. Не только люди и мотивы их поступков, но и неожиданные положения, неведомый быт, энергичный и живописный диалог. В этом рассказе существовала жизнь, ничем не отличавшаяся от гротеска. В каждой мелочи был заметен пронзительный глаз писателя. И вдруг, как неожиданный удар солнца в окно, в текст вторгался какой-нибудь изысканный отрывок или напев фразы, похожей на перевод с французского, — напев размеренный и пышный.

Это было ново, необыкновенно. В этой прозе звучал голос человека, пропыленного в походах Конной армии и вместе с тем владевшего всеми

богатствами прошлой культуры — от Боккаччо[48] до Леконта де Лиля и от Вермеера[49] Дельфтского до Александра Блока.

В редакцию «Моряка» Бабеля привел Изя Лившиц. Я не встречал человека, внешне столь мало похожего на писателя, как Бабель. Сутулый, почти без шеи из-за наследственной одесской астмы, с утиным носом и морщинистым лбом, с маслянистым блеском маленьких глаз, он с первого взгляда не вызывал интереса. Его можно было принять за коммивояжера или маклера. Но, конечно, только до той минуты, пока он не начинал говорить.

С первыми же словами все менялось. В тонком звучании его голоса слышалась настойчивая ирония.

Многие люди не могли смотреть в прожигающие глаза Бабеля. По натуре Бабель был разоблачителем. Он любил ставить людей в тупик и потому слыл в Одессе человеком трудным и опасным.

---

[48] Комментарии: 48

Боккаччо Джованни (1313–1375) — итальянский писатель, гуманист Раннего Возрождения.

[49] Комментарии: 49

Вермеер Дельфтский (Вермер Делфтский) Ян (1632–1672) — голландский живописец, работал в Делфте.

Бабель пришел в редакцию «Моряка» с книгой рассказов Киплинга[50] в руках. Разговаривая с редактором Женей Ивановым, он положил книгу на стол, но все время нетерпеливо и даже как-то плотоядно посматривал на нее. Он вертелся на стуле, вставал, снова садился. Он явно нервничал. Ему хотелось читать, а не вести вынужденную вежливую беседу.

Бабель быстро перевел разговор на Киплинга, сказал, что надо писать такой же железной прозой, как Киплинг, и с полнейшей ясностью представлять себе все, что должно появиться из-под пера. Рассказу надлежит быть точным, как военное донесение или банковский чек. Его следует писать тем же твердым и прямым почерком, каким пишутся приказы и чеки. Такой почерк был, между прочим, у Киплинга.

Разговор о Киплинге Бабель закончил неожиданными словами. Он произнес их, сняв очки, и от этого лицо его сразу сделалось беспомощным и добродушным.

— У нас в Одессе, — сказал он, насмешливо поблескивая глазами, — не будет своих Киплингов. Мы мирные жизнелюбы. Но зато у нас будут

---

[50] Комментарии: 50

Киплинг Джозеф Редьярд (1865–1936) — английский писатель.

свои Мопассаны[51]. Потому что у нас много моря, солнца, красивых женщин и много пищи для размышлений. Мопассанов я вам гарантирую.

Тут же он рассказал, как был в последней парижской квартире Мопассана. Рассказывал о нагретых солнцем розовых кружевных абажурах, похожих на панталоны дорогих куртизанок, о запахе бриллиантина и кофе, о комнатах, где мучился испуганный их обширностью больной писатель, годами приучавший себя к строгим границам замыслов и наикратчайшему их изложению.

Во время этого рассказа Бабель со вкусом упоминал о топографии Парижа. У Бабеля было хорошее французское произношение.

Из нескольких замечаний и вопросов Бабеля я понял, что это человек неслыханно настойчивый, цепкий, желающий все видеть, не брезгующий никакими познаниями, внешне склонный к скепсису, даже к цинизму, а на деле верящий в наивную и добрую человеческую душу. Недаром Бабель любил повторять библейское изречение: «Сила жаждет, и только печаль утоляет сердца».

Я видел из своего окна, как Бабель вышел из

---

[51] Комментарии: 51
Мопассан Ги де (1850–1893) — французский писатель.

редакции и, сутулясь, пошел по теневой стороне Приморского бульвара. Шел он медленно, потому что, как только вышел из редакции, тотчас раскрыл книгу Киплинга и начал читать ее на ходу. По временам он останавливался, чтобы дать встречным обойти себя, но ни разу не поднял головы, чтобы взглянуть на них.

И встречные обходили его, с недоумением оглядываясь, но никто не сказал ему ни слова.

Вскоре он исчез в тени платанов, что трепетали в текучем черноморском воздухе своей бархатистой листвой.

Потом я часто встречал Бабеля в городе. Он никогда не ходил один. Вокруг него висели, как мошкара, так называемые «одесские литературные мальчики». Они ловили на лету его острые слова, тут же разносили их по Одессе и безропотно выполняли его многочисленные поручения.

За нерадивость Бабель взыскивал с этих восторженных юношей очень строго, а наскучив ими, безжалостно их изгонял. Чем более жестоким бывал разгром какого-нибудь юноши, тем сильнее гордился этим разгромленный. «Литературные юноши» просто расцветали от бабелевских разгромов.

Но не только «литературные мальчики» бого-

творили Бабеля. Старые литераторы — их в то время собралось в Одессе несколько человек, — равно как и молодые одесские писатели и поэты, относились к Бабелю очень почтительно.

Объяснялось это не только тем, что это был исключительно талантливый человек, но еще и тем, что он был признан и любим как писатель Алексеем Максимовичем Горьким, что он только что вернулся из легендарной Конармии Буденного и, наконец, он был в то время для нас первым подлинно советским писателем.

Нельзя забывать, что в то время советская литература только зарождалась и до Одессы еще не дошла ни одна новая книга, кроме «Двенадцати» Блока и перевода книги Анри Барбюса «Огонь».

И Блок и Барбюс произвели на нас потрясающее впечатление: в этих вещах уже явственно сверкали зарницы новой поэзии и прозы, и мы заучивали наизусть и стихи Блока, и суровую прозу Барбюса.

Вплотную я столкнулся с Бабелем в конце лета. Он жил тогда на 9-й станции Фонтана. Я был в отпуску и снял вместе с Изей Лившицем полуразрушенную дачу невдалеке от дачи Бабеля.

Одна стена нашей дачи висела над отвесным обрывом. От нее часто откалывались куски

яркой розовой штукатурки и весело неслись вприпрыжку к морю. Поэтому мы предпочитали спать на террасе, выходившей в степь. Там было безопаснее.

Сад около дачи зарос по пояс сероватой полынью. Сквозь нее пробивались, как свежие брызги киновари, маленькие, величиной с ноготь, маки.

С Бабелем мы виделись часто. Иногда мы вместе просиживали на берегу почти весь день, таская с Изей на самоловы зеленух и бычков и слушая неторопливые рассказы Бабеля.

Рассказчик он был гениальный. Устные его рассказы были сильнее и совершеннее, чем написанные.

Как описать то веселое и вместе с тем печальное лето 1921 года на Фонтане, когда мы жили вместе? Веселым его делала наша молодость, а печальным оно казалось от постоянной легкой тревоги на сердце. А может быть, отчасти и от непроницаемых южных ночей. Они опускали свой полог совсем рядом с нами, за первой же каменной ступенькой нашей террасы.

Стоя на террасе, можно было протянуть в эту ночь руку, но тотчас отдернуть ее, почувствовав на кончиках пальцев близкий холод мирового пространства.

Веселье было собрано в пестрый клубок наших разговоров, шуток и мистификаций. Тогда уже в Одессе мистификации называли «розыгрышами». Потом это слово быстро распространилось по всей стране.

А печаль воплощалась для меня почему-то в ясном огне, неизменно блиставшем по ночам на морском горизонте. То была какая-то низкая звезда. Имени ее никто не знал, несмотря на то что она все ночи напролет дружелюбно и настойчиво следила за нами.

Непонятно почему, но печаль была заключена и в запахе остывающего по ночам кремнистого шоссе, и в голубых зрачках маленькой дикой вербены, поселившейся у нашего порога, и в том, что тогда мы очень ясно чувствовали слишком быстрое движение времени.

Горести пока еще властвовали над миром. Но для нас, молодых, они уже соседствовали со счастьем, потому что время было полно надежд на разумный удел, на избавление от назойливых бед, на непременное цветение после бесконечной зимы.

Я в то лето, пожалуй, хорошо понял, что значит казавшееся мне до тех пор пустым выражение «власть таланта».

Присутствие Бабеля делало это лето захватывающе интересным. Мы все жили в легком отблеске его таланта.

До этого почти все люди, встречавшиеся мне, не оставляли в памяти особенно заметного следа. Я быстро забывал их лица, голоса, слова, их походку, и много-много, если вдруг вспоминал какую-нибудь характерную морщину у них на лице. А сейчас было не так. Я жадно зарисовывал людей в своей памяти, и этому меня научил Бабель.

Бабель часто возвращался к вечеру из Одессы на конке. Она сменила начисто забытый трамвай. Конка ходила только до 8-й станции и издалека уже дребезжала всеми своими развинченными болтами.

С 8-й станции Бабель приходил пешком, пыльный, усталый, но с хитрым блеском в глазах, и говорил:

— Ну и разговорчик же заварился в вагоне у старух! За «куриные яички». Слушайте! Вы будете просто рыдать от удовольствия.

Он начинал передавать этот разговор. И мы не только рыдали от хохота. Мы просто падали, сраженные этим рассказом. Тогда Бабель дергал то одного, то другого из нас за рукав и крикливо

спрашивал голосом знакомой торговки с 10-й станции Фонтана:

— Вы окончательно сказились, молодой человек? Или что?

Стоило, слушая Бабеля, закрыть глаза, чтобы сразу же очутиться в душном вагоне одесской конки и увидеть всех попутчиков с такой наглядностью, будто вы прожили с ними много лет и съели вместе добрый пудовик соли. Может быть, их вовсе и не существовало в природе, этих людей, и Бабель их начисто выдумал. Но что за дело нам было до этого, если они жили во всей своей конкретности, хрипящие, кашляющие, вздыхающие и выразительно подмигивающие друг другу на «мосье» Бабеля, о котором уже говорили по Одессе, что он такой же умный, как Горький.

Гораздо раньше, чем из его напечатанных рассказов, мы узнали из устных его рассказов о старике Гедали, вздыхавшем «об интернационале добрых людей», о происшествии с солью на «закоренелой» станции Фастов, о бешеных кавалерийских атаках, об ослепительной усмешке Буденного и услышали удивительные казачьи песни. Особенно одна песня поразила Бабеля, и потом в Одессе мы ее часто напевали, каждый раз все больше удивляясь ее поэтичности. Сейчас

я забыл слова этой песни. В памяти остались только первые две строки:

Звезда полей над отчим домом,
И матери моей печальная рука…

Особенно томительной и щемящей была эта «звезда полей». Часто по ночам я даже видел ее во сне — единственную тихую звезду в громадной высоте над сумраком родных и нищих полей.

Вообще Бабель рассказывал охотно и много об Алексее Максимовиче Горьком, о революции и о том, как он, Бабель, поселился явочным порядком в Аничковом[52] дворце в Петербурге, спал на диване в кабинете Александра III и однажды, осторожно заглянув в ящик царского письменного стола, нашел коробку великолепных папирос — подарок царю Александру от турецкого султана Абдул Гамида.

Толстые эти папиросы были сделаны из розовой бумаги с золотой арабской вязью. Бабель очень таинственно подарил мне и Изе по одной папиросе. Мы выкурили их вечером. Тончайшее

---

[52] Комментарии: 52

Аничков (Аничковский) дворец сооружен в 1741–1751 гг. по проекту архитектора Земцова, окончен Растрелли. Название получил от соседства с Аничковскою слободой, названной по фамилии командира батальона морской рабочей команды, заселявшей ее.

благоухание распростерлось над 9-й станцией Фонтана. Но тотчас у нас смертельно разболелась голова, и мы целый час передвигались как пьяные, хватаясь за каменные ограды.

Тогда же я узнал от Бабеля необыкновенную историю о безответном старом еврее Циресе.

Бабель поселился у Цирeса и его мрачной медлительной жены, тети Хавы, в центре Молдаванки. Он решил написать несколько рассказов из жизни этой одесской окраины с ее пряным бытом. Бабеля привлекали своеобразные и безусловно талантливые натуры таких бандитов, как ставший уже легендарным Мишка Япончик (Беня Крик). Бабель хотел получше изучить Молдаванку, и, конечно, удобным местом для этого была скучная квартира Цирeса.

Она стояла как надежная скала среди бушующих и громогласных притонов и обманчиво благополучных квартир с вязаными салфеточками и серебряными семисвечниками на комодах, где под родительским кровом скрывались налетчики.

Квартира Цирeса была забронирована со всех сторон соседством дерзких и хорошо вооруженных молодых людей.

Бабель посвятил Цирeса в цель своего изуче-

ния Молдаванки. Это не произвело на старика приятного впечатления. Наоборот, Цирес встревожился.

— Ой, мосье Бабель! — сказал он, качая головой. — Вы же сын такого известного папаши! Ваша мама была же красавица! Поговаривают, что к ней сватался племянник самого Бродского. Так чтобы вы знали, что Молдаванка вам совсем не к лицу, какой бы вы ни были писатель. Забудьте думать за Молдаванку. Я вам скажу, что вы не найдете здесь ни на копейку успеха, но зато сможете заработать полный карман неприятностей.

— Каких? — спросил Бабель.

— Я знаю, каких! — уклончиво ответил Цирес. — Разве догадаешься, какой кошмар может вбить себе в голову один только Пятирубель. Я не говорю за таких нахалов, как Люська Кур и все остальные. Лучше вам, мосье Бабель, не рисковать, а вернуться тихонько в папашин дом на Екатерининской улице. Скажу вам по совести, я сам уже сожалею, что сдал вам комнату. Но как я мог отказать такому приятному молодому человеку!

Бабель иногда ночевал в своей комнате у Цирeса и несколько раз слышал, как тетя Хава шепотом ругала старика за то, что он сдал комна-

ту Бабелю и пустил в дом незнакомого человека.

— Что ты с этого будешь иметь, скупец! — говорила она Циресу. — Какие-нибудь сто тысяч в месяц? Так зато ты растеряешь своих лучших клиентов. Лазарь Бройде со Степовой улицы обдурит тебя и будет смеяться над тобой. Они все перекинутся к Бройде, клянусь покойной Идочкой.

— Лягаши только ждут именно твоего Бройде, чтобы его захапать, — неуверенно отбивался Цирес.

— Как бы тебя не захапали раньше. Ты будешь пустой через того жильца. Никто не даст тебе и одного процента. С чего мы тогда будем доживать свою старость?

Цирес сокрушался, ворочался, долго не мог заснуть.

Бабелю не нравились эти непонятные ночные разговоры старухи.

Он чувствовал в них какую-то опасную тайну. Он тоже долго не засыпал, стараясь догадаться, о чем шепчет тетя Хава.

Ночи на Молдаванке тянулись долго. Мутный свет дальнего фонаря падал на облезлые обои. Они пахли уксусной эссенцией. Изредка с улицы слышались быстрые деловые шаги, тонкий свист, а иной раз даже близкий выстрел и женский ис-

терический хохот. Он долетал из-за кирпичных стен. Казалось, что этот рыдающий хохот был глубоко замурован в стенах.

Особенно неприятно было в дождливые ночи. В железном желобе жидко дребезжала вода. Кровать скрипела от малейшего движения, и какой-то зверь всю ночь спокойно жевал за обоями гнилое, трухлявое дерево.

Хотелось встать и уйти к себе на Екатерининскую улицу. Там за толстыми стенами на четвертом этаже было тихо, темно, безопасно, а на столе лежала десятки раз исправленная и переписанная рукопись последнего рассказа.

Подходя к столу, Бабель осторожно поглаживал эту рукопись, как плохо укрощенного зверя. Часто он вставал ночью и при коптилке, заставленной толстым, поставленным на ребро фолиантом энциклопедии, перечитывал три-четыре страницы. Каждый раз он находил несколько лишних слов и со злорадством выбрасывал их. «Ясность и сила языка, — говорил он, — совсем не в том, что к фразе уже нельзя ничего прибавить, а в том, что из нее уже нельзя больше ничего выбросить».

Все, кто видел Бабеля за работой, особенно ночью (а увидеть его в этом состоянии было трудно: он всегда писал, прячась от людей), были пора-

жены печальным его лицом и его особенным выражением доброты и горя.

Бабель много бы дал в эти скудные молдаванские ночи за то, чтобы сейчас же вернуться к своим рукописям. Но в литературе он чувствовал себя как разведчик и солдат и считал, что во имя ее он должен вытерпеть все: и одиночество, и керосиновую вонь погасшей коптилки, вызывавшую тяжелые припадки астмы, и крики изрыдавшихся женщин за стенами домов. Нет, возвращаться было нельзя.

В одну из таких ночей Бабеля вдруг осенило: очевидно, Цирес был обыкновенным наводчиком! Цирес жил этим. Он получал за это свой процент — «карбач», и Бабель был для старика действительно неудобным жильцом.

Он мог отпугнуть от старого наводчика его отчаянных, но вместе с тем и осторожных клиентов. Кому была охота глупо нарезаться на провал из-за скаредности Цирес, польстившегося на лишние сто тысяч рублей и пустившего в самое сердце Молдаванки какого-то фраера.

Да к тому же этот фраер оказался писателем и потому был вдвое опаснее, чем если бы он был простым сутенером или шулером из пивной.

Наконец-то Бабель понял намеки Цирес на-

счет кармана, полного неприятностей, и решил через несколько дней съехать от Цireса. Но несколько дней ему еще были нужны, чтобы выведать от старого наводчика все, что тот мог рассказать интересного. А Бабель знал за собой это сильное свойство — выпытывать людей до конца, потрошить их жестоко и настойчиво, или, как говорили в Одессе, «с божьей помощью вынимать из них начисто душу».

Но на этот раз Бабелю не удалось вынуть из старого Цireса душу. Бабеля опередил один из налетчиков, кажется Сенька Вислоухий, и сделал он это не в переносном, а в самом настоящем смысле этого слова.

Как-то днем, после того как Бабель ушел в город, Цирес был убит у себя на квартире ударом финки.

Когда Бабель вернулся на Молдаванку, он застал в квартире милицию, а у себя в комнате — начальника угрозыска. Он сидел за столом и писал протокол. Это был вежливый молодой человек в синих галифе из диагонали. Он мечтал тоже стать писателем и потому почтительно обошелся с Бабелем.

— Прошу вас, — сказал он Бабелю, — взять ваши вещи и немедленно покинуть этот дом. Иначе я

не могу гарантировать вам личную безопасность, даже на ближайшие сутки. Сами понимаете: Молдаванка!

И Бабель бежал, содрогаясь от хриплых воплей тети Хавы. Она призывала проклятия на голову Сеньки и всех, кто, по ее соображениям, был замешан в убийстве Цireса.

Эти проклятия были ужасны. Вежливый начальник угрозыска даже посоветовал Бабелю:

— Не слушайте эти психические крики. Утром она была еще в уме и дала показания. А теперь она бесноватая. Сейчас за ней приедет фургон из сумасшедшего дома на Слободке-Романовке.

А за перегородкой тетя Хава равномерно вырывала седые космы волос из головы, отшвыривала их от себя и кричала, раскачиваясь и рыдая:

— Чтоб ты опился, Симеон (она называла Сеньку его полным именем), водкой с крысиной отравой и сдох бы на блевотине! И чтобы ты пинал ногами собственную мать, старую гадюку Мириам, что породила такое исчадие и такого сатану! Чтобы все мальчики с Молдаванки наточили свои перочинные ножички и резали тебя на части двенадцать дней и двенадцать ночей! Чтоб ты, Сенька, горел огнем и лопнул от своего кипящего сала!

Вскоре Бабель узнал все о смерти Цireса.

Оказалось, что Цирес сам был виноват в своей гибели. Поэтому ни единая живая душа на Молдаванке не пожалела его, кроме тети Хавы. Ни единая живая душа! Потому что Цирес оказался бесчестным стариком, и его уже ничто не могло спасти от смерти.

А дело было так. Накануне дня своей гибели Цирес пошел к Сеньке Вислоухому.

Сенька брился в передней перед роскошным трюмо в черной витиеватой раме. Скосив глаза на Цireса, он сказал:

— Спутались с фраером, мосье Цирес? Поздравляю! Знаете новый советский закон: если ты пришел к бреющемуся человеку, то скорее кончай свое дело и выматывайся. Даю вам для объяснения десять слов. Как на центральном телеграфе. За каждое излишнее слово я срежу вам ваш процент, так сказать, карбач, на двести тысяч рублей.

— Или вы с детства родились таким неудачным шутником, Сеня? — спросил, сладко улыбаясь, Цирес. — Или сделались им постепенно, по мере течения лет? Как вы думаете?

Цирес был трусоват в жизни и даже в делах, но в разговоре он мог себе позволить нахальство.

Недаром он считался старейшим наводчиком в Одессе.

— А ну, рассказывайте, старый паяц, — сказал Сенька и начал водить в воздухе бритвой, как смычком по скрипке. — Рассказывайте, пока у меня не выкипело терпение.

— Завтра, — очень тихо произнес Цирес, — в час дня в артель «Конкордия» привезут четыре миллиарда.

— Хорошо! — так же тихо ответил Сенька. — Вы получите свой карбач. Без вычета.

Цирес поплелся домой. Поведение Сеньки ему не понравилось. Раньше Сенька в серьезных делах не позволял себе шуток.

Цирес поделился своими мыслями с тетей Хавой, и она, конечно, закричала:

— Сколько лет ты топчешься по земле, как последний дурак! Что ты отворачиваешься и смотришь на портрет Идочки? Я тебя спрашиваю, а не ее! Понятно, что Сеня не пойдет на такое дело. Будет он тебе мараться из-за четырех паскудных миллиардов. Ты на этом заработаешь дулю с маком — и все!

— А что же делать? — застонал Цирес. — Они сведут меня с ума, эти налетчики!

— Пойди до Пятирубеля. Может, он польстится

на твои липовые миллиарды! Так, по крайности, не останешься в идиотах.

Старый Цирес надел люстриновый картузик и поплелся к Пятирубелю. Тот спал в садочке около дома, в холодке от куста белой акации.

Пятирубель выслушал Цирeса и сонно ответил:

— Иди! Можешь рассчитывать на карбач.

Цирес ушел довольный. Он чувствовал себя как человек, застраховавший жизнь на чистое золото.

«Старуха права. Разве можно положиться на Сеню! Он капризный, как мотылек, как женщина в интересном положении. Что ему стоит согласиться, а потом, поигрывая бритвой, отказаться от дела, если оно представляется ему чересчур хлопотливым?»

Но старый, тертый наводчик Цирес ошибся в первый и в последний раз в жизни.

Назавтра в час дня у кассы артели «Конкордия» сошлись Сеня и Пятирубель. Они открыто посмотрели друг другу в глаза, и Сеня спросил:

— Не будешь ли ты так любезен сказать, кто тебя навел на это дело?

— Старый Цирес. А тебя, Сеня?

— И меня старый Цирес.

— Итак? — спросил Пятирубель.

— Итак, старый Цирес больше не будет жить! — ответил Сеня.

— Аминь! — сказал Пятирубель.

Налетчики мирно разошлись. По правилам, если два налетчика сходятся на одном деле, то дело отменяется.

Через сорок минут старый Цирес был убит у себя на квартире, когда тетя Хава вышла во двор вешать белье. Она не видела убийцы, но знала, что никто, кроме Сени или его людей, не смог бы этого сделать. Сеня никогда не прощал обмана.

«Тот» мальчик

На даче у Бабеля жило много народу: сам Бабель, его тихая и строгая мать, рыжеволосая красавица жена Евгения Борисовна, сестра Бабеля Мери и, наконец, теща со своим маленьким внуком. Все это общество Бабель шутливо и непочтительно называл «кодлом».

И вот в один из июльских дней в семье Бабеля произошло удивительное событие.

Для того чтобы понять всю, как говорят, «соль» этого происшествия, нужно сказать несколько слов о женитьбе Бабеля.

Отец Бабеля, суетливый старик, держал в Одессе небольшой склад сельскохозяйственных машин. Старик иногда посылал сына Исаака в Киев для закупки этих машин на заводе у киевского промышленника Гронфайна.

В доме Гронфайна Бабель познакомился с дочерью Гронфайна, гимназисткой последнего класса Женей, и вскоре началась их взаимная любовь.

О женитьбе не могло быть и речи: Бабель, студент, голодранец, сын среднего одесского купца, явно не годился в мужья богатой наследнице Гронфайна.

При первом же упоминании о замужестве Жени Гронфайн расстегнул сюртук, засунул руки за вырезы жилета и, покачиваясь на каблуках, испустил пренебрежительный и всем понятный звук: «П-с-с!» Он даже не дал себе труда выразить свое презрение словами: слишком много чести для этого невзрачного студента!

Влюбленным оставался только один выход — бежать в Одессу.

Так они и сделали.

А дальше все разыгралось по ветхозаветному шаблону: старик Гронфайн проклял весь род Бабеля до десятого колена и лишил дочь наследства. Случилось как в знаменитых стихах Саши Черного «Любовь — не картошка». Там при подобных же обстоятельствах папаша Фарфурник с досады раскокал семейный сервиз, рыдающая мадам Фарфурник иссморкала десятый платок, а студент-соблазнитель был изгнан из дома и витиевато назван «провокатором невиннейшей девушки, чистой, как мак».

Но время шло. Свершилась революция. Большевики отобрали у Гронфайна завод. Старый промышленник дошел до того, что позволял себе выходить на улицу небритым и без воротничка, с одной только золотой запонкой на рубахе.

Но вот однажды до дома Гронфайна дошел ошеломляющий слух, что «этот мальчишка» Бабель стал большим писателем, что его высоко ценит (и дружит с ним) сам Максим Горький — «Вы только подумайте, сам Максим Горький!», — что Бабель получает большие гонорары и что все, кто читал его сочинения, почтительно произносят слова: «Большой талант!» А иные добавляют, что завидуют Женечке, которая сделала такую хорошую партию.

Очевидно, старики просчитались, и настало время мириться. Как ни страдала их гордость, они первые протянули Бабелю, выражаясь фигурально, руки примирения. Это обстоятельство выразилось в том, что в один прекрасный день у нас на 9-й станции неожиданно появилась приехавшая для примирения из Киева преувеличенно любезная теща Бабеля — старуха Гронфайн.

Она была, должно быть, не очень уверена в успехе своей щекотливой задачи и потому захватила с собой из Киева, для разрядки, внука — восьмилетнего мальчика Люсю. Лучше было этого не делать.

В семье Бабеля тещу встретили приветливо. Но, конечно, в глубине души у Бабеля осталась неприязнь к ней и к заносчивому старику Грон-

файну. А теща, пытаясь загладить прошлую вину, даже заискивала перед Бабелем и на каждом шагу старалась подчеркнуть свое родственное расположение к нему.

Мы с Изей Лившицем часто завтракали по утрам у Бабеля, и несколько раз при этом повторялась одна и та же сцена.

На стол подавали вареные яйца. Старуха Гронфайн зорко следила за Бабелем и, если он не ел яиц, огорченно спрашивала:

— Бабель (она называла его не по имени, а по фамилии), почему вы не кушаете яички? Они вам не нравятся?

— Благодарю вас, я не хочу.

— Значит, вы не любите свою тещу? — игриво говорила старуха и закатывала глаза. — А я их варила исключительно для вас.

Бабель, давясь, быстро доедал завтрак и выскакивал из-за стола.

Мальчика Люсю Изя Лившиц прозвал «тот» мальчик. Что скрывалось под этим южным термином, объяснить было почти невозможно. Но каждый из нас в первый же день появления Люси испытал на собственной шкуре, что это действительно был «тот» мальчик.

У Люси с утра до вечера нестерпимо горели от

любопытства тонкие уши, будто кто-то долго и с наслаждением их драл. Люся хотел знать все, что его не касалось. Он шпионил за Бабелем и нами с дьявольской зоркостью.

Скрыться от него было немыслимо. Где бы мы ни были, через минуту мы замечали в листве тамарисков или за береговой скалой насквозь просвеченные солнцем Люсины уши.

Очевидно, от снедавшего его любопытства Люся был невероятно худ и костляв. У него с неестественной быстротой шныряли во все стороны черные, похожие на маслины глаза. При этом Люся задавал до тридцати вопросов в минуту, но никогда не дожидался ответа.

То был чудовищно утомительный мальчик с каким-то скачущим характером. Он успокаивался только во сне. Днем он все время дергался, прыгал, вертелся, гримасничал, ронял и разбивал вещи, носился с хищными воплями по саду, падал, катался на дверях, театрально хохотал, дразнил собаку, мяукал, вырывал себе от злости волосы, обидевшись на кого-нибудь, противно выл всухую, без слез, носил в кармане полудохлых ящериц с оторванными хвостами и крабов и выпускал их во время завтрака на стол, попрошайничал, грубил, таскал у меня лески и крючки

и в довершение всех этих качеств говорил сиплым голосом.

— А это что? — спрашивал он. — А это для чего? А из этого одеяла можно сделать динамит? А что будет, если выпить стакан чаю с морским песком? А кто вам придумал такую фамилию Паустовский, что моя бабушка может ее правильно выговаривать только после обеда? Вы могли бы схватить конку сзади за крюк, остановить на полном ходу и потащить ее обратно? А что, если из крабов сварить варенье?

Легко представить себе, как мы «любили» этого мальчика. «Исчадие ада!» — говорил о нем Бабель, и в глазах его вспыхивал синий огонь.

Самое присутствие Люси приводило Бабеля в такое нервическое состояние, что он не мог писать. Он отдыхал от Люси у нас на даче и стонал от изнеможения. Он говорил Люсе «деточка» таким голосом, что у этого лопоухого мальчика, если бы он хоть что-нибудь соображал, волосы должны были бы зашевелиться на голове от страха.

Жаркие дни сменяли друг друга, но не было заметно даже отдаленных признаков отъезда тещи.

— Все погибло! — стонал Бабель и хватался за голову. — Все пропало! Череп гудит, как медный

котел. Как будто это исчадие ада с утра до вечера лупит по мне палкой!

Все мы ломали голову над тем, как избавить Бабеля от Люси и его медоточивой бабушки. Но как это часто бывает, Бабеля спас счастливый случай.

Однажды ранним утром я зашел к Бабелю, чтобы, как мы условились с вечера, вместе идти купаться.

Бабель писал за небольшим столом. У него был затравленный вид. Когда я вошел, он вздрогнул и, не оглядываясь, судорожно начал запихивать рукопись в ящик стола и чуть не порвал ее.

— Фу-у! — вздохнул он с облегчением, увидев меня. — А я думал, что это Люська. Я могу работать, только пока это чудовище не проснется.

Бабель писал химическим карандашом. Я никогда не мог понять, как можно писать этим бледным и твердым, как железный гвоздь, карандашом. По-моему, все написанное химическим карандашом получалось много хуже, чем написанное чернилами.

Я сказал об этом Бабелю. Мы заспорили и прозевали те несколько секунд, безусловно спасительных для нас, когда Люся еще не подкрался по коридору. Если бы мы не спорили, то могли бы

вовремя скрыться.

Мы поняли, что пропали, когда Люся победоносно ворвался в комнату. Он тут же кинулся к письменному столу Бабеля, чтобы открыть ящик (там, как он предполагал, были спрятаны самые интересные вещи), но Бабель ловко извернулся, успел закрыть ящик на ключ, выхватить ключ из замка и спрятать его в карман.

После этого Люся начал хватать по очереди все вещи со стола и спрашивать, что это такое. Наконец он начал вырывать у Бабеля химический карандаш. После недолгой борьбы это ему удалось.

— А-а! — закричал Люся. — Я знаю, что это такое! «Карандаш-барабаш, все, что хочешь, то и мажь!»

Бабель задрожал от отвращения, а я сказал Люсе:

— Это химический карандаш. Отдай его сейчас же Исааку Эммануиловичу! Слышишь!

— Химический, технический, драматический, кавыческий! — запел Люся и запрыгал на одной ноге, не обратив на меня никакого внимания.

— О боже! — простонал Бабель. — Пойдемте скорее на берег. Я больше не могу.

— И я с вами, — крикнул Люся. — Бабушка мне

позволила. Даю слово зверобоя. Хотите, дядя Изя, я приведу ее сюда, и она сама вам скажет?

— Нет! — прорыдал Бабель измученным голосом. — Тысячу раз нет! Идемте!

Мы пошли на пляж. Люся нырял у берега, фыркал и пускал пузыри. Бабель пристально следил за ним, потом схватил меня за руку и сказал свистящим шепотом заговорщика:

— Вы знаете, что я заметил еще там, у себя в комнате?

— Что вы заметили?

— Он отломил кончик от химического карандаша и засунул себе в ухо.

— Ну и что же? — спросил я. — Ничего особенного не будет.

— Не будет так не будет! — уныло согласился Бабель. — Черт с ним. Пусть ныряет.

Мы заговорили о Герцене, — Бабель в то лето перечитывал Герцена. Он начал уверять меня, что Герцен писал лучше, чем Лев Толстой.

Когда мы, выкупавшись, шли домой и продолжали вяло спорить о Герцене, Люся забежал вперед, повернулся к нам, начал приплясывать, кривляться и петь:

Герцен-Мерцен сжарен с перцем!

— Я вас умоляю, — сказал мне Бабель измученным голосом, — дайте этому байстрюку по шее. Иначе я за себя не отвечаю.

Но Люся, очевидно, услышал эти слова Бабеля. Он отбежал от нас на безопасное расстояние и снова закричал, паясничая.

— У-у-у, зараза! — стиснув зубы, прошептал Бабель. Никогда до этого я не слышал такой ненависти в его голосе. — Еще один день, и я или сойду с ума, или повешусь.

Но вешаться не пришлось. Когда все сидели за завтраком и старуха Гронфайн готовилась к своему очередному номеру с «яичком» («Бабель, так вы, значит, не любите свою тещу»), Люся сполз со стула, схватился за ухо, начал кататься по полу, испускать душераздирающие вопли и бить ногами обо что попало.

Все вскочили. Из уха у Люси текла мерзкая и темная жижа.

Люся кричал без перерыва на одной ужасающей ноте, а около него метались, вскрикивая, женщины.

Паника охватила весь дом. Бабель сидел, как бы оцепенев, и испуганно смотрел на Люсю. А Люся вертелся винтом по полу и кричал:

— Больно, ой, больно, ой, больно!!

Я хотел вмешаться и сказать, что Люся врет, что никакой боли нет и быть не может, потому что Люся нырял, набрал себе в уши воды, а перед этим засунул себе в ухо…

Бабель схватил под столом мою руку и стиснул ее.

— Ни слова! — прошипел он. — Молчите про химический карандаш. Вы погубите всех.

Теща рыдала. Мери вытирала ватой фиолетовую жидкость, сочившуюся из уха. Мать Бабеля требовала, чтобы Люсю тотчас везли в Одессу к профессору по уху, горлу и носу.

Тогда Бабель вскочил, швырнул на стол салфетку, опрокинул чашку с недопитым чаем и закричал, весь красный от возмущения на невежественных и бестолковых женщин:

— Мамаша, вы сошли с ума! Вы же зарежете без ножа этого мальчика. Разве в Одессе врачи? Шарлатаны! Все до одного! Вы же сами прекрасно знаете. Коновалы! Невежды! Они начинают лечить бронхит и делают из него крупозное воспаление легких. Они вынимают из уха какого-нибудь комара и устраивают прободение барабанной перепонки.

— Что же мне делать, о господи! — закричала

мадам Гронфайн, упала на колени, подняла руки к небу и зарыдала. — О господи, открой мне глаза, что же мне делать!

Люся бил ногами по полу и выл на разные голоса. Он заметно охрип.

— И вы не знаете, что делать? — гневно спросил Бабель. — Вы? Природная киевлянка? У вас же в Киеве живет мировое светило по уху, горлу и носу. Профессор Гринблат. Только ему можно довериться. Мой совет: везите ребенка в Киев. Немедленно!

Бабель посмотрел на часы.

— Поезд через три часа. Мери, перевяжи Люсе ухо. Потуже. Одевайте его. Я вас провожу на вокзал и посажу в поезд. Не волнуйтесь.

Теща с Люсей и Бабелем уехала стремительно. Тотчас же после их отъезда Евгения Борисовна начала без всякой причины хохотать и дохохоталась до слез. Тогда меня осенило, и я понял, что история с киевским светилом была чистой импровизацией. Бабель разыграл ее, как первоклассный актер.

С тех пор тишина и мир снизошли на 9-ю станцию Фонтана. Все мы снова почувствовали себя разумными существами. И снова вернулось потерянное ощущение крепко настоянного на жаре и

запахе водорослей одесского лета. А через неделю пришло из Киева письмо от тещи. «Как вы думаете? — писала она возмущенно. — Что установил профессор Гринблат? Профессор Гринблат установил, что этот негодяй засунул себе в ухо кусок химического карандаша. И ничего больше. Ничего больше, ни единой соринки. Как это вам нравится?»

Каторжная работа

После происшествия с Люсей все ходили умиротворенные, в том настроении внутренней тишины, какое приносит выздоровление от тяжелой болезни. Изя называл это наше состояние «омовением души после трагедии».

Бабель начал много работать. Он теперь выходил из своей комнаты всегда молчаливый и немного грустный.

Я тоже писал, но мало. Мной овладело довольно странное и приятное состояние. Про себя я называл его «жаждой рассматривания». Такое состояние бывало у меня и раньше, но никогда так сильно оно не завладевало почти всем моим временем, как там, на Фонтане.

У Изи отпуск окончился. Он начал работать в «Моряке» и приезжал на дачу только к вечеру. Иногда он ночевал в Одессе. Я был, пожалуй, даже рад этому. Я бы, конечно, стеснялся заниматься при Изе постоянным и медленным разглядыванием того, что окружало меня, и тратить на какой-нибудь пустяк — колючую ветку или створку раковины — целые часы.

Никогда я еще не испытывал такого удоволь-

ствия от соприкосновения с мельчайшими частицами внешнего мира, как в то лето.

Чуть желтеющие от засухи июльские дни сливались в один протяжный успокоительный день. Я часто лежал у себя в саду в скользящей тени акации и рассматривал на земле все то, что попадалось на глаза на расстоянии вытянутой руки.

Но чаще я уходил на берег, подальше от жилья, переплывал на большую скалу метрах в сорока от пляжа и лежал на ней до сумерек. В скале была ниша. В ней можно было наполовину спрятаться от солнца, и до нее не доходила волна. С берега меня никто не мог заметить.

Я брал с собой книгу, но за весь день прочитывал только три-четыре страницы. Мне было некогда читать. Интереснее было ловить бычков или смотреть на старого краба.

Он часто выглядывал из-за выступа скалы и играл со мной в прятки. Как только мы встречались глазами, он тотчас же начинал сердито пятиться в шершавые красноватые водоросли, похожие на еловые ветки. Когда же я делал вид, что не замечаю его, он угрожающе подымал растопыренную клешню и осторожно подбирался ко мне, не спуская глаз с морковки, лежавшей рядом со мной. (Тогда мы питались преимущественно

морковью и помидорами.)

Однажды, когда я зачитался, он успел схватить морковку, упал с ней в воду и исчез, как камень, на дне. Через минуту морковка вынырнула. Краб всплыл вслед за ней и снова пытался ее схватить, но я щелкнул его бамбуковым удилищем по панцирю, и он боком помчался в глубину. Мне даже показалось, что он вскрикнул от испуга. Во всяком случае, он с ужасом оглядывался на меня и вращал глазами.

Краб исчез, но волна принесла к скале сломанную ветку цветущего дрока. Я опустил руку в воду, чтобы взять эту ветку, и удивился: ладонь моя была под водой, но солнце заметно согревало ее, хотя между ладонью и поверхностью моря был слой воды в несколько сантиметров.

Мне трудно передать удивительное ощущение солнечного жара, смягченного морской водой, прикосновения солнечной радиации к моим пальцам, между которыми переливалась зеленоватая упругая вода.

Это было ощущение, очевидно, близкое к счастью. Я не ждал ничего лучшего. Вряд ли окружающий мир мог мне дать что-либо еще более прекрасное, чем это легкое и дружеское его рукопожатие.

Я вытащил ветку дрока, лег плашмя на нагретый камень и положил ветку у самых своих глаз.

На Фонтанах дрок цвел по обрывистым берегам. Но особенно богато он разрастался около дачных оград, сложенных из ноздреватого песчаника. Дрок дружил с этим камнем. Он, очевидно, любил жару. Горячие струйки воздуха вылетали из крошечных пор песчаника и создавали около оград уголки теплого, защищенного пространства.

Там дрок укреплялся и выбрасывал в вышину, как большой дикобраз, свои темно-оливковые стрелы-стволы.

Цветы дрока, рождаясь, тотчас же вбирали в себя, как кусочки нежнейшей мелкопористой губки, золотой цвет солнца.

Они хранили этот цвет, не ослабляя его яркости до поздней осени. Тогда его цветы наконец догорали над обрывами, подобно десяткам крошечных приморских маяков с золотым, далеко видным огнем.

Так постепенно я накапливал наблюдения. Все это были факты внешнего мира, но они быстро становились частицами моей собственной внутренней жизни.

Действительно, они ни на секунду не существовали вне моего сознания. Они тут же обрастали

образами, густо покрывались каплями выдумки, как растение покрывается мельчайшей росой. За этой росой уже не видно самого растения, но все же ясно угадывается его форма.

Как-то мы разговорились об этом с Бабелем.

Мы сидели вечером на каменной ограде над обрывом. Цвел дрок. Бабель рассеянно бросал вниз камешки. Они неслись огромными скачками к морю и щелкали, как пули, по встречным камням.

— Вот вы и другие писатели, — сказал Бабель, хотя тогда я еще не был писателем, — умеете обволакивать жизнь, как вы выразились, росой воображения. Кстати, какая приторная фраза! Но что делать человеку, лишенному воображения? Например, мне.

Он замолчал. Снизу пришел сонный и медленный вздох моря.

— Бог знает, что вы говорите! — возмущаясь, сказал я.

Бабель как будто не расслышал моих слов. Он бросал камешки и долго молчал.

— У меня нет воображения, — упрямо повторил он. — Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею выдумывать. Я должен знать все до последней прожилки, иначе я ничего не смогу

написать. На моем щите вырезан девиз — «подлинность»! Поэтому я так медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое там к черту моцартианство, веселье над рукописью и легкий бег воображения! Я где-то написал, что быстро старею от астмы, от непонятного недуга, заложенного в мое хилое тело еще в детстве. Все это — вранье! Когда я пишу самый маленький рассказ, то все равно работаю над ним, как землекоп, как грабарь, которому в одиночку нужно срыть до основания Казбек. Начиная работу, я всегда думаю, что она мне не по силам. Бывает даже, что я плачу от усталости. У меня от этой работы болят все кровеносные сосуды. Судорога дергает сердце, если не выходит какая-нибудь фраза. А как часто они не выходят, эти проклятые фразы!

— Но у вас же литая проза, — сказал я. — Как вы добиваетесь этого?

— Только стилем, — ответил Бабель и засмеялся, как старик, явно кого-то имитируя, очевидно Москвина. — Хе-хе-хе-с, молодой человек-с! Стилем-с берем, стилем-с! Я готов написать рассказ о стирке белья, и он, может быть, будет звучать как проза Юлия Цезаря. Все дело в языке и стиле. Это я как будто умею делать. Но вы понимаете, что это

же не сущность искусства, а только добротный, пусть даже драгоценный строительный материал для него. «Подкиньте мне парочку идей, — как говорил один одесский журналист, — а я уж постараюсь сделать из них шедевр». Пойдемте, я покажу вам, как это у меня делается. Я скаред, я скупец, но вам, так и быть, покажу.

На даче было уже совсем темно. За садом рокотало, стихая к ночи, море. Прохладный воздух лился снаружи, вытесняя полынную степную духоту. Бабель зажег маленькую лампочку. Глаза его покраснели за стеклами очков (он вечно мучился глазами).

Он достал из стола толстую рукопись, написанную на машинке. В рукописи было не меньше чем сто страниц.

— Знаете, что это?

Я недоумевал. Неужели Бабель написал наконец большую повесть и уберег эту тайну от всех?

Я не мог в это поверить. Все мы знали почти телеграфную краткость его рассказов, сжатых до последнего предела. Мы знали, что рассказ больше чем в десять страниц он считал раздутым и водянистым.

Неужели в этой повести заключено около ста страниц густой бабелевской прозы? Не может

этого быть!

Я посмотрел на первую страницу, увидел название «Любка Казак» и удивился еще больше.

— Позвольте, — сказал я, — я слышал, что «Любка Казак» — это маленький рассказ. Еще не напечатанный. Неужели вы сделали из этого рассказа повесть?

Бабель положил руку на рукопись и смотрел на меня смеющимися глазами. В уголках его глаз собрались тонкие морщинки.

— Да, — ответил он и покраснел от смущения. — Это «Любка Казак». Рассказ. В нем не больше пятнадцати страниц. Но здесь все варианты этого рассказа, включая и последний. А в общем, в рукописи сто страниц.

— Все варианты?! — пробормотал я.

— Слушайте! — сказал Бабель, уже сердясь. — Литература не липа! Вот именно! Несколько вариантов одного и того же рассказа. Какой ужас! Может быть, вы думаете, что это — излишество? А вот я еще не уверен, что последний вариант можно печатать. Кажется, его можно еще сжать. Такой отбор, дорогой мой, и вызывает самостоятельную силу языка и стиля. Языка и стиля! — повторил он. — Я беру пустяк: анекдот, базарный рассказ — и делаю из него вещь, от

которой сам не могу оторваться. Она играет. Она круглая, как морской голыш. Она держится сцеплением отдельных частиц. И сила этого сцепления такова, что ее не разобьет даже молния. Его будут читать, этот рассказ. И будут помнить. Над ним будут смеяться вовсе не потому, что он веселый, а потому, что всегда хочется смеяться при человеческой удаче. Я осмеливаюсь говорить об удаче потому, что здесь, кроме нас, никого нет. Пока я жив, вы никому не разболтаете об этом нашем разговоре. Дайте мне слово. Не моя, конечно, заслуга, что неведомо как в меня, сына мелкого маклера, вселился демон или ангел искусства, называйте как хотите. И я подчиняюсь ему, как раб, как вьючный мул. Я продал ему свою душу и должен писать наилучшим образом. В этом мое счастье или мой крест. Кажется, все-таки крест. Но отберите его у меня — и вместе с ним изо всех моих жил, из моего сердца схлынет вся кровь, и я буду стоить не больше, чем изжеванный окурок. Эта работа делает меня человеком, а не одесским уличным философом.

Он помолчал и сказал с новым приступом горечи:

— У меня нет воображения. У меня только жажда обладать им. Помните, у Блока: «Я вижу берег

очарованный и очарованную даль»[53]. Блок дошел до этого берега, а мне до него не дойти. Я вижу этот берег невыносимо далеко. У меня слишком трезвый ум. Ну спасибо хоть за то, что судьба вложила мне в сердце жажду этой очарованной дали. Я работаю из последних сил, делаю все, что могу, потому что хочу присутствовать на празднике богов и боюсь, чтобы меня не выгнали оттуда.

Слеза блестела за выпуклыми стеклами его очков. Он снял очки и вытер глаза рукавом заштопанного серенького пиджака.

— Я не выбирал себе национальности, — неожиданно сказал он прерывающимся голосом. — Я еврей, жид. Временами мне кажется, что я могу понять все. Но одного я никогда не пойму — причину той черной подлости, которую так скучно зовут антисемитизмом.

Он замолчал. Я тоже молчал и ждал, пока он успокоится и у него перестанут дрожать руки.

— Еще в детстве во время еврейского погрома я уцелел, но моему голубю оторвали голову. Зачем?.. Лишь бы не вошла Евгения Борисовна, — сказал он вполголоса. — Закройте тихонечко

---

[53] Комментарии: 53

«Я вижу берег очарованный…»— Из стихотворения А. Блока «Незнакомка». В оригинале: «И вижу…»

дверь на крючок. Она боится таких разговоров и может плакать потом до утра. Ей кажется, что я очень одинокий человек. А может быть, это и действительно так?

Что я мог ответить ему? Я молчал.

— Так вот, — сказал Бабель, близоруко наклонившись над рукописью. — Я работаю, как мул. Но я не жалуюсь. Я сам выбрал себе это каторжное дело. Я как галерник, прикованный на всю жизнь к веслу и полюбивший это весло. Со всеми его мелочами, даже с каждым тонким, как нитка, слоем древесины, отполированной его собственными ладонями. От многолетнего соприкосновения с человеческой кожей самое грубое дерево приобретает благородный цвет и делается похожим на слоновую кость. Вот так же и наши слова, так же и русский язык. К нему нужно приложить теплую ладонь, и он превращается в живую драгоценность.

Но давайте говорить по порядку. Когда я в первый раз записываю какой-нибудь рассказ, то рукопись у меня выглядит отвратительно, просто ужасно! Это — собрание нескольких более или менее удачных кусков, связанных между собой скучнейшими служебными связями, так называемыми «мостами», своего рода

грязными веревками. Можете прочесть первый вариант «Любки Казак» и убедитесь в том, что это — беспомощное и беззубое вяканье, неумелое нагромождение слов.

Но тут-то и начинается работа. Здесь ее исток. Я проверяю фразу за фразой, и не единожды, а по нескольку раз. Прежде всего я выбрасываю из фразы все лишние слова. Нужен острый глаз, потому что язык ловко прячет свой мусор, повторения, синонимы, просто бессмыслицы и все время как будто старается нас перехитрить.

Когда эта работа окончена, я переписываю рукопись на машинке (так виднее текст). Потом я даю ей два-три дня полежать — если у меня хватит на это терпения — и снова проверяю фразу за фразой, слово за словом. И обязательно нахожу еще какое-то количество пропущенной лебеды и крапивы. Так, каждый раз наново переписывая текст, я работаю до тех пор, пока при самой зверской придирчивости не могу уже увидеть в рукописи ни одной крупинки грязи.

Но это еще не все. Погодите! Когда мусор выброшен, я проверяю свежесть и точность всех образов, сравнений, метафор. Если нет точного сравнения, то лучше не брать никакого. Пусть существительное живет само в своей простоте.

Сравнение должно быть точным, как логарифмическая линейка, и естественным, как запах укропа. Да, я забыл, что, прежде чем выбрасывать словесный мусор, я разбиваю текст на легкие фразы. Побольше точек! Это правило я вписал бы в правительственный закон для писателей. Каждая фраза — одна мысль, один образ, не больше. Поэтому не бойтесь точек. Я пишу, может быть, слишком короткой фразой. Отчасти потому, что у меня застарелая астма. Я не могу говорить длинно. У меня на это не хватает дыхания. Чем больше длинных фраз, тем тяжелее одышка.

Я стараюсь изгнать из рукописи причастия и деепричастия и оставляю только самые необходимые. Причастия делают речь угловатой, громоздкой и разрушают мелодию языка. Они скрежещут, как будто танки переваливают на своих гусеницах через каменный завал. Три причастия в одной фразе — это убиение языка. Все эти «преподносящий», «добывающий», «сосредоточивающийся» и так далее и тому подобное. Деепричастие все же легче, чем причастие. Иногда оно сообщает языку даже некоторую крылатость. Но злоупотребление им делает язык бескостным, мяукающим. Я считаю, что существительное требует только одного прилагательного, самого

отобранного. Два прилагательных к одному существительному может позволить себе только гений.

Все абзацы и вся пунктуация должны быть сделаны правильно, но с точки зрения наибольшего воздействия текста на читателя, а не по мертвому катехизису. Особенно великолепен абзац. Он позволяет спокойно менять ритмы и часто, как вспышка молнии, открывает знакомое нам зрелище в совершенно неожиданном виде. Есть хорошие писатели, но они расставляют абзацы и знаки препинания кое-как. Поэтому, несмотря на высокое качество их прозы, на ней лежит муть спешки и небрежности. Такая проза бывала у самого Куприна[54].

Линия в прозе должна быть проведена твердо и чисто, как на гравюре.

Вас запугали варианты «Любки Казак». Все эти варианты — прополка, вытягивание рассказа в одну нитку. И вот получается так, что между первым и последним вариантами такая же разница, как между засаленной оберточной бумагой и «Первой весной» Боттичелли.

— Действительно каторжная работа, — сказал

[54] Комментарии: 54

Куприн Александр Иванович (1870–1938) — русский писатель. После 1917 г. — в эмиграции, в 1937 г. вернулся в СССР.

я. — Двадцать раз подумаешь, прежде чем решишься стать писателем.

— А главное, — сказал Бабель, — заключается в том, чтобы во время этой каторжной работы не умертвить текст. Иначе вся работа пойдет насмарку, превратится черт знает во что! Тут нужно ходить как по канату. Да, так вот… — добавил он и помолчал. — Следовало бы со всех нас взять клятву. В том, что никто никогда не замарает свое дело.

Я ушел, но до утра не мог заснуть. Я лежал на террасе и смотрел, как какая-то сиреневая планета, пробив нежнейшим светом неизмеримое пространство неба, пыталась, то разгораясь, то угасая, приблизиться к земле. Но это ей так и не удалось.

Ночь была огромна и неизмерима своим мраком. Я знал, что в такую ночь глухо светились моря и где-то далеко за горизонтом отсвечивали вершины гор. Они остывали. Они напрасно отдали свое дневное тепло мировому пространству. Лучше бы они отдали его цветку вербены. Он закрыл в эту ночь свое лицо лепестками, как ладонями, чтобы спасти его от предрассветного холода.

Утром приехал из Одессы Изя Лившиц. Он при-

езжал всегда по вечерам, и этот ранний приезд меня удивил.

Не глядя мне в глаза, он сказал, что четыре дня назад, 7 августа, в Петрограде умер Александр Блок.

Изя отвернулся от меня и, поперхнувшись, попросил:

— Пойдите к Исааку Эммануиловичу и скажите ему об этом… я не могу.

Я чувствовал, как сердце колотится и рвется в груди и кровь отливает от головы. Но я все же пошел к Бабелю.

Там на террасе слышался спокойный звон чайных ложечек.

Я постоял у калитки, услышал, как Бабель чему-то засмеялся, и, прячась за оградой, чтобы меня не заметили с террасы, пошел обратно к себе на разрушенную дачу. Я тоже не мог сказать Бабелю о смерти Блока.

Близкий и далекий

Я видел, как ты сошел в тесное жилище, где нет даже снов. И все же я не могу поверить этому.

Делакруа

На побережье долго стояли молчаливые дни. Литое море тяжело лежало у порога красных сарматских глин. Берега пряно и пыльно пахли давно перезревшей и осыпавшейся лебедой. Изя Лившиц вспоминал стихи Блока:

Тишина умирающих злаков —
Это светлая в мире пора...[55]

В те дни мы без конца говорили о Блоке. Как-то к вечеру приехал из города Багрицкий. Он остался у нас ночевать и почти всю ночь читал Блока. Мы с Изей молча лежали на темной террасе. Ночной ветер потрескивал в ссохшихся листьях винограда.

Багрицкий сидел, поджав по-турецки ноги, на старом и плоском, как лепешка, тюфяке. У него

---

[55] Комментарии: 55

«Тишина умирающих злаков...»— Из стихотворения А. Блока «Пляски осенние».

начинался приступ астмы. Он задыхался и курил астматол. От этого зеленоватого порошка пахло горелым сеном.

Багрицкий дышал с таким напряжением, будто всасывал воздух через соломинку. Воздух свистел, гремел и клокотал в его больных бронхах.

Во время астмы Багрицкому нельзя было разговаривать. Но ему хотелось читать Блока, несмотря на стиснутое болезнью горло. И мы не отговаривали его.

Багрицкий долго успокаивал самого себя и бормотал: «Сейчас пройдет. Сейчас! Только не разговаривайте со мной». Потом он все же начал читать, и случилось нечто вроде желанного чуда: от ритма стихов одышка у Багрицкого начала постепенно утихать, и сквозь нее все яснее и крепче проступал его мужественный и романтический голос.

Читал он самые известные вещи, и мы были благодарны ему за это.

Тяжкий, плотный занавес у входа,
За ночным окном — туман.
Что теперь твоя постылая свобода,

Страх познавший Дон-Жуан?[56]

И стихи и этот голос Багрицкого почему-то казались мне непоправимо трагическими. Я с трудом сдерживал слезы.

Снова вернулась тишина, тьма, непонятное мерцание звезд, и опять из угла террасы послышался торжественный напев знакомых стихов:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо.

Всё в облике одном предчувствую тебя.

Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,

И молча жду, тоскуя и любя[57].

Так прошла вся ночь напролет. Багрицкий читал, почти пел стихи о России, «Скифы», Равенну, что спит «у сонной вечности в руках». Только ближе к рассвету он уснул. Он спал сидя, прислонившись к стенке террасы, и тяжело стонал в невыразимо утомительном сне.

Лицо у него высохло, похудело, на беловато-ли-

---

[56] Комментарии: 56

«Тяжкий, плотный занавес у входа...» — Из стихотворения А. Блока «Шаги командора».

[57] Комментарии: 57

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо...»— Первая строфа стихотворения А. Блока без названия.

ловых губах как будто запеклась твердая корочка полынного сока, и весь он стал похож на большую всклокоченную птицу.

Через несколько лет в Москве я вспомнил эту белую корочку на губах Багрицкого. Я шел за его гробом. Позади цокал копытами по булыжнику кавалерийский эскадрон.

Больной, тяжело дышащий Самуил Яковлевич Маршак медленно шел рядом, доверчиво опираясь на мое тогда еще молодое плечо, и говорил:

— Вы понимаете? «Копытом и камнем… испытаны годы… бессмертной полынью… пропитаны воды, — и горечь полыни… на наших губах…»[58] Как это… великолепно!

Пыльное небо висело над скучной и душной Якиманкой. Во дворах кричали дети, играя в «палочку-выручалочку». Оркестр вполголоса заиграл траурный марш. Кавалерийские лошади, послушные звукам музыки, начали медленнее перебирать ногами.

А в то далекое утро в 1921 году Багрицкий уехал в Одессу первой же конкой, даже не напившись чаю и не заходя к Бабелю. Ему нездоровилось. Он тяжело кашлял, свистел бронхами и молчал.

---

[58] Комментарии: 58

«Копытом и камнем…»— Из стихотворения Э. Багрицкого «От черного хлеба и верной жены…».

Очевидно, ночью он натрудил себе легкие.

Мы с Изей проводили Багрицкого до конки и зашли к Бабелю. Как всегда, во время несчастий нас тянуло на люди.

Бабель писал в своей комнате. Он тотчас отодвинул рукопись и положил на нее тяжелый серый голыш.

Изредка в комнату залетал вкрадчивый морской ветер, и тогда все вокруг, что могло легко двигаться: занавески на окнах, листки бумаги, цветы в стакане, — начинало биться, как маленькая птица, запутавшись в силке.

— Ну что ж, сироты, — с горечью сказал Бабель, — что же теперь мы будем делать? Второго Блока мы не дождемся, живи мы хоть двести лет.

— Вы видели его? — спросил я Бабеля.

Я ждал, что Бабель ответит «нет», и тогда мне станет легче. Я был лишен чувства зависти. Но всем, кто видел и слышал Блока, я завидовал тяжело и долго.

— Да, видел, — сказал Бабель. — И даже был у него на квартире на углу Пряжки и Офицерской улицы.

— Какой он?

— Совсем не такой, как вы себе представляете.

— Откуда вы знаете, что я о нем думаю?

— Потому, что я думал наверняка так же, как и вы. Пока его не увидел. Он вовсе не падший ангел. И не воплощение изысканных чувств и размышлений. Это седеющий, молчаливый, сильный, хотя и усталый, человек. Он очень воспитан и поэтому не угнетает собеседника своей угрюмостью и своими познаниями. Мы разговаривали с ним сначала в столовой и сидели друг против друга на гнутых венских стульях. Такие стулья нагоняют зевоту. Комната была унылая, совсем непохожая на жилище светлого рыцаря в снежной маске. А в кабинете его вовсе не пахло нильскими лилиями и опьяняющим черным шелком женских платьев. Пахло только книжной пылью. Обыкновенная квартира в обыкновеннейшем доме. Ну вот! У вас уже вытянулись лица. Вы уже недовольны и будете потом говорить, что я скептик, циник и у меня ничего не горит на сердце. И еще обвините меня в том, что я вижу только серую загрунтовку, которая лезет из-под великолепных красок. А самих красок я не замечаю. Все это у вас розовый гимназический бред! Красота духа, такая, как у Блока, обойдется и без золоченых рам. И без рыданий органа, и без всяческих благовоний. Блок был по натуре пророком. У него в глазах была даже пророческая твердость. Он видел ро-

ковую судьбу старого мира. Семена гибели уже прорастали. Ночь затягивалась, и казалось, что ей не будет конца. Поэтому даже неуютный, резкий свет нового революционного утра он приветствовал как избавление. Он принял революцию в свой поэтический мир и написал «Двенадцать». И он был, конечно, провидец. И в своих видениях, и в той потрясающей музыке, какую он слышал в русской речи.

Он умел переносить увиденное из одной плоскости жизни совсем в другую. Там оно приобретало для нас, полуслепых людей, неожиданные качества. Мы с вами видим цветы, скажем — розы, в разгар лета в скверах, в садах, но Блоку этого мало. Он хочет зажечь на земле новые, небывалые розы. И он делает это:

И розы, осенние розы
Мне снятся на каждом шагу
Сквозь мглу, и огни, и морозы
На белом, на легком снегу…[59]

Вот вы жалеете, что не видели Блока. Это понятно. А я, если бы у меня было даже самое

---

[59] Комментарии: 59

«И розы, осенние розы…»— Из стихотворения А. Блока «Пойми же, я спутал, я спутал…».

ничтожное воображение, то пытался бы представить себе с конкретностью, какая только возможна, все, что сказал Блок хотя бы в этих четырех строчках. Представить себе ясно, точно, и тогда мир обернулся бы одной из своих скрытых и замечательных сторон. И в этом мире жил бы и пел свои стихи удивительный человек, какие рождаются раз в столетие. Он берет нас, ничтожных и искалеченных «правильной» жизнью, за руку и выводит на песчаные дюны над северным морем, где — помните? — «закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок»[60] и «руки одна заря закинула к другой»[61]. Там такая чистота воздуха, что отдаленный красный бакен — грубое и примитивное сооружение — горит в сумерках, как «драгоценный камень фероньеры»[62].

Я подивился хорошей памяти Бабеля: он всегда читал стихи на память и почти не ошибался.

— Вот, — сказал Бабель, подумав, — Блок знал дороги в область прекрасного. Он, конечно,

---

[60] Комментарии: 60

…«закат из неба сотворил глубокий многоцветный кубок…»— Из стихотворения А. Блока «В северном море».

[61] Комментарии: 61

…«руки одна заря закинула к другой…»— Оттуда же.

[62] Комментарии: 62

«драгоценный камень фероньеры». — Оттуда же. *Фероньера*— женское украшение для волос.

гигант! Он один отзовется в сердце таким великолепным звоном, как тысячи арф. А между тем большинство людей придает какое-то значение тому, что в столовой у него стояли гнутые стулья и что во время мировой войны он был «земгусаром». Люди с охотой бегут на смрадный огонек предрассудков и невежественного осуждения.

Я впервые слышал от Бабеля такое сравнение, как «звон тысячи арф». Бабель был суров, даже застенчив в выборе разговорных слов. От всего цветистого в обыденном языке и блестящего, как золотая канитель, он досадливо морщился и краснел. Может быть, поэтому каждое слово из ряда так называемых приподнятых в его устах теряло искусственность и «било» наверняка. Но произносил он такие слова чрезвычайно редко, а сказав, тотчас спохватывался и начинал высмеивать самого себя. Этим своим свойством он иногда раздражал окружающих. В частности, Изя Лившиц не выносил этих подчас цинических нападений Бабеля на самого себя. И у меня тоже все столкновения с Бабелем — правда, довольно редкие — происходили из-за его глумления над собой и наигранного цинизма.

Но свой «звон тысячи арф» Бабель не высмеял. Я догадался из отрывистых его высказываний,

что иногда он читал Блока наедине, по ночам, для самого себя. Тогда он сбрасывал маску.

Окончательно выдал Бабеля Багрицкий, любивший иногда с совершенно детским простодушием повторять чужие слова, если они ему нравились. Однажды, когда мы говорили о Блоке, Багрицкий откашлялся и не совсем уверенно произнес:

— Вы понимаете, мелодия только на арфах в унисон с глухим голосом поэта. Такой голос был у Блока. Я мог бы под звуки арф читать по-разному все его стихи. Честное слово! Я вытягивал бы, как тянут золотую нитку из спутанного разноцветного клубка, напев каждого стиха. Люди слушали бы и забывали, что есть время, жизнь и смерть, движение вселенной и бой собственных сердец. Какой-то чувствительный немецкий виршеплет, склонный к поэтическому насморку, написал-таки неплохие стишки. Я забыл, как его звали, этого многообещающего юношу. Стихи о том, что прекрасные звуки заключены внутри каждого человеческого слова. И звуки эти подчиняются только воле великих поэтов и музыкантов. Они одни умеют извлекать их из тугой сердцевины слова.

— Эдя, — сказал Изя Лившиц, — не повторяй и не искажай Бабеля. Я слышу дикую путаницу

из его речей.

— Я так думаю сам, — скромно ответил Багрицкий.

— Да? — притворно удивился Изя. — С каких это пор ты стал такой красноречивый?

— Отстань! — рассердился Багрицкий. — Довольно с меня мальчиков с иронией и отроков, умных, как белые крысы. Дайте мне, наконец, дыхать, черт побери! Что вы все бегаете за мной и стараетесь доказать мне самому, что я не такой умный, как вам хочется!

Мне удалось потушить ссору, но Багрицкий еще долго ворчал на «интеллигентных выкрестов» и «вундеркиндов с Привоза».

Он был обижен тем, что Изя не понял всей прелести начатого разговора и влез в него, как скучный черт из сказки.

Багрицкий жестоко оскорблялся недостаточно уважительным отношением к поэзии. Из-за этого он иногда вступал даже в драки.

Вообще одесская литературная молодежь, кроме Бабеля и нескольких поэтесс, отличалась задиристостью. Иногда она пыталась решать литературные споры, даже такие отвлеченные,

как спор о дольнике[63] или александрийском стихе[64], тумаками, а то и хлесткими оплеухами.

[63] Комментарии: 63

Дольник— условный термин, которым обозначается вид стиха, основанный на соизмеримости ритмических групп неравного слогового состава.

[64] Комментарии: 64

Александрийский стих (от старофранцузской поэмы об Александре Македонском) — французский 12-сложный стих или русский 6-стопный ямб (с цезурой после шестого слога) с парной рифмовкой. Основной размер крупных жанров в литературе классицизма.

Скандал с благородной целью

В городе появились афиши цвета жидкого помидорного сока. Они сообщали, что на днях на Пушкинской улице в каком-то пустующем зале состоится феерический вечер всех одесских поэтов.

Наискось через всю афишу большими буквами была оттиснута черная надпись:

«В КОНЦЕ ВЕЧЕРА БУДУТ БИТЬ ПОЭТА ГЕОРГИЯ ШЕНГЕЛИ!»

Внизу в скобках кто-то чернилами приписал:

«Если он осмелится прийти».

Билеты на этот вечер стоили дорого. Их распродали в течение трех часов.

Изя предполагал, что надпись на афише об избиении была напечатана с ведома и согласия самого Шенгели.

Поэт Георгий Аркадьевич Шенгели был добрый человек, но с несколько экзотической внешностью. Я никак не мог понять ту легкую неприязнь, с какой относились к нему некоторые одесские поэты. На мои расспросы Багрицкий отвечал невразумительно. В конце концов я пришел

к мысли, что вражда к Шенгели была просто литературной игрой. Она вносила добавочное оживление в поэтическую жизнь Одессы.

Шенгели, по-моему, охотно участвовал в этой игре и больше изображал из себя спокойного, как истый римлянин, противника, чем был им на самом деле.

Тонкое лицо Шенгели во время схваток с одесскими поэтами бледнело и казалось выточенным из мрамора. Изя говорил, что бюст Шенгели был бы украшением римского Форума[65].

— Или, может быть, Пантеона?[66] — неуверенно спрашивал он меня, и в глазах его появлялась тревога.

Шенгели был высок, глаза его по-юношески сверкали. Он ходил по Одессе в тропическом пробковом шлеме и босиком. При этих внешних качествах Шенгели обладал эрудицией, писал изысканные стихи, переводил французских поэтов и был человеком, расположенным к людям и воспитанным.

---

[65] Комментарии: 65

Форум— в Древнем Риме площадь, рынок — место, ставшее центром политической жизни.

[66] Комментарии: 66

Пантеон— в Древнем Риме «Храм всех богов», усыпальница выдающихся людей.

Эти свойства Шенгели делали его чужаком для многих одесских поэтов — юношей нарочито развязных, гордившихся тем, что они не заражены никакими «штучками», в особенности такими смертными грехами, как чрезмерная интеллигентность и терпимость.

Я впервые увидел Шенгели в Москве в начале мировой войны на поэзо-концерте Игоря Северянина. Он читал свои стихи в перерывах между чтением самого Северянина. То были стихи о его родной щебенчатой Керчи, о древнейшей земле, где «в глине одичалой спят сарматы, скифы, гунны, венды, — и неоглядные легенды неувядаемо томят».

Несу в себе дыхание приливов,
И кровь моя, как некогда, нагрета
Одною с южным морем теплотой...[67]

Мне всегда казалось, что я мог бы с таким же увлечением, как и писательством, заниматься некоторыми другими вещами: мореплаванием, археологией или вторичным географическим открытием давно открытых земель.

---

[67] Комментарии: 67

«Несу в себе дыхание приливов...»— Из стихотворения Г. Шенгели «Закрыв глаза, пересекаю берег...».

Археология была наукой о древности. Древность с детства была воплощена для меня в беге ветра над ковылем, в спекшихся от зноя, старых обезлюдевших землях, куда тот же ветер нет-нет да и донесет свежесть близкого взморья, в разбитом изразце, изготовленном худыми сизыми пальцами иранского гончара, наконец, в черной глиняной трубке в виде носа ахейского корабля, потерянной запорожцем вблизи соленых озер Перекопа. Всегда меня привлекал цвет древних земель — ржавый, рудой, суровый.

Такими я всегда представлял себе старые области земли. Когда я впервые увидел эти области, то был радостно поражен тем, что красок, свидетельствующих о баснословном возрасте Земли, было гораздо больше, чем я предполагал.

В этом я окончательно убедился, когда попал на архипелаг, в Грецию и Италию. Там ржавая земля издалека проступала сквозь индиговый воздух утренних далей или сквозь величавую и мутную медь вечеров. Древность облекалась во множество красок и оттенков, соединявших киноварь скал с оливковой листвой и темное золото заката с воздухом лилового ионического вечера.

Скупые и резкие краски древности больше соответствуют югу, чем северу. Там они заметнее.

Там они чаще встречаются.

Где-нибудь в Риме вы заметите из окна отеля, как по свежим газонам сыплется искусственный дождь из вращающихся никелированных трубок, и тут же увидите стариннейшую землю совсем рядом, хотя бы на мощной арене Колизея.

Он кажется столь же старым, как небо над Римом, над близкими Апеннинами, над перегорелой в цементный прах Калабрией.

Калабрия дымится зноем, как исполинский пожар во время безветрия. Ее берега пахнут кремнем, из которого только что высекли искру. И если бы не густое, фиолетовое, свежее пространство морской воды, омывающей эту сухую страну, то вид ее вызывал бы у нас содрогание, как преддверие ада.

По существу, чувство древности ничем не отличается от чувства вечности, от чувства эпох, уже пронесшихся над землей, и чувств будущего. Как бы там ни было, но человек не перестанет размышлять и видеть в своем воображении развороты и прошлых и будущих времен. Чувство времени с особой остротой возникает почему-то на морских побережьях.

Я отвлекся от постепенности повествования, но сейчас, пожалуй, можно сделать отступление

и сказать несколько слов о том, что являет собой ощущение моря и морских побережий.

Море можно увидеть с палубы океанского корабля и с низкой палубы рыбачьей шаланды.

С палубы шаланды вы не только увидите море вблизи, но можете даже услышать совсем рядом крепкий запах морской воды как раз в то время, когда шаланда будет проходить мимо подводных камней. Они на мгновение обнажатся от перекатившей через них воды и откроют косматую мокрую шкуру из густых водорослей.

И вот в это мгновение — от волны до волны — водоросли выдохнут резкий запах, и вы сможете набрать его полные легкие — до головокружения, до темноты в глазах.

С высоких палуб лайнеров запаха моря не слышно. Его заглушают запахи горячего машинного масла, табака и ароматической жидкости для уборных.

Подлинное ощущение моря существует там, где морские запахи окрепли на длительной и чистой жаре. К примеру, в Ялте этих запахов почти нет. Там прибой пахнет размякшими окурками и мандариновыми корками, а не раскаленными каменными молами, старыми канатами, чабрецом, ржавыми минами образца 1912 года, валяю-

щимися на берегу, пристанскими настилами, поседевшими от соли, и розовыми рыбачьими сетями.

Так морем пахнет только в таких портах, как Керчь, Новороссийск, Феодосия, Мариуполь или Скадовск.

Есть курортные побережья, застроенные голубыми киосками для мороженого, заставленные гипсовыми статуями спортсменок и пионеров, переполненные тюбетейками, сандалетами, полосатыми пижамами и мохнатыми полотенцами. И есть берега, сожженные тысячелетним солнцем — отблеском огромных южных вод, горячими токами воздуха — чистейшего в мире.

От такого солнца и воздуха берега приобретают суровый цвет — охристый, пепельный и сизоватый, как окалина, — цвет незапамятных времен, цвет вечности. И на эти ржавые берега, на обнаженную, окаменелую глину равномерно набегают из столетия в столетие неисчислимые волны.

Запахов, шумов и красок настоящего моря великое множество. Если бы у меня было время и если бы мной не владела ложная боязнь нарушить равновесие прозы, то я охотно расширил бы это внезапное отступление до размеров книги.

Я должен признаться, что могу с таким же увлечением читать путеводитель по Греции, «Письма из Испании» Боткина[68] и дневники Миклухо-Маклая, как и пересыпать в ладонях морской песок, отдыхая при этом всем существом и чувствуя, как ветер время от времени ласково похлопывает меня своими прохладными, сырыми ладонями по щекам. Он как бы радуется, что на пустынном пляже — вплоть до туманно-синеватых мысов, как бы сосущих на горизонте, как медведи, морскую воду, — нет ни одного человека, кроме меня.

Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест — необъятно старый — слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте.

Мы с трудом прорвались с Изей и Яшей Лифшицем в зал на вечер поэтов. Там среди неистового шума, смеха и легкого свиста поэт Чечерин кричал грубым басом свои стихи.

Шум немного стих, когда на сцену вышел поэт Владимир Нарбут — сухорукий человек с умным,

---

[68] Комментарии: 68

Боткин Василий Петрович (1811/12—1869) — русский писатель. В молодости член кружка Н. В. Станкевича, друг В. Г. Белинского, А. И. Герцена. После 1855 г. сторонник теории «искусства для искусства». «Письма об Испании» написаны в 1847–1849 гг.

желчным лицом. Я увлекался его великолепными стихами, но еще ни разу не видел его.

Не обращая внимания на кипящую аудиторию, Нарбут начал читать свои стихи угрожающим, безжалостным голосом. Читал он с украинским акцентом.

А я трухлявая колода,
Годами выветренный гроб…

Стихи его производили впечатление чего-то зловещего. Но неожиданно в эти угрюмые строчки вдруг врывалась щемящая и невообразимая нежность:

Мне хочется про вас, про вас, про вас
Бессонными стихами говорить[69].

Нарбут читал, и в зале установилась глубокая тишина.

На эстраде, набитой до отказа молодыми людьми и девицами, краснела феска Валентина Катаева.

Эстрада подозрительно потрескивала, даже покачивалась и, очевидно, собиралась обрушиться.

— Неужели это всё поэты? — спросил Яша Лиф-

[69] Комментарии: 69

«Мне хочется про вас, про вас, про вас…»— строки из стихотворения В. Нарбута «Большевик». В оригинале: «о вас».

шиц. У него была склонность задавать наивные вопросы. — Тут их хватит на целое государство среднего европейского размера.

Шенгели сидел около эстрады на кухонной табуретке и держал на коленях пробковый шлем. Так, должно быть, держали свои погнутые в боях медные каски, попав в сенат, запыленные и загорелые римские легионеры.

— Слава богу, — вздохнул с облегчением Изя, — он пришел. Скандал обеспечен.

После Нарбута Катаев хрипло и недовольно прочел свои стихи о слепых рыбах. Дело в том, что рыбаки с Санжейки и Большого Фонтана иногда вылавливали в море слепых дунайских рыб. Рыбы слепли, попав из пресной воды в соленую. Стихи понравились, но не вызвали оваций. Ждали скандала и, очевидно, берегли для него силы.

Кирсанов[70] — тогда еще безусый мальчик, очень задиристый и крикливый, — все время вскакивал и безо всякой связи с тем, что происходило на эстраде, что-то вызывающе кричал Шенгели. Но Шенгели сидел непоколебимо. Кирсанова это, очевидно, возмущало, и он снова вскакивал и кричал в сторону Шенгели что-то

---

[70] Комментарии: 70

Кирсанов Семен Исаакович (1906–1972) — русский советский поэт.

явно оскорбительное.

Позади Кирсанова сидел толстый юноша с заспанным лицом. Он каждый раз дергал Кирсанова сзади за куртку и силой заставлял его сесть. Куртка трещала. Кирсанов отругивался и садился, чтобы через минуту снова вскочить.

Вместе с Кирсановым шумело еще несколько мальчиков.

Скандал никак не разгорался. Бесплодное ожидание его вызвало у публики досаду. Она начала недовольно шуметь.

— Я не понимаю, зачем они так ненатурально кипятятся, эти поэты? — спросил Яша Лифшиц. — Что происходит? Выборы короля поэтов? Или раздача Нобелевских премий? Чего они хотят?

Изя, бывший в курсе поэтических схваток, ничего не ответил.

А потом на вечере возникли неожиданные события. Они вконец запутали публику.

Какая-то актриса, подвывая, начала читать стихи Мирры Лохвицкой. Надо признаться, что это было придумано неудачно. Чтение было встречено недовольным гулом. Но очень скоро гул этот перешел в гневный рев.

— К черту бисерные стишки!

— К дьяволу гибкий стан Мирры Лохвицкой!

— Прочтите лучше «Дышала ночь восторгом сладострастья»![71]

Актриса — пегая блондинка с висевшими, как плети, голубоватыми руками — схватилась за край стола и театрально зарыдала.

Тогда вскочил Шенгели. Старинное рыцарство забушевало в нем. Толпа поэтов с их растрепанными подругами посмела оскорбить ни в чем не повинную женщину! Позор! Шенгели крикнул в зал несколько оскорбительных слов.

Тотчас вскочил Багрицкий. Я был уверен, что он обрушится на своего недруга Шенгели, но Багрицкий обернулся к публике и сделал бурное движение, будто хотел нанести всей этой толпе страшный нокаутирующий удар. Он сильно замахнулся правой рукой, дико вскрикнул, потерял сознание и рухнул на пол.

Зал бушевал в смятении. Трудно было сообразить, что произошло. Вызвали «скорую помощь». Нарбут, не дрогнув ни одним мускулом на лице, закрыл вечер.

У выхода завертелись людские водовороты около спорящих с пеной у рта и наскакивающих друг

---

[71] Комментарии: 71

«Дышала ночь восторгом сладострастья...»— Из популярного городского романса В. Мазуркевича «Письмо», музыку к которому писали разные композиторы XIX в.

на друга юношей и девушек. Поощрительные выкрики и оскорбления носились как теннисные мячи, из конца в конец взъерошенного зала.

Санитары раздвинули толпу и провели к машине белого от боли Багрицкого. Он уже пришел в себя и сказал нам, криво улыбаясь:

— Я, кажется, сломал себе руку в плече. Или вывихнул… Эти сопляки не сумели даже устроить скандала.

Его увели. Мы с Яшей Лифшицем прорвались через толпу поэтов и их приверженцев и вышли на просторную Пушкинскую улицу.

— Что, собственно говоря, произошло? — снова спросил Яша. — Бедлам? Кабак? Или просто мальчишество? Да еще в такое трудное время! Глупо!

Он был возмущен. Мы увидели Изю и окликнули его. Вид у него был удрученный.

— Драка не вышла, — сказал он растерянно. — Не надо было им затевать эту галиматью и хвастаться, что они действительно будут бить Шенгели. Наше счастье, что публика не догадалась потребовать деньги обратно.

— В чем же дело, Изя? — спросил я его.

Тогда Изя рассказал по секрету, что вечер был устроен для помощи беспризорным. Этой помощью в то время ведала особая Детская комиссия

при ВЦИКе. Ее уполномоченный договорился с одесскими поэтами об этом вечере. Было решено, чтобы обеспечить полный сбор, устроить какую-нибудь сенсацию. Долго ломали голову над тем, что бы такое придумать позабористей.

Кто-то из поэтов предложил разыграть литературный скандал с избиением Шенгели. Это показалось новым и оригинальным.

Шенгели охотно согласился стать героем скандала со столь благородной целью.

Скандала не получилось потому, что далеко не все поэты были посвящены в этот замысел. Но все равно билеты были раскуплены нарасхват, и уполномоченный Деткомиссии пребывал в полном восторге. Он даже мечтал повторить такой вечер.

На Гаванной улице был открыт игорный дом. Вся выручка от этого дома тоже шла на помощь беспризорным.

В доме играли в особого рода рулетку — игрушечные бега — «Пти шво».

Я как-то зашел туда вместе с Торелли. Табачный дым провисал как слоистое небо. Остатки светлого пива в мутных кружках настаивались на раскисших окурках. Бледные юноши в морских фуражках-капитанках играли зловеще и молча.

Крупье — старик с пробитым в скудных сединах английским пробором — говорил как заводной, не делая пауз, жестяным голосом:

— Игра сделана! Ставок больше нет! Гражданин, уберите вашу пятерню со стола. Она мне определенно мешает. Уберите! Пока не поздно. И не позволяйте себе нецензурных изречений. Вы в заведении, а не в бордели. Граждане играющие! Я прекращаю игру, пока этот урка не уберется отсюда. Воздействуйте на него словами! Или я вызову милицию. Всё! Кончено! Игры не будет! Забирайте ваши ставки обратно! Казино закрывается!

Тогда вставал какой-нибудь здоровенный парнюга в клетчатой «мальчиковой» кепочке и мохнатом кашне, с папироской во рту, подходил к уркану, молча хватал его за грудь, срывал со стула (при этом стул обязательно с грохотом падал), толкал к двери на вытянутой руке и вышвыривал на улицу. Над дверью каждый раз испуганно вскрикивал сохранившийся еще с дореволюционных лет колокольчик. Во время всей этой сцены было слышно только тяжелое двойное сопение — парнюги и уркана.

Парнюга возвращался к столу. Крупье говорил ему:

— Мерси боку, молодой человек! Ценю ваше

мужество. Игра продолжается. Ставьте смелее. Чем дальше будете думать, тем вернее собьете с толку свою счастливую судьбу-индейку. Или копейку? Как это там у вас говорится?

А вышвырнутый стоял на тротуаре, хватал за руку входивших в казино и проникновенно говорил им:

— Наплюйте мне в очи, пусть я буду подлюгой, если я не кокну того Юрку с Арбузной гавани, а этому крапчатому крупье не разобью сопатку! Куда вы?! Я вас прошу, молодой человек, быть моим свидетелем. Ах, вам некогда? А я вас все-таки покорнейше прошу-у!

При этом он расстегивал пиджак и начинал угрожающе наваливаться на прохожего могучей хрипящей грудью.

— Дайте тогда хоть пять тысяч, — говорил он пьяным, доверительным шепотом. — Я сделаю из них миллион. Половина ваша. Не доводите человека до крайности.

Отвязаться от него было трудно. Все предпочитали от него откупиться.

Мы с Торелли тоже откупились от него. Оставшиеся у нас деньги мы проиграли с одного раза. При этом крупье, морщась от злого дыма цигарки, холодно сказал:

— Не вижу с вашей стороны риска. Макаронная работа, пижоны!

Мы ушли оскорбленные. Потом я несколько раз заходил в казино, но не играл. Я следил за крупье. Меня интересовало в нем органическое слияние наглой вежливости, презрения к людям и невероятной грубости. Я хотел узнать, кем был этот старик в прошлом. Торелли рассказал мне, что это бывший оперный бас. Однажды Торелли даже слышал его в роли Мефистофеля.

Замедленное время

В августе я получил отпуск в «Моряке» и решил провести его в Овидиополе.

Степной этот городок на берегу Днестровского лимана, погруженный в захолустную летаргию, считался местом ссылки и смерти великого римского поэта Овидия[72] Назона. За это городок и был назван Овидиополем.

На самом же деле Овидий умер гораздо южнее, около устья Дуная, в поселке римских каторжан. Перед смертью он жаловался на скифский холод и бурное и угрюмое Черное море.

Я не понимал, как Овидий мог считать Черное море угрюмым. Это было одно из самых ярких и веселых морей. И о каком скифском холоде можно говорить в тех местах, где снег выпадал не каждую зиму? А если и выпадал, то лежал всего несколько дней, потом таял, и оттаявшая земля слабо пахла весной.

В тот 1921 год осень стояла перегоревшая и высушенная до сердцевины. Идти пешком до

---

[72] Комментарии: 72

Овидий Назон (Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э. — ок. 18 г. н. э.) — римский поэт

Овидиополя было трудно — не столько от жары, сколько от косматой пыли. Она носилась шумящими смерчами по шляхам. От этой несмываемой пыли люди сразу же делались бурыми, как кафры.

Поэтому я не пошел к Днестровскому лиману, а решил идти вдоль морского берега по заброшенным Фонтанам до последней станции трамвая. Эта станция называлась «Дача Ковалевского». По своей привычке никогда не ездить вслепую я достал книгу «Старая Одесса» и прочел в ней все, что относилось к даче Ковалевского.

Делал я это из тех соображений, что даже небольшое предварительное знание тех мест, где мы собираемся жить, заставляет нас относиться к ним гораздо внимательнее, чем если бы ничего о них не знали.

В «Старой Одессе» я вычитал, что некогда одесский одинокий богач Ковалевский купил кусок сухой прибрежной степи, построил над морем дом и рядом с ним — высокую круглую башню, похожую на маяк. У башни этой не было никакого назначения. Ковалевский построил ее, как говорят дети, «просто так», из прихоти. Он несколько раз пил на верхней площадке этой башни чай, а потом наконец бросился с башни и разбился

насмерть.

Дом быстро превратился в руины. Никто не хотел покупать громоздкое и мрачное сооружение, а башня сохранилась и упоминалась во всех лоциях-руководствах для плавания по Черному морю. Оказывается, эта башня была хорошим ориентиром при подходе к Одессе. Поэтому башню охраняли и не позволяли разбирать по камням.

Я знал, что рядом с башней Ковалевского было несколько пустующих дач, и решил поселиться на любой из них, какая мне больше понравится.

Я шел из Одессы до дачи Ковалевского медленно и долго. Вышел я с Черноморской, как только начало светать.

Хотя по пути ничего не случилось, но я запомнил дорогу от города до дачи Ковалевского так подробно, что потом в любой день и час мог бы проследить ее по памяти шаг за шагом.

Я полюбил эту дорогу и много раз после этого в разные годы добирался туда из Одессы пешком, хотя уже ходили трамваи и автобусы и даже носились, пыля, такси.

Вся прелесть этой дороги, вся ее власть надо мной объяснялась близостью моря. Нигде эта дорога не отходила от берегового обрыва настолько далеко, чтобы не было слышно шума волн и

запаха водорослей.

Стоило мне нагнуться, поднять на дороге белый камень и сдуть с него пыль, чтобы, даже не глядя, сказать, что это горячий от полуденного зноя морской зернистый голыш, и почувствовать досаду оттого, что невозможно спасать жизнь этого куска камня, длившуюся много тысячелетий.

Все на этой дороге пахло морем и солнцем, даже пустые ларьки, где в какие-то баснословные времена торговали квасом. Краска на этих ларьках потрескалась, отваливалась плоскими ромбами и пахла солнечным жаром. Пустой цинковый прилавок позеленел от пыльцы лебеды и полыни. И вся дорога тоже была зеленоватой от этой пыльцы.

От оград, будто сложенных из каменной губки, тоже пахло морем. В камень оград вросло бесчисленное количество мелких морских ракушек. Они поблескивали изломом перламутра и царапали руки.

Иногда густую дорожную пыль пересекал след от рыбачьей сети. Ее протащили здесь на рассвете. Сеть пригладила пыль и оставила на ней клубки шершавых водорослей и уже успевших засохнуть фиринок, как бы вырезанных из свинцовой бумаги. Водоросли были мокрые и горячие

внутри, пахли рассолом, и от них шел пар.

Ящерицы бегали по крышам, по оранжевой марсельской черепице. Мне представлялось, что изготовление этой черепицы (конечно, где-то на юге Франции, около Марселя или Тулона) — занятие неторопливое, связанное с древними ремесленными секретами и потому довольно романтическое. Я был уверен, что заводы марсельской черепицы обязательно строились вблизи морских берегов.

Мне хотелось изучить производство этой черепицы и написать об этом небольшую книгу. Не знаю, получили бы читатели от такой книги какие-либо полезные сведения, но, во всяком случае, я постарался бы заразить их поэзией этого производства.

Марсельская черепица нравилась мне еще и потому, что была связана с югом и морем. Как только за окнами поезда Москва — Одесса возникали в стекленеющей дали красные черепичные крыши, я знал, что море уже недалеко.

Кроме того, морской прибой всегда выбрасывал отполированные черепки марсельской черепицы. Я никогда не уставал любоваться ее сочным морковным цветом и тонкой зернистой фактурой.

Кое-где в садиках большефонтанских рыбаков висели пыльные кисти винограда. Продолговатые ягоды пахли мускатным орешком и просвечивали розовым соком. Я выменял одну такую кисть на три закрутки табака.

За Большим Фонтаном дорога отклонилась в степь. Дачи остановились позади, не решаясь выдвигаться в слепящий жар. По сторонам большака шелестели невесомые листья кукурузы. Початки были выломаны, собраны, и сколько я ни смотрел, я не увидел ни одного забытого початка.

Звенели подземные цикады, плыл зной, изредка начинали тихонько трещать все сухие стебли. Я радовался этому потрескиванию: оно означало, что с моря задувает хотя и слабый, но освежающий ветерок.

Вот небольшая часть того, что я видел и о чем я думал по пути к башне Ковалевского. И все время бок о бок со мной играло, как расплавленная ляпис-лазурь, великолепное море — бездна свежести и успокоительного шума.

Я дошел до башни Ковалевского, когда жара уже начала спадать. Я увидел над морским обрывом несколько дач, окруженных садами. Все окна и двери на этих дачах были выломаны. Сады

заросли высокой высохшей травой.

Я выбрал себе дачу с дощатой вышкой. Наверх вела винтовая чугунная лестница. Она не была сломана.

Наверху каким-то чудом сохранилась дверь на балкон и ставня на единственном окне, самого окна уже не было. Главное, сохранился деревянный пол.

Вблизи стояло еще пять полуразрушенных дач. Там никто не жил, кроме ласточек и серых ящериц.

Я решил поселиться в комнате на вышке. Я чувствовал себя в ней как на маяке.

Редко я испытывал такую полную свободу и сознание, что я вправе жить так, как хочу, что я целиком предоставлен себе, что я одновременно и Робинзон и отшельник и мне подчинено все мое время и все будущие дни. И то, чем люди обыкновенно тяготятся — житейские заботы и мелкие хозяйственные поделки, — казалось мне занятием легким и даже приятным.

Мне приятно было наломать сухой полыни и чернобыла и сделать большой пышный веник, чтобы подмести дачу.

Еще засветло я спустился на берег и собрал там много сухих, свалявшихся в мягкий войлок

водорослей. Я выбирал только старые водоросли, выветренные и потерявшие лекарственный запах. Это была прекрасная подстилка для спанья на полу.

Давно уже известно, что чем меньше у человека вещей, тем они милее, тем крепче каждая вещь связана с биографией и тем большее значение она приобретает при любых обстоятельствах.

Я разобрал свой рюкзак. С чувством благодарности я вытащил из него коптилку, пузырек с бензином, две пачки табака, сухари, сахарин, сушеный чай из моркови, грубую красную соль, крупу и еще кое-какие продукты. Со дна рюкзака я достал тельняшку, тетради, самодельные чернила из химического карандаша и несколько книг.

Все остальное надо было добывать на месте — в «степу» или в море.

Я взял с собой самоловы и большой запас посеребренных крючков. Одесские рыбаки считали, что морская рыба охотнее берет на белые крючки, чем на черные или бронзированные. По-моему, это был совершеннейший предрассудок, но благодаря ему я выменял в рыбачьем поселке на 16-й станции на посеребренные крючки бутылку мутного подсолнечного масла и с тех пор почув-

ствовал себя настоящим крезом[73].

Первую ночь я провел в томительном, но приятном состоянии неполного сна и неполного бодрствования. Я спал, но ясно слышал шум волн, стрекотание цикад, шорох осыпей и нежный скрип старого электрического провода. Он качался весь день на столбе около чугунной калитки.

Иногда все звуки внезапно исчезали, и только через несколько минут кто-то вдруг вздыхал в степи, как огромный зверь, укладываясь поуютнее спать.

Я закрывал глаза, а когда через мгновение открывал их, то синий полусвет уже заливал комнату до самого потолка. Его нельзя было отличить по цвету от неба. Небо виднелось за окном сплошной и мглистой бездной. В его синеве рождались полосы багровых туч. Должно быть, приближался рассвет. Но я не сразу сообразил это и продолжал дремать, просыпаясь через каждые десять минут и каждый раз удивляясь, что из мрака, как на фотографической пленке, все яснее и подробнее проявлялась моя комната.

Окончательное утро наступило, когда на перила балкона сел маленький «птичик» и сказал,

---

[73] Комментарии: 73

…крез— от имени Креза (595–546 до н. э.) — последнего царя Лидии, богатство которого вошло в поговорку.

присвистывая:

«Осы спят, осы спят, осы спят, ты не спи!»

«Не спи, не спи!» — повторил он настойчиво, и я увидел, как желтый хохолок на его голове загорелся, как пушистое пламя, от первого солнечного луча.

Солнце казалось чрезмерно огромным для того, чтобы, вставая над тысячами километров земных пространств, осветить в первую очередь только один-единственный хохолок птицы, похожий на маленький моток шерсти.

Я встал и пошел купаться к морю. Берег был крутой, в иных местах почти отвесный. Спускаться было просто опасно.

В то же утро я залез в люк под террасой и нашел там заржавленную лопату и еще несколько очень нужных вещей — молоток, кучу погнутых гвоздей, моток проволоки и большую жестяную банку с надписью «Монпансье Ландрин».

Я забрал все эти вещи. Они мне очень пригодились, «пришлись впору», и — такова человеческая забывчивость — через несколько дней я уже был уверен, что если бы не нашел этих вещей, то не смог бы прожить на даче и одного дня. Например, в чем бы я держал пресную воду из ключа, чуть сочившегося под кустом тамариска на обрыве,

если бы не жестяная банка? Или чем бы я расплющивал свинец на грузила, если бы не нашел молотка?

Но самой дорогой находкой после жестяной банки от монпансье была, конечно, лопата.

Я не спеша работал три дня и прокопал в самой отвесной части береговой кручи ущелье-тропу со ступеньками — своего рода узкую земляную лестницу.

Эта земляная, «грабарская» работа мне нравилась. На срезах от лопаты глина блестела янтарным лаком. В этих же срезах были видны невероятно длинные и мощные корни какого-то растения, подымавшегося над землей всего только на пять сантиметров.

Все это было прекрасно. Но лучше всего было ошеломившее меня в первое же утро открытие, что весь этот сухой берег с его колючками, осыпями, золотым дроком, ветрами, зернистым пляжем, грудами водорослей, небом и облаками, все это жаркое и лиловое побережье не принадлежит никому или, вернее, принадлежит только мне одному.

Я не встретил за неделю ни души.

Если бы я захотел, я мог бы вырыть в обрыве замечательную пещеру. Или запрудить родник и

устроить на берегу озерцо. Или сложить на пляже пирамиды из седых от соли обломков дерева, старых шлюпочных шпангоутов и деревянных поплавков от сетей. Или срезать ветки туи и разбросать их по полу в своей комнате, чтобы дышать смоляным запахом. Никто не мог запретить мне этого.

В конце концов я так и сделал. Жилище мое обросло случайными, но интересными вещами. На соседних брошенных дачах я нашел железный фонарь, песочные часы и китайский зонтик. Все это я забрал в свою комнату.

* * *

Дни шли медленно. Солнце никуда не торопилось.

Время как бы замирало, замедляя шаг. Ему, должно быть, хотелось совсем остановиться.

Но я знал, что на смену утру взойдет новый неизменный день — настолько неизменный, что все эти дни вот уже в течение недели представлялись мне одним сплошным и нескончаемым днем.

Я привык к жаркой непрерывности этого сплошного дня (ночи казались созданными только для передышки от жестокого дневного света),

к его монотонному гудению, как будто в глубине земли звучала медная струна, к тому, что воздух, накаляясь, терял прозрачность и походил на твердеющее стекло, и, наконец, к тому, что синева неба была неравномерна. Она то сгущалась, то бледнела под нажимами ветра.

Говорят, что человеку время от времени полезно пожить в одиночестве.

На опыте своей жизни я знал, что есть много видов одиночества. Перечислять их я не буду, но знаю, что есть одиночество в толпе и одиночество лесное, есть одиночество, сопутствующее горю, и есть, наконец, морское одиночество, зачастую близкое к состоянию безмолвного душевного подъема.

Это тот безмолвный подъем, когда человек даже враждебен всякому разговору. Он предпочитает молчать. Да что скажешь на нашем плоском языке, когда твое перегретое за день темное тело вдруг захлестнет и охладит взбитая предвечерним прибоем и ветром морская нежнейшая пена. Она будет таять на тебе, покалывая кожу пузырьками душистого газа, и прикасаться к воспаленной коже свежо и осторожно, как ветер с тех островов, где до сих пор еще, может быть, спят в земле бронзовые девственные Дианы.

А может быть, что прикосновение больше напоминает влажные после купания девичьи косы.

В морском одиночестве, в этой встрече с глазу на глаз с рокочущим простором, всегда присутствует сознание если не бессмертия, то, во всяком случае, длительных лет, которые всегда дарит нам море.

Я проводил на берегу все дни до заката. Я часто засыпал в тени большой скалы. Я читал по строчкам книги и по целым часам мог смотреть на свитки летучих облаков. Очевидно, в состав счастья входит и состояние беззаботности, отсутствие самых ничтожных тревог.

Очевидно, это именно так, потому что я был счастлив тогда. Чистый, первобытный, ничем не оскверненный свет спускался на землю, и я совершенно забыл, что такой нечаянный и огромный душевный покой, по словам людей суеверных, никогда не остается безнаказанным.

И возмездие, конечно, пришло.

Однажды я лежал на берегу, глядя сквозь прищуренные ресницы на разноцветные огненные шары, — они вертелись передо мной в каком-то сиреневом пространстве. Я соображал, что это за пространство — воздух ли над морем или, может быть, это небо, изменившее по капризу

фиолетово-черный цвет и пожелавшее немного поблистать серебряным свечением и легкой желтизной.

Пока я размышлял над этим, с высокого обрыва донесся слабый человеческий крик. Я обернулся и увидел на краю спокойной небесной синевы человека, махавшего кепкой. Человек этот держал за руку маленькое существо в красном выгоревшем сарафане. Существо тоже нерешительно махало мне тонкой, как соломинка, лапкой.

— Привет! — кричал человек с обрыва. — Рад видеть вас в добром здравии, Константин Георгиевич! Поднимитесь к нам на минутку!

У меня екнуло сердце. Так я и знал, что кто-нибудь застигнет меня в этом уединении и вдребезги разобьет редчайший сон, в котором я пребывал последние дни. Даже хорошее слово «привет» прозвучало фальшиво и пошло среди сурового зноя степей, шелеста сарматских трав и шума понтийских вод.

Я нехотя встал и полез на обрыв, стараясь догадаться, что это за человек с девочкой и что ему от меня нужно.

— Вы молодец! — кричал между тем незнакомец. — Отшельник! Схимник! Робинзон! Матрос

Селькирк![74] Симеон Столпник![75] Жан-Жак Руссо!

Я лез на кручу, сдерживая закипавшую ярость, и молчал, чтобы не выругаться, а человек продолжал насмешничать надо мной на границе рыжей земли и густого великолепного неба. Он кричал:

— Одиссей! Миклухо-Маклай! Флибустьер! Ифигения в Тавриде! Великий немой[76]

Я наконец поднял голову, чтобы одернуть этого фигляра, и узнал в нем Васю Регинина. Он держал за руку свою шестилетнюю дочку Киру и смеялся.

— А ловко я разыграл идиота на берегу этого моря, воспетого академиком Айвазовским?[77] — спросил он меня и протянул руку, чтобы помочь мне одолеть последнюю крутую ступеньку. (Это были те ступеньки, которые я сам недавно выкопал и очень ими гордился.) — Сознайтесь, что вы

---

[74] Комментарии: 74

Матрос Селькирк— герой книги Стивенсона «Остров сокровищ».

[75] Комментарии: 75

Симеон Столпник (356–459) — легендарный христианский «мученик», известный своим аскетическим образом жизни; ввел религиозный обет стояния на колонне (столпе).

[76] Комментарии: 76

Великий немой— кинематограф.

[77] Комментарии: 77

Айвазовский Иван Константинович (1817–1900) — русский живописец-маринист.

обозлились. Я просто чудом вас нашел. Торелли сказал, что вы должны жить где-то здесь, около башни Ковалевского.

Девочка исподлобья смотрела на меня темными, очень синими глазами и держалась за локоть отца.

— Пойдемте на мою виллу, — предложил я. — Ну, как в городе? Ничего не случилось?

— Да нет, особенного ничего, — ответил Регинин, и на глазах у него вдруг появились слезы. Они как-то внезапно наполнили его глаза. Несколько капель скатились по щекам и упали на измятую, застиранную рубаху.

— Перестань, папа, — строго сказала маленькая девочка. — Я здесь останусь. Я не боюсь.

Регинин, вытирая слезы дырявым носовым платком, рассказал, что жена его заболела сыпным тифом, лежит дома в бреду и он в полном отчаянии и смятении привел девочку ко мне, так как в городе ее некуда устроить. Держать ее в одной комнатушке с матерью нельзя. Друзей у него в Одессе нету, и вот… Голос его осекся. Губы у девочки вдруг опустились, задрожали, и она снова сказала:

— Хорошо, я останусь здесь с дядей…

— Костей, — подсказал Регинин. — Оставайся.

Как только мама выздоровеет, я приду за тобой. Вы ведь здесь еще долго пробудете? — спросил он меня.

Я смешался.

— Да, — ответил я. — Сколько нужно, конечно.

— Ну, оставайся, мое доброе маленькое сердце. — Регинин наклонился и прижался губами к голове девочки. — Люби дядю Костю. И слушайся его. Он наш большой друг.

Он протянул мне руку и, не глядя на меня, пробормотал:

— Ну, я пойду. А то Мария Ивановна лежит одна. У нее бред.

Он повернулся и ушел, а я, растерянный, остался рядом с девочкой в пустой жаркой степи. Я даже не заметил, что Регинин ничего не принес с собой для девочки, никакого, даже самого маленького, узелка с вещами. Она пришла в том, в чем была. Я смотрел вслед Регинину, как вдруг почувствовал, что горячая и потная маленькая рука взяла меня за палец, и девочка сказала:

— Давайте будем здесь жить, как в игре.

Трудно было понять, что она хотела сказать этими словами, но с тех пор жизнь в степи действительно пошла как в игре, — то как явь, то как сон.

С тех пор страх за жизнь этого хрупкого, как стрекоза, существа держал меня за горло и за сердце и не отпускал, пока наконец Регинин не прислал за нами Торелли. Но это случилось, насколько я помню, не раньше чем через три недели.

Так я и жил в состоянии страха, отчаяния, жалости и умиления. Все эти чувства слились в одно, не имевшее имени. Оно то ослабевало, то захлестывало болью даже от такого пустяка, как вытаскивание занозы из худенького и дрожащего пальца.

Но, в конце концов, у меня на руках была маленькая, доверчивая жизнь, и я взял себя в руки. Тем более что у меня осталось очень мало продуктов, совсем не было мыла и, кроме моей потрепанной кожаной куртки, ничего не нашлось, чем бы укрыть девочку. А ночи уже холодели, и запах осени все чаще проникал на рассветах в комнату.

До сих пор не понимаю, почему я в те дни не поседел от отчаяния. Я боялся всего: палящего солнца (мне все время чудились солнечные и тепловые удары у девочки), обрыва над морем (ей ничего не стоило сорваться с него и разбиться насмерть, и потому я благословлял ступеньки,

выкопанные мной в твердой глине), холодных ночей (девочка наверняка должна была простудиться), штормов с их ветрами, голода (я подсчитал, что продуктов нам хватит всего на семь дней).

Все книги, все созерцания и счастливые мысли вылетели у меня из головы. Их как будто и не было. И должно быть, от чрезмерного страха я даже не замечал в первые дни, что девочка все время мне помогает — собирает щепки и сухой бурьян для очага, подметает дачу и сад полынным веником и приносит в жестянке от консервов воду из родника. Правда, она несла ее почти час, чтобы не расплескать ни капли.

Она редко меня о чем-нибудь спрашивала и предпочитала догадываться обо всем сама без моей помощи.

Она почти не плакала. Но однажды, когда с обрыва сорвался камень и поранил ей ногу, она рыдала так отчаянно, как может рыдать брошенный ночью на пустыре ребенок. Она вся дрожала и цеплялась за мою шею, когда я перевязывал ей чистой тряпочкой горячую окровавленную ногу.

Я, конечно, понимал, что плачет она не оттого, что камень ушиб и поранил ее, а от непомерного горя, что накопилось в ее жизни за последние

дни.

Самое ужасное заключалось в том, что нельзя было зарыться мокрым от слез, горячим лицом на маминой груди и, всхлипывая и несвязно жалуясь, понять, что во всем мире есть только один человек, который может отдать ей всю свою ласку, любовь и защиту. И этот человек — мама.

Но мама лежала в тяжелой горячке в Одессе. Мама, может быть, даже умерла. Об этом нельзя было подумать, чтобы не умереть самой. И обе они — и мама и она — жалели теперь о каждом часе, когда разлучались в прошлом. Потому что им оставалось на час меньше любви друг к другу и на час ближе подходила та черная ненужная пропасть, какую люди зовут смертью.

Я был уверен, что именно такое состояние было у девочки, и не знал, что сделать, чтобы заставить ее хотя бы изредка засмеяться. Пока она только чуть-чуть улыбалась, но я был уверен, что и это она делала, только чтобы меня успокоить.

Тот, у кого нет детей, никогда не поймет, как близко от нас, где-то совсем рядом, лежит бессмысленный мир трагических случайностей. И вряд ли поймет, что такое всепоглощающая любовь.

Надо было жить, конечно. Жизнь наша была

суровой. Но я так был поглощен заботами, что не замечал этого.

А забот появилось столько, что я, пожалуй, не смогу их все перечислить.

Во-первых, умывание. Купались мы в море, но после этой необъятной чаши воды, брызжущей в лицо едкой солью, надо было обмыться пресной и ледяной водой из родника.

Мыла не было. Приходилось оттирать лицо и руки мелким песком. Но через несколько дней я заметил в обрыве у самого пляжа вкрапленную в известняк полоску синеватого окаменелого ила.

Я с детства помнил бруски мыла «Кил». Оно прекрасно мылилось в морской воде и делалось из какой-то синей крымской глины. Я даже помню этикетку севастопольского мыловаренного завода Харченко с рисунком якоря и портретом пышноусого дяди — владельца завода, который осчастливил человечество изготовлением мыла «Кил».

Я отковырял несколько кусочков синей глины и попробовал потереть ею мокрые руки. Руки покрылись слизью. Я смыл слизь и увидел под ней совершенно чистую кожу.

— Это кил! — крикнул я Кире.

— Кил, кил, кил! — впервые закричала она,

прыгая около меня на здоровой ноге.

Кира собирала кил, размачивала его, месила, как тесто, лепила из этого теста маленькие бруски и сушила их на солнце. Наконец-то я выстирал с величайшими предосторожностями свою рубаху и единственный Кирин красный сарафан. Тут же мы высушили все это на песке.

Правда, половина ниток в сарафане приобрела после стирки чистый серый цвет и кое-где появились дыры, но зато от сарафана долго пахло морем.

Я обнаглел до того, что пошел с Кирой на 16-ю станцию Фонтана и захватил с собой несколько брусков самодельного мыла. Я надеялся обменять его на продукты.

Молодая рыбачка с пышным именем Кларисса — ей первой я предложил свой чудодейственный кил — долго, посмеиваясь, с ужасным укором смотрела на меня и говорила:

— Ой, не смешите меня! Ой, не дурите меня, молодой человек! Здравствуйте пожалуйста, я ваша тетя! Так то же обыкновенный кил. Его тут — как морской воды. А вот дочка ваша, правда, красивенькая, как абрикос.

Я объяснил Клариссе, кто такая Кира.

— Постойте тут! — приказала Кларисса, вытер-

ла потные губы короткой рваной юбкой и ушла на огород. Она принесла оттуда в кошелке помидоры, баклажаны, морковь, перец и две большие кисти винограда.

— Ну, годи! — сказала она по-украински. — Давайте, так и быть, ваш кил и забирайте все это себе вместе с кошелкой.

Я начал ее благодарить.

— Здравствуйте пожалуйста, я ваша тетя! — сказала она удивленно. — Что это вы? Сказились? Сегодня я уеду до своего батьки. Он рыбалит на Санжейской косе. А когда ворочусь недельки через две, вы приходите до меня. Непременно. Будем с вами знакомы. Я же знаю, вы живете около башни Ковалевского.

Она протянула мне шершавую маленькую руку. Мне почему-то захотелось подольше задержать эту руку в своей. Она, смеясь, вырвала руку и сказала:

— Не годится так со мной жартувать! А то я возьму да и поверю. Ступайте, только разок оглянитесь. Из вежливости.

Я ушел. Один раз я оглянулся, увидел смеющиеся глаза и зубы Клариссы и решил больше сюда не приходить.

Прошло всего несколько дней, и жизнь как-то

сама по себе улеглась, устоялась. Я снова мог читать и начал рассказывать Кире на пляже все, что приходило мне в голову.

Нельзя сказать, что это были сказки. Нет, то были совершенно реальные и ни в какой мере не оторванные от действительности рассказы по любому случаю. Если нужны примеры, то беру первый попавшийся.

Кира находила в песке осколки бутылочного стекла, обкатанные морем. Она принимала их за драгоценные камни. Она никак не хотела поверить, что это простое стекло, которым на окраинах Одессы завалены все пустыри.

В какой-то мере она была права. Если бы стекла было на земле так же мало, как алмазов, и, наоборот, если бы алмазов было так же много, как стекла, то, конечно, стекло бы ценилось на вес золота.

Однажды Кира спросила меня, где люди выкапывают стекло, и мне пришлось рассказать ей, что стекло не выкапывают, а делают из песка. Я начал рассказывать ей об этом и через полчаса с ужасом поймал себя на том, что рассказываю совершенно не то.

Я рассказал ей, как внутрь стеклянного шара запаяли единственное семечко редчайшего

черного тюльпана и привезли его на корабле в страну Голландию, и как из-за этого семечка началась кровавая война между цветоводами, и как она окончилась только потому, что двухлетний мальчик незаметно ушел от заболтавшейся няньки и сорвал выращенный из этого семечка черный тюльпан в то время, когда часовой, охранявший цветок, спрятался за полосатую будку, чтобы закурить на ветру трубку. Через много лет голландские женщины поставили этому мальчику памятник за избавление от братоубийственной войны. Потому что как только мальчик уничтожил единственный цветок, причина для войны исчезла. На этом памятнике мальчик был изображен разрывающим на части в непонятном детском азарте царственный черный тюльпан.

Я не заметил той черты, где рассказ о стекле вдруг превратился в вымысел. Отрезвление у меня пришло после первого же делового замечания Киры.

— Тюльпан растет не из семян, а из луковицы, я знаю, — сказала она. — У нас дома был тюльпан. Если его сорвать, то через год вырастет другой. А они были дурные, голландцы, и не знали об этом. Зря затеяли эту войну.

Она помолчала, вздохнула и добавила:

— А еще цветоводы!

Я покраснел. Никогда еще я так глупо не попадался со своими выдумками, даже в детстве. Кира смотрела на меня смеющимися, прищуренными глазами.

Действительно, война между цветоводами не могла начаться из-за семян тюльпана. В крайнем случае, она могла вспыхнуть из-за луковицы.

С тех пор я твердо усвоил себе неписаный закон сказок и выдумок. Закон этот говорит, что в каждой, даже самой волшебной сказке должна заключаться реальная основа.

Через каждые два-три дня мы ходили с Кирой за пять километров на Сухой лиман. Я сажал Киру в ничтожной тени от сухих кустов акаций на берегу, сам же переходил на плоские прибрежные камни и удил оттуда бычков. Эта ловля не имела ничего общего с развлечением, — бычки были нашей единственной рыбной пищей.

В Сухом лимане они плавали тучами. Мне надо было наловить каждый раз не меньше сорока бычков — так у меня было заранее рассчитано.

Я ловил, а Кира, безропотно сидя в тени, пыталась считать пойманных бычков. Считать дальше десяти она не умела и потому после каждого десятка клала рядом с собой пустую ракушку.

Когда набиралось четыре ракушки, она мне кричала об этом, а дальше счет вел уже я сам.

Кире, очевидно, нравилось это занятие. Но безропотно она сидела еще и потому, чтобы не выдвигаться из крошечной тени на все еще палящее августовское солнце.

Потом мы сообразили, что гораздо легче и приятнее ходить на лиман перед вечером. Особенно хорошо было возвращаться по бесконечным закатным пляжам, по самой кромке прибоя, где песок на минуту твердел после каждого наката волны. Хорошо было идти в бесконечную вечереющую мглу. Над ней в вышине горело розово-золотым лепестком одинокое облако.

У меня было немного муки. Я пек из нее пресные лепешки. Мука кончалась, и леденящий ужас уже закрадывался ко мне в сердце.

Я пошел на 16-ю станцию к Клариссе, но она еще не вернулась от отца. Ее сосед, пожилой рыбак, только засмеялся в ответ, когда я спросил, нет ли у него продажной муки.

Я собирался уйти, но он остановил меня.

— А ну, постойте, — сказал он, взял меня за рукав рубашки и пощупал материю. — Что это на вас за рубашка? Не иначе английская?

На мне действительно была надета английская

солдатская рубаха табачного цвета. Я ее выменял на базаре на пайковый чай.

— А что? — спросил я.

— Так вот, слухайте, — таинственно сказал рыбак. — Идите в степ по шляху на Кляйн-Лебенталь. Там будет у самого шляха расти дикая груша, а за ней вправо — балочка. Вы сойдите в ту балочку и там увидите стежку. Идите той стежкой и достигнете до паровой мельницы, до млына. Вся та мельница не больше, як моя хата. Вам за эту рубаху отсыплют на той мельнице пять фунтов муки.

— Что-то много, — ответил я, сомневаясь.

— Там мельник особенный, — так же таинственно сказал рыбак. — Идите. Сами побачите. А вы, часом, не слышали ничего нового за политику? Живем сейчас, как кроты, — газету ухватишь раз в месяц.

В тот же день мы с Кирой пошли на мельницу.

Киру, конечно, не надо было бы брать с собой, но я побоялся оставить ее одну. И потому мы пошли вместе.

Пыль завивалась над шляхом. Пришлось идти по шляху, по этой пыли, чтобы не пропустить дикую грушу на повороте в балку. Раскаленная глиняная пудра жгла ноги даже сквозь подмет-

ки.

Кира шла медленно, потом начала хромать. Я взял ее на руки. Она обхватила черными, как у маленькой цыганки, руками мою шею и тяжело дышала.

Я с тоской смотрел по сторонам. Нигде до самого горизонта не было ни единого клочка тени, если не считать короткой и узенькой тени от телеграфных столбов с порванными проводами. Мы несколько раз немного отдыхали в этой тени. Вокруг пылало белое пламя засухи.

Кира ни разу не пожаловалась. Она молчала, положив подбородок ко мне на плечо, и устало смотрела на степь. Там шли, сгибаясь под ярмом, сивые волы. Языки их были высунуты до самой земли. Они тяжело хрипели и часто останавливались. Возница с отчаянием и со слезой в голосе кричал им «цоб-цобе» и бил их по пыльным бокам корявой палкой. На потной воловьей коже палка оставляла следы, похожие на ассирийскую клинопись.

Под грушей мы отдыхали долго. Ее листья трещали на ветру, как жесткие надкрылья жуков.

По сухой известковой балке мы наконец дошли до мельницы, вошли во двор, обнесенный высокой стеной из «дикаря», сразу же сели в тени этой

стены и так просидели, может быть, час, а может быть, и два в каком-то оцепенении.

Двор был пуст. Никто к нам не вышел. Над черепичной крышей мельницы дымила жестяная труба, и где-то осторожно шипел пар.

Потом во дворе появился удивительный мельник. То был старик, весь в муке, со старомодной чеховской бородкой и в пенсне. Стекла его были захватаны белыми от муки пальцами.

Старик подошел к нам, снял пенсне и долго разглядывал меня и Киру.

Потом, ничего не спросив, ушел и вынес нам кувшин холодной воды. Мы пили, закрыв глаза, чувствуя, как свежесть разливается до самых кончиков ногтей.

Старик дожидался, пока мы опростаем кувшин, равнодушно смотрел на нас и молчал.

— Вы мельник? — спросил я его, окончив пить.

— Нет, — ответил старик. — Я винодел.

— Почему вы ничего меня не спрашиваете? — сказал я и подумал, что передо мной, должно быть, душевнобольной человек.

— Потому что я знаю, чего вы хотите, — ответил старик, и в глубине его глаз вдруг засветилась медленная лукавая улыбка.

— Как же это сделать? — спросил я и показал

на свою английскую рубашку. — Больше у меня ничего нет.

— А в чем же вы пойдете обратно? На солнце больше пятидесяти градусов.

— Я посижу здесь до вечера. Дома у меня есть еще одна рубаха, но только рваная.

— Почему же вы ее не надели?

— Не знаю, — безразлично ответил я. — Я устал. Четыре дня не ел хлеба.

— А девочка?

— У девочки до вчерашнего вечера были сухари.

— Сидите здесь! — сказал старик и снова ушел.

Его долго не было. Зной, очевидно, достиг предела. Я судил об этом по глухому звону, стлавшемуся над степью. Как будто зудели миллионы жуков, попавших в мед.

Вместо старика вышла старая женщина — тоже вся в муке — и принесла нам шесть помидоров, соль в тряпочке и два куска свежего хлеба. Мы съели все это до последней крошки за несколько минут и уснули.

Я проснулся, когда тени от солнца, длинные, как изнуренные руки, лежали на сизой земле. Солнце гасло в пыли. Из балки потянуло слабой прохладой и даже как будто запахло водой.

Около меня стояла старая женщина.

— Вставайте, — сказала она. — И разбудите девочку. На закате спать вредно. Можете схватить лихорадку. Это вам от Казимира Петровича.

Она опустила на землю рядом со мной тяжелый мешочек муки. Я вскочил.

— Спасибо! — сказал я, расстегнул свою рубаху и начал торопливо стаскивать ее через голову.

— Не надо, — сказала женщина. — Мы не обедняем. Потом отдадите. Что это вы? Бог с вами!

Я, сам не ожидая этого, обнял старую женщину и поцеловал ей руку. Я хотел поблагодарить старика, но женщина сказала, что он куда-то ушел. Куда он мог уйти в этой степи, плоской, как исполинское блюдо!

Кира долго молчала, никак не могла окончательно проснуться. На шляхе мы встретили мажару. Она везла на мельницу два мешка с пшеницей. Очевидно, из-за жары мельница работала ночью.

Потом Кира почувствовала под сожженными пятками нежащую остывающую пыль на шляхе и засмеялась.

— А воробьи, — сказала она, — купаются в пыли. Я сама видела. Я бы тоже выкупалась, но только вы не позволите.

Она, конечно, хитрила, и это было видно по ее прищуренным глазам.

Жаркие дни медленно сменялись, но ни Регинин, ни Торелли не приходили за мной и за девочкой. Я начал уже всерьез беспокоиться, не случилось ли чего-нибудь с матерью Киры. Кира тоже заскучала и начала просить меня, чтобы я отвел ее домой, в Одессу. Я же всячески заминал разговор о возвращении и прикидывался беспечным и веселым.

Наконец я сдался и совсем уже выбрал время, чтобы возвращаться в город, но случилось довольно глупое обстоятельство. Оно разрушило мои планы.

Дело в том, что, несмотря на кражу дров в Аркадии с Яшей Лифшицем, я вовсе не вор, никогда им не был и вряд ли им буду.

Но на 16-й станции мне пришлось еще раз своровать, на этот раз не дрова, а самые обыкновенные помидоры.

У меня не осталось ничего, что бы поменять на продукты.

Про свою старую рубаху я старику мельнику соврал. Почему — сам не знаю. Слабую надежду на то, что Кларисса еще раз сжалится над девочкой и даст немного овощей, пришлось отбросить.

Во-первых, Кларисса до сих пор не вернулась от своего батьки, а во-вторых, я понимал, что при возможных женских надеждах Клариссы на меня одалживаться у нее нельзя.

Воровать помидоры я пошел ночью и, понятно, ничего не сказал об этом Кире. И получилась чепуха. По своей близорукости я споткнулся в темноте, старый сторож по прозвищу Будка-Халабудка вскрикнул, выстрелил и всадил мне в спину пониже лопаток заряд куяльницкой грязной соли.

Старый сторож был так удручен своим метким выстрелом, что решил загладить вину и подарил мне корзину отборных помидоров. Выходило, что я пострадал совершенно зря.

Соль, разлетаясь веером, задела меня очень слабо. Но все равно боль была адская. Битых два часа я примачивал ранки пресной водой из родника, закидывая себе за спину мокрую тряпку. Я не перевязал ранки: не было ни кусочка бинта, — а только сидел два дня в тени без рубахи, пока ранки не затянулись. Кире я сказал, что сорвался с обрыва и исцарапал спину.

Через несколько дней после этого происшествия на 16-ю станцию пришли Торелли и Изя Лившиц.

Торелли пришел за Кирой. Жена Регинина уже поправилась и только капризничала и плакала от голода и оттого, что ей сбрили темные матовые косы. А Изя Лившиц пришел сообщить мне, что пора возвращаться в «Моряк».

Я вернулся в Одессу с тем же чувством тоски, с каким возвращался в гимназию после вольного и короткого лета. Я рвался обратно, на 16-ю станцию, на свое побережье, и если бы не было стыдно, то я наверняка бы втихомолку всплакнул.

Так окончилась эта маленькая история. Но, пожалуй, полный конец наступил много позже, в 1947 году, на книжном базаре в Доме писателей в Москве.

Регинин подвел ко мне высокую женщину, очень сдержанную и спокойную, и сказал:

— Вот! Пожалуйста! Это та самая Кира, из-за которой вам влепили в зад добрый заряд соли.

Кира покраснела и протянула мне руку.

— Вы помните, как мы жили на Фонтанах? — спросил я.

— Да, — неуверенно ответила она. — То есть, если говорить по правде, то помню едва-едва. А ваше лицо я совсем забыла.

Мне стало почему-то немного грустно, и я, что-

бы не молчать, спросил:

— А что вы делаете теперь?

— Я окончила институт и состою в аспирантуре. Я замужем. Погодите, я познакомлю вас со своим мужем.

Она отошла от меня. Я подождал несколько минут, но она не возвращалась. Тогда я тихо ушел из Дома писателей и потом не мог самому себе объяснить, почему я исчез, стараясь быть незамеченным.

«Прощай, моя Одесса, славный карантин!»

Я стремился обратно на Фонтаны потому, что наступала уже осень. Вторая осень в моей одесской жизни.

Я был тогда уверен (да, пожалуй, и сейчас готов согласиться с этим), что из всех осенних времен, пережитых мною, одесская осень была одной из самых лучезарных. И не только в степи и на дачах, на Фонтанах с их опустелыми садами, но и в самом городе.

Точное описание одесской осени я нашел в стихах (теперь я не помню, где читал их):

Осенний воздух тонок и опасен.
Иной напев, иной порядок дней.
И милый город осенью прекрасен,
И шум его нежней…

По утрам запах вянущих левкоев стоял на улицах, еще погруженных в тень. Но ни в садах, ни в палисадниках я не видел левкоев. Очевидно, это пахли не левкои, а просто утренние тени, или только что политые мостовые, или, наконец,

слабый ветер. Он задувал с открытого моря. Он прилетал со стороны Большефонтанского маяка, пробегал, крадучись, через степные бахчи, наполнялся сладковатым ароматом вянущей ботвы, потом с трудом просачивался через пышные заросли Французского бульвара и пробирался вдоль пригородных берегов, где на крышах рыбачьих лачуг сушились дынные корки и дозревали помидоры.

Все это сообщало ветру тот запах, о каком я здесь упоминаю, — освежающий и чистый. Воздух был действительно тонок и опасен. Но не потому, что от этого воздуха легко было простудиться, а потому, что, вдохнув его, уже нельзя было избавиться от желания, чтобы такая осень стояла, не иссякая, над Одессой с ее мягким уличным говором и смехом.

В южных городах люди не стесняются улицы, как это бывает на севере. Поэтому на юге улицы простодушнее и лиричнее. Там они легко делаются ареной для проявления человеческой доброты, шутливости и любопытства.

Я назвал одесскую осень лучезарной. Я слышал это слово еще в юности («лучезарные вечера» Тютчева), но долго не знал его точного смысла.

Только в пожилом возрасте я узнал, что это

слово обозначает спокойный, бестрепетный, все озаряющий свет солнечных лучей и чаще всего применяется к свету вечернему или осеннему.

Одесская осень была лучезарна в полном значении этого слова. Тихий розовеющий свет наполнял улицы. Этот розовеющий свет происходил не только от постоянной дымки в воздухе, но еще и оттого, что солнце шло над горизонтом все ниже, свет его постепенно терял силу и окрашивался уже с самого утра в красноватые оттенки заката.

Но вскоре ясная осень сменилась туманами. Свет иссякал. Это печальное время совпало с неожиданным закрытием «Моряка».

У Союза моряков якобы не хватило денег на издание газеты. Деньги, конечно, можно было добыть — газета пользовалась необыкновенной популярностью. Секрет заключался в том, что официальный ее редактор, сивоусый и вечно кашляющий от нерешительности отставной морской капитан Походкин, боялся собственной газеты, как чумы, боялся всех нас, ее сотрудников, всячески старался избавиться от газеты и искал поводов для того, чтобы ее прикрыть.

Походкин не мог придумать ничего лучшего, чем устроить по случаю закрытия «Моряка» по-

минки по газете у себя на даче в Аркадии.

Мы пришли на этот небольшой банкет раздраженные, взвинченные, с подсознательной целью устроить скандал. Для этого нам была нужна любая, хотя бы пустяковая придирка. И она, конечно, нашлась, и к тому же оказалась совсем не пустяковой.

Наше раздражение усилилось, как только мы вошли в дачу: во всех комнатах стоял слабый, но ядовитый керосиновый чад.

Оказалось, что капитан Походкин занимался разведением цыплят. Он с гордостью показал нам шеренгу инкубаторов, стоявших на теплой террасе. Керосиновые лампы под ними потрескивали и чадили.

Мы все, влюбленные в море, в портовую жизнь, в корабли, в колдовство мореплавания, встретили известие об инкубаторах и цыплятах как тяжкое оскорбление морской профессии, оскорбление нашей мечты.

Вместо первого тоста Багрицкий прокричал яростную речь против «липовых» моряков, против обывателей, против людей, ушедших в тухлый мир инкубаторов от морской вольности, от шума ветра в вантах, похожего на шум пространства в створках раковин, от великолепной

по своей неожиданности жизни.

Тогда вскочил Женька Иванов, опрокинул стул и закричал, брызгая слюной от возмущения:

— Товарищи! Эта росомаха в морском кителе (он гневно ткнул пальцем в сторону капитана Походкина), этот тещин тюфяк закрыл нашу замечательную газету! Ради чего? Ради того, чтобы спокойно высиживать на продажу рахитичных цыплят. Я считаю это не только безобразием! Это позор, требующий возмездия! Поэтому я призываю всех: бейте инкубаторы! Вдребезги! В дым! В пороховую пыль! Я один отвечу за все!

Нельзя объяснить только нашим опьянением то обстоятельство, что мы за несколько минут переломали и разбили почти все инкубаторы. Из керосиновых ламп столбами валила жирная копоть. Капитан Походкин бил себя в грудь, рвал с мясом золотые пуговицы на кителе и покаянно кричал:

— Правильно! Заслужил! Отрекаюсь!

Жена его, коротышка, вся в мелких рыжеватых кудряшках, хватала нас за руки, ломала нам в бессильной злобе пальцы и яростным шепотом говорила:

— Шпана! Всех засажу! Вы у меня сухими из воды не выйдете! Зарубите у себя на носу!

Неизвестно, чем бы окончилась эта нелепая история, если бы не вмешалось море. Дача капитана стояла вблизи береговых скал. На эти скалы накатывался в тот вечер шторм. И вот у одной из скал раздался раскатистый взрыв, дом вздрогнул и затрясся, с веселым звоном вылетели все стекла, и капитан, подняв руки к небу, закричал:

— Тихо! Без паники! Мина взорвалась у скалы. Заслужил! Правильно! Эта квочка, — он затопал ногами на жену, — сделала из меня вермишель.

После взрыва мины мы тотчас разошлись. Мы почти бежали, стараясь поскорее отойти от ненавистного дома, зиявшего выбитыми стеклами и все еще распространявшего керосиновую вонь и копоть.

К зиме я остался на Черноморской совершенно один.

Пока стояла сухая осень, в дворницкой было тепло, даже уютно, но в первые же сильные дожди она вся отсырела, как плохо отжатая губка. По ее стенам ползли темные мокрые разводы. Запахло сырой известкой и мелом, и откуда-то начали вылезать толпы хилых, едва двигавшихся пауков.

Надо было переселяться в сухое место. Но куда?

Выручила меня машинистка из «Моряка» Люсьена. После закрытия газеты она поступила в художественную артель, где шила из холстины дамские шляпы. Артель занималась чем угодно, лишь бы за это платили деньги: изготовляла шляпы, деревяшки, зажигалки, шила дамские лифчики, рисовала вывески для учреждений и плакаты на фанере для кино, делала таинственный порошок, вполне заменявший дрожжи.

Артель помещалась в первом этаже бывшего магазина готового платья «Альшванг и Компания». Второй этаж магазина, где в старые времена были закройная и примерочные, стоял пустой и холодный.

Люсьена надоумила меня поселиться во втором этаже явочным порядком. Артель против этого не возражала: если в магазине кто-нибудь ночевал, то было больше шансов, что артель не обворуют.

У Альшванга было сухо, но холод стоял такой же, как на улице. А зима в том году началась с упорных ледяных нордов. Город быстро заледенел, и каждое утро его посыпало твердой снежной крупой.

Я переехал к Альшвангу. Дворницкую я запер и ключ взял с собой — до весны, до первых теплых дней.

В примерочной я приспособил к вентиляции свою заслуженную «буржуйку». Спал я на широкой зеркальной двери, снятой с петель. Я клал ее на ящики со стружками. Старый тюфяк сползал со скользкого зеркала по нескольку раз за ночь, и я падал вместе с ним на каменный пол.

После закрытия «Моряка» я начал работать в газете «Станок». От того времени у меня осталась память о темной, как подвал, промозглой редакции и о множестве мальчишек-курьеров, которым совершенно нечего было делать. Добрейший редактор газеты Курс (он изображал из себя непреклонного и беспощадного комиссара) набирал этих мальчишек без счета и давал всем им хлебные карточки.

Мальчишки за полным отсутствием работы все дни напролет играли в крестики и в «подкидного дурака». Но они хоть не голодали.

Да, зима была угрюмая. Порт замерз. За маяком стоял во льду болгарский пароход «Варна», доставивший в Одессу груз маслин. Маслины тоже замерзли.

Своих пароходов еще не было. С корабельного кладбища привели в судоремонтные мастерские два старых парохода и начали их восстанавливать. Один пароход назывался «Димитрий»,

другой — «Пестель».

Что это была за работа, можно судить по тому, что на «Димитрии» надо было поставить три сотни заклепок, но за два месяца в Одессе не нашлось ни одной заклепки. По этому поводу в «Станке» было напечатано жирным шрифтом письмо в редакцию одного из рабочих судостроительных мастерских под укоризненным заголовком: «Нет, товарищи, так мы счастья не достигнем!»

У меня появилось ясное ощущение, что жизнь в Одессе исчерпана. Такое чувство бывало у меня уже несколько раз в жизни и никогда не обманывало, — значит, надо было уезжать. Но никаких возможностей для этого не представлялось: ни денег, ни командировок.

Однажды в серый и унылый зимний денек в редакцию «Станка» ворвался мимо мальчишек, азартно игравших около чугунной печурки в «свои козыри», Изя Лившиц. Он крикнул, что «Моряк» возобновляется и что через неделю уже надо выпустить первый номер.

Оказалось, что старые моряки-подпольщики и большевики добились возобновления газеты.

Этому предшествовали некоторые удивительные обстоятельства.

Женька Иванов так затосковал без «Моряка»,

что слег, два месяца лежал без движения и даже отказывался разговаривать.

Марина билась изо всех сил, чтобы прокормить его и девочек. «Психопат! — говорила она о муже, но слезы гордости за него тотчас появлялись в ее черных глазах. — Поищите такого второго чудака во всем мире. Вы знаете, что он сказал? «Такие газеты, как наш «Моряк», не умирают».

Мы на радостях расцеловались с Изей. Разъяренный редактор Курс выскочил из своего кабинета в коридор. Мальчишки бросились врассыпную.

Курс кричал, что не отпустит меня, что это саботаж, вредительство, подвох и, наконец, контрреволюция. Мы с Изей только хохотали в ответ. Курс махнул рукой и покорился.

Сколько раз я уже убеждался, что ничто хорошее не повторяется. Если и следует ждать хорошего, то каждый раз, конечно, непохожего на пережитое. Но человек так неудачно устроен, что все-таки ждет прекрасных повторений, ждет воскрешения своего собственного прошлого, которое, смягченное временем, кажется ему пленительным и необыкновенным.

Я вернулся в «Моряк». Но он уже был другим. Что-то изменилось. Уловить это изменение я

не мог, но газета стала суше, а жизнь редакции — чуть скучнее.

Поэтому я был счастлив, когда Иванов предложил мне поехать корреспондентом от «Моряка» по всем портам Черного моря, от Одессы до Батуми. Дело в том, что семьдесят заклепок где-то разыскали, пароход «Димитрий» вышел наконец из ремонта, и его посылали на Кавказское побережье. То был первый рейс пока что единственного советского парохода от Одессы до Батуми, по местам, недавно очищенным от белых.

«Димитрий» вез мины, кое-какие продукты для Крыма и моряков, которые должны были налаживать работу в только что отбитых голодных и полуразрушенных портах.

Кроме того, «Димитрий» взял несколько пассажиров и около двухсот мешочников, ехавших в Крым за солью. В те времена это никого не удивляло.

«Димитрий» отваливал от Одессы в первых числах января.

Напоследок Одесса показала мне удивительное зрелище, вряд ли возможное в другом городе. Я говорю о похоронах знаменитого «Сашки-музыканта», так великолепно описанного Куприным в его «Гамбринусе».

В Одессе я привык перечитывать в газетах все, вплоть до объявлений. Никогда нельзя было знать, где встретятся перлы одесского стиля.

Я помню, как ошеломило меня одно похоронное объявление и своим содержанием, и своим умелым набором. Выглядело оно так:

Рухнул дуб
ХАИМ ВОЛЬФ СЕРЕБРЯНЫЙ
и осиротелые ветви низко склоняются
в тяжелой тоске. Вынос тела на 2-е еврейское кладбище
тогда-то и там-то.

Это было очень живописное объявление. Можно было довольно ясно представить себе этот «могучий дуб», этого биндюжника или портового грузчика — Хаима Серебряного, привыкшего завтракать каждый день фунтом сала, «жменей» маслин и полбутылкой водки. Но всех особенно умиляли эти «осиротелые ветви» — сыновья и дочери могучего Хаима.

И вот однажды в «Одесских известиях» было напечатано объявление о смерти Арона Моисеевича Гольдштейна. Кажется, покойного звали именно так. В точности не помню. Никто не обратил бы внимания на это объявление, если бы внизу, под

фамилией «Гольдштейн», не было напечатано в скобках: «Сашка-музыкант» из «Гамбринуса».

До тех пор я был убежден, что почти все литературные герои вымышлены. Жизнь и литература в моем представлении никогда не сливались неразрывно. Поэтому объявление о смерти Сашки-музыканта несколько смутило меня.

Я перечитал «Гамбринус». Все в этом рассказе было точно, как протокол, и вместе с тем рассказ был гуманен до слез и живописен, как летний вечер на Дерибасовской.

Что же придавало этому рассказу то свойство, какое я не знал как назвать — подлинностью искусства или благородной чувствительностью? Очевидно, благородная чувствительность и человечность самого Куприна сообщали этому рассказу черты подлинного большого искусства.

Мне было трудно поверить, что Сашка-музыкант, с детства бывший для меня литературным героем, действительно жил рядом, в мансарде старого одесского дома.

Мне посчастливилось. Я видел подлинную концовку рассказа «Гамбринус» — похороны Сашки-музыканта. Эту концовку дописала вместо Куприна сама жизнь.

Сашку-музыканта провожала на кладбище вся

рабочая, портовая и окраинная Одесса.

Худые лошади, часто останавливаясь от одышки и свистя бронхами, тащили черные дроги с гробом. Каждый раз толпа терпеливо ждала, когда лошади наконец отдышатся. Отдохнув, они сами, без понуканий со стороны рыжего возницы, влегали в постромки и, низко наклонив головы, тащили гроб дальше. Мутные слезы старости стояли в прекрасных глазах этих замученных лошадей.

Рядом со мной шел репортер «Моряка» старик Ловенгард. Он вспоминал, глядя на похоронных лошадей, как изредка Сашка-музыкант играл старинный цыганский романс «Пара гнедых, запряженных с зарею», а уличная певица Вера по прозвищу Марафет пела его так, что некоторые посетители «Гамбринуса» плакали навзрыд.

Рыжий возница курил махорку и виртуозно сплевывал на мостовую. Рваная кепка была надвинута у него на один глаз. Всем своим видом этот старик свидетельствовал, что жизнь уже не та, что была при Саше. «Какая жизнь, когда подковать этих несчастных коняг стоит чуть ли не миллион рублей! Раньше за миллион можно было купить все Ближние Мельницы со всеми их садочками, абрикосой, борщами и конями!»

За гробом шла большая толпа. Переваливаясь, брели старухи в теплых платках — те, что хорошо знали Сашу, когда были еще задорными красотками. Молодых женщин в толпе почти не было.

Женщины шли тотчас за гробом, впереди мужчин. По галантным правилам нищего одесского люда («То ж вам Одесса, а не какая-нибудь затрушенная Винница») женщин всегда пропускали вперед. За женщинами шли сизые от холода товарищи Сашки-музыканта.

Около входа в заколоченный «Гамбринус» процессия остановилась. Музыканты вытащили из-под подбитых ветром пальто инструменты, и неожиданная и грустная мелодия старомодного романса поплыла над притихшей толпой:

Не для меня придет весна,

Не для меня Буг разольется…

Люди в толпе начали снимать шапки, сморкаться, кашлять и утирать слезы. Потом кто-то крикнул сзади сиплым и неестественно веселым голосом:

— А теперь давай Сашкину! Любимую!

Музыканты переглянулись, кивнули друг другу, бурно ударили смычками, и по улице понеслись игривые, скачущие звуки:

Прощай, моя Одесса,
Славный Карантин!
Нас завтра угоняют
На остров Сахалин!

Я смотрел в толпу. Это были все бывшие завсегдатаи «Гамбринуса»: матросы, рыбаки, контрабандисты, кочегары, рабочие, биндюжники и грузчики — крепкое, веселое, забубённое одесское племя. Что с ними сталось теперь? «Жизнь нас сильно погнула», — покорно соглашались престарелые морские люди. «Да и то сказать, жизнь никак не обдуришь. Жизнь надо выдюжить, скинуть с горба в трюм, как пятипудовый тюк. Вот и скинули, а счастья пока что маловато. Да и не дождешься его — не тот уже возраст. Вот и Саша лежит в гробу, белый, сухой, как та обезьянка! А счастье пойдет молодым. Им, как говорится, и штурвал в руки. Нехай живут вольно и по справедливости. Мы для прихода той вольной жизни тоже немало старались».

Ловенгард осторожно взял меня за локоть и сказал:

— Я первый привел Александра Ивановича Куприна в «Гамбринус». Он сидел, щурил монгольские глаза, пил водку и посмеивался. И вдруг

через год вышел этот рассказ. Я плакал над ним, молодой человек. Это шедевр любви к людям, жемчужина среди житейского мусора.

Я не знал, что Ловенгард был знаком с Куприным, но с тех пор мне всегда казалось, что Куприн просто не успел написать о Ловенгарде.

Единственной страстью этого одинокого, опустившегося старика был Одесский порт. В газетах ему предлагали выгодную работу, но он всегда отказывался и оставлял за собой только Одесский порт.

С утра до заката, в любое время года и в любую погоду он медленно обходил все гавани, подымался на пароходы и опрашивал моряков обо всех подробностях рейса. Он в совершенстве говорил на нескольких языках, даже на новогреческом. С одинаковой изысканной вежливостью он беседовал с капитанами и портовыми босяками. Разговаривая, он снимал перед всеми старую шляпу.

В порту его прозвали «Летописцем». Несмотря на нелепость его старомодной фигуры среди грубого на язык населения гаваней, его никогда не трогали и не давали в обиду. Это был своего рода Сашка-музыкант для моряков.

Одиннадцать баллов

«Димитрий» погрузил в трюм корпуса плавучих мин для Севастополя, взял на палубу двести мешочников, ехавших в Крым за солью, и отошел из Одессы.

Провожал меня только Изя Лившиц.

Стоял холодноватый, но тихий зимний день. На молах на месте вчерашних луж хрустели тонкие, как слюда, ледяные корки. Перепархивал редкий снег. Казалось, можно было пересчитать все снежинки.

Чайки, взлетая, били красными, озябшими лапками по воде, будто для того, чтобы согреть их.

«Димитрий» стоял у мола, сильно накренившись. Вблизи он оказался меньше, чем представлялся сверху, с бульвара. Изо всех щелей «Димитрия» сочился и зловеще шипел пар. От парохода тянуло запахом бани и прачечной.

Палуба была завалена мешками. На них сидели и лежали мешочники — замотанные по глаза платками женщины и мужчины в пахнувших дегтем сапогах.

Меня устроили в четырехместной каюте. В ней разместилось восемь человек. Четверо лежали на

койках, трое — на полу, а один человек — речник с Волги — сидел в раковине умывальника, так как все равно воды в умывальнике не было.

Там он и спал. На ночь мы привязывали волгаря полотенцем к вешалке, ввинченной в стену, чтобы он не свалился на спящих.

Но волгарь не роптал. Он чувствовал себя среди моряков стеснительно и старался оставаться в тени.

Все остальные обитатели каюты, кроме меня и волгаря, были военные моряки. С двумя — самыми молодыми — я спал на полу.

Лежавший рядом со мной бывший мичман, капитан Санжейского плавучего маяка, в первый же вечер нашего плавания сказал в пространство:

— Чистосердечно советую гражданским товарищам в случае каких-либо происшествий не отставать от нас, моряков.

Я промолчал, а волгарь расхрабрился и спросил:

— Вы думаете, будет опасный рейс?

— По всем данным, — с явным удовольствием ответил мичман. — «Димитрий» идет, как говорят французы, прямо в открытый гроб.

Мичмана резко одернул комиссар Николаев-

ского порта.

Но никаких признаков опасности пока что не было. Мы отвалили в легком, моросящем тумане. Амфитеатр города, купол Оперного театра, дворец Воронцова, потом Фонтаны и знакомая башня Ковалевского — все это, покачиваясь, медленно уходило во мглу и вскоре совсем исчезло. Тихо шумели, подгоняя друг друга, бесконечные волны.

В камбузе нашелся кипяток, и мы, сидя на полу, со вкусом напились чаю с сахарином.

Вечером волны начали шуметь сильнее, но мирный запах пара и каменноугольного дыма и мерное качание парохода успокоили всех.

Я крепко уснул. Сколько времени прошло, не знаю, но когда я проснулся, то мутно и далеко, будто за километр от меня, горела над умывальником лампочка, волгарь раскачивался и держался за края раковины, меня било плечом о дверь каюты, и все вокруг трещало на разные голоса. Было слышно, как «Димитрий» с тяжелым вздохом проваливался в воду и с трудом из нее вылезал.

— Ишь, штормяга! — неодобрительно сказал кто-то из моряков. — За час развел волну до семи баллов.

Но моряки были спокойны, и это подбадривало и нас, обыкновенных смертных.

В каюте было тесно и душно. Каюта внезапно толкалась, стараясь свалить нас всех в одну кучу, потом начинала дергать нас из стороны в сторону, вытирая нами, как швабрами, пол.

Молодой мичман приоткрыл дверь и заглянул в коридор. Там уже вповалку густо лежали мешочники, сбежавшие с палубы. Среди них стоял, упершись дрожащими ладонями в стены узкого коридора, старый еврей в длинном лапсердаке.

— Чего вы стоите? — сказал мичман. — Укачаетесь. Надо лечь.

— Разве вы не видите, пане, — ответил еврей, — что мне негде положиться?

Куда ехал этот местечковый старик, непонятно. Во всяком случае, он выглядел совершенно дико на морском скрипучем пароходе во время качки и ночного шторма.

Мичман вышел в коридор, растолкал спящих мешочников и очистил место для старика.

— Библейский персонаж из Всемирного потопа! — сказал мичман, возвратившись в каюту.

Я лежал у стены и слушал, как валы, сотрясая пароход, ударяли в топкий железный борт. Мне становилось не по себе. Странно было сознавать,

что в четырех миллиметрах от твоего разгоряченного лица несутся во мраке горы ледяной осатанелой воды. И в каком мраке!

Я посмотрел на иллюминатор. Непроницаемая, как бы подземная тьма простиралась там, в первобытном хаосе непонятно огромных водных пространств.

Никто не спал. Все прислушивались, «Димитрий» резко потрескивал. Нельзя было понять, почему до сих пор не раскрошились в щепки трухлявые стены кают, полы и потолки, тогда как качка корежила, гнула и расшатывала все винты, болты, скрепы и заклепки.

Каждый раз, когда раздавался сильный треск, я взглядывал на моряков. Они были спокойны, но часто курили. Я тоже много курил, убеждая себя в том, что запас плавучести у нашего престарелого «Димитрия» гораздо больший, чем я, гражданский невежественный товарищ, предполагаю.

Все мы ждали утра. Но оно скрывалось еще страшно далеко в плотном, охватившем полмира, завывающем мраке.

Качка усиливалась. Пароход уже стремительно и сильно клало то на один, то на другой борт. Винт все чаще выскакивал из воды на воздух. Тогда «Димитрий» яростно трясся и гудел от на-

пряжения.

— А не может нас выбросить таким штормом на берег? — неожиданно спросил волгарь, стараясь удержаться на умывальнике.

Моряки пренебрежительно промолчали. Только минут через десять суровый и вместе с тем добродушный комиссар Николаевского порта ответил:

— Шторм уже загибает до десяти баллов. Конечно, все может быть. Но не надейтесь на берег. Чем дальше от него, тем спокойнее.

— Почему? — спросил волгарь.

— Потому что у берега пароход непременно подымет волной и разобьет о дно. Или о скалы. И никто не спасется.

А я-то, поглядывая каждые десять минут на часы в ожидании рассвета, мечтал, что мы сможем подойти к берегам Северного Крыма и высадиться на них — на эту скудную щебенчатую и спасительную землю.

Среди ночи молодой мичман встал, натянул сапоги, надел кожаный плащ с капюшоном и небрежно сказал:

— Пойти посмотреть, что там у них делается наверху.

Он ушел, но скоро вернулся, весь мокрый, от

капюшона до пят.

Никто его ни о чем не расспрашивал, но все напряженно ждали, когда он заговорит сам.

— Речь — серебро, а молчание — золото, — насмешливо промолвил мичман. — Ну, так слушайте. Волна валит через палубу. Смыло две шлюпки из четырех. Погнуло планширь. Дошло до одиннадцати баллов. Но это пока еще пустяки.

— Хороши пустяки! — пробормотал комиссар Николаевского порта и сел на койке. — Рассказывайте! Что еще?

— Волнами повредило форпик[78], и у нас открылась некоторая течь…

— Донки[79] работают? — тихо спросил комиссар.

— Работают. Пока справляются. Но машина сдает.

— Двигаемся?

— В том-то и дело, товарищ комиссар, что не выгребаем.

— Сносит?

---

[78] Комментарии: 78

Форпик— крайний носовой отсек судна, где обычно размещается цистерна для водяного балласта.

[79] Комментарии: 79

Донки — донка— судовое название, применяющееся к большинству поршневых паровых насосов.

— Так точно!

— К берегам Румынии?

— Так точно!

Комиссар встал и схватился за верхнюю койку.

— Так там же… — начал он и осекся. — Пойду-ка я к капитану и выясню.

Он ушел. Мы долго молчали.

— Весь анекдот в том, — сказал один из моряков, — что у этих самых берегов Румынии немцы во время войны разбросали огромные, просто роскошные букеты мин. Они там стоят до сих пор. Если нас тянет на эти мины…

Он не досказал, что тогда будет с нами, но и без него мы прекрасно это знали.

Комиссар возвратился и, не снимая кожаного пальто, сел на койку и закурил.

Снаружи с пушечным гулом била и шипела волна и пронзительно, все время набирая высоту, свистели снасти. От этого свиста леденела кровь.

— Дали SOS[80], — вдруг сказал комиссар и помолчал. — Бесполезно! В наших портах судов нет. А из Босфора в такой шторм никто носа не высунет, даже «Сюперб». Дошло до одиннадцати баллов. Так-то, приятели!

---

[80] Комментарии: 80

SOS (Save our souls! (англ.) — Спасите наши души!) — сигнал бедствия терпящих кораблекрушение.

Все угрюмо молчали. Было слышно, как в коридоре плескалась вода. Ее налило с палубы через комингсы — высокие железные пороги.

Так прошел день, пришла в гуле урагана окаянная вторая ночь. Но шторм не стихал, и казалось, не стихнет до последнего дня этого мира.

На третий день наступило какое-то всеобщее оцепенение. Всех, даже старых моряков, очевидно, замотало.

На четвертую ночь я сидел с закрытыми глазами, упершись ладонями в пол, и считал размахи парохода. Иногда они делались слабее, и тогда я торопливо закуривал. Но это обманчивое затишье длилось недолго, сердце снова срывалось, замирая, и каюта взлетала и косо падала в невидимую пропасть.

А потом страшно медленно, останавливаясь и как бы раздумывая, не вернуться ли ей обратно, за потным иллюминатором начала наливаться сизая и скверная заря. Свист снастей дошел до осатанелого визга.

Дул норд-ост, «бич божий», как говорили моряки. От них я узнал, что норд-ост дует или три дня, или семь, или, наконец, одиннадцать дней.

В коридоре зашевелились и заговорили хриплыми голосами мешочники, заплакали изму-

ченные женщины. Какая-то старуха все время исступленно бормотала за дверью каюты одну и ту же молитву: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!» При сильных размахах парохода старуха, очевидно, пугалась, обрывала молитву и только быстро говорила: «Крепкий, помилуй нас! Крепкий, помилуй нас!»

Я решил впервые выйти на палубу. Моряки говорили, что в каюте гораздо тяжелее, чем снаружи.

Комиссар Николаевского порта пошел вместе со мной.

— Вам одному нельзя, — сказал он. — Без меня вас просто не пустят на палубу. И опять же вас может смыть.

По косточку в воде, в тошнотворном запахе блевотины мы добрались среди лежавших прямо в воде и стонавших мешочников до узкого трапа. Он выходил на верхнюю рубку, а оттуда — на палубу.

Комиссар сильно нажал плечом на дверь рубки. Она распахнулась. Струей воздуха нас вышвырнуло наружу.

Я схватился за обледенелый канат и увидел то, что предчувствовал в темной каюте, — зрелище исполинского, небывалого шторма. Оно напол-

нило меня обморочным ощущением отчаяния и ужасающей красоты.

Я стоял перед штормом лицом к лицу — жалкая, теряющая последнее тепло человеческая пылинка, — а он гремел, нес стремительные, железного цвета валы, рушил их в темные бездны, швырял в набухшее небо извержения брызг и холодного пара, накатывался тысячетонными холмами, рвал воздух и лепил с размаху в лицо липкой пеной.

Корма «Димитрия» то взлетала к облакам, то уходила в воду. Длинные и крутые волны вздымались и неслись от горизонта до горизонта. Они гнали перед собой буруны и открывали в провалах величественную и мучительную картину движения свинцовых водных громад — той ураганной области, через которую мы должны были прорваться, чтобы остаться в живых.

— Смотрите! — крикнул комиссар и показал на море.

Я ничего не понял и взглянул на него с недоумением.

— Смотрите, какие испарения! — снова прокричал он.

И тогда я увидел, как между гудящих валов вырываются из серо-зеленой воды, как порохо-

вой дым из дула тысячи орудий, быстрые и злые струи пара.

Позже, в каюте, комиссар объяснил мне, что эти столбы пара, всегда бьют из воды во время вторжения ледяных штормов в теплые морские пространства.

Потом я увидел впереди исполинскую стену разъяренного моря, катившуюся на нас с космическим гулом во весь разворот горизонта. Комиссар схватил меня за руку и втащил в рубку. Дверь захлопнулась намертво сама по себе.

— Держитесь! — прокричал комиссар.

В рубке стало темно. «Димитрий» треснул, понесся вверх по срезу водяной горы, потом остановился и ушел, дрожа, в воду по самый капитанский мостик. «Конец! — подумал я. — Лишь бы не закричать от страха».

Пароход глухо взвыл, повалился набок, и я увидел сквозь иллюминатор, как вода широкими водопадами сливается с палубы обратно в море.

— Что это было? — бессмысленно спросил я комиссара.

— Еще две-три таких волны, и прощай! — ответил он громко и посмотрел на меня отсутствующими, белыми глазами.

Но ни вторая, ни третья такая волна не при-

шли. Море все так же ревело как бесноватое, но размахи «Димитрия» стали как будто меньше и спокойнее.

Мы отдышались и вернулись в каюту. Ветер уже не визжал, как недавно, а ровно гудел в снастях и трубе парохода. В неистовстве бури произошел неожиданный перелом.

В каюту заглянул боцман с обваренным от норд-оста лицом и сказал, что машина опять выгребает и мы, правда, медленно, но все же пошли против шторма.

Моряки повеселели. Они даже начали вытаскивать из своих кошелок и чемоданов кое-какие скудные продукты.

Я с наслаждением жевал кусок ячневого хлеба, когда вдруг с палубы сквозь шум бури, отплевываясь и задыхаясь, завыл пароходный гудок.

Моряки побледнели и вскочили. Вокруг на сотни миль бушевало только одно штормовое море. Что мог означать этот гудок?

Торопливо застегивая шинели, моряки бросились наверх, на палубу. Я тоже поднялся вслед за ними. Я приготовился увидеть воочию гибель «Димитрия», весь тот медленный ужас, что воплощен в одном коротком слове «кораблекрушение».

Но ничего страшного на палубе не случилось. Все так же остервенело ходило горами море. По юту бежали матросы в штормовых плащах, волоча канат.

— Почему гудим? — крикнул им комиссар.

— Земля открылась! — ответил один из матросов. — Тарханкут!

Комиссар выругался от неожиданности и пошел на мостик к капитану. Я вскарабкался вслед за ним по крутому скользкому трапу.

С капитаном я познакомился еще в Одессе. То был совершенно седой, необыкновенно худой и необыкновенно спокойный старик.

— Извините, — сказал он нам, — за беспокойство с гудком. Мой помощник стоял на вахте вместе со мной, увидел берег и на радостях дал гудок. Переполошил всех. Ему это, пожалуй, простительно: он первый раз попал в такую штормягу.

— А вам, — спросил я, — часто приходилось бывать в таких передрягах?

— Где? — спросил капитан и отогнул угол брезентового капюшона на плаще, чтобы лучше слышать. — На Черном море?

— Да, здесь.

— Раз двадцать, — ответил капитан и застен-

чиво улыбнулся.

Его серые старческие глаза сильно слезились от ветра. Рука, лежавшая на планшире, дрожала.

— До войны, — сказал он, — в штормовую погоду не в пример было спокойнее плавать. А теперь море нашпиговано минами. Шторм их посрывал с якорей и носит как попало. Вот и жди, когда он подкинет тебе мину под днище.

— А я берега что-то никак не найду, — смущенно пробормотал комиссар, опуская бинокль. — Одна бешеная вода.

— Да сейчас вряд ли и увидите, — согласился капитан. — Он еще далеко. Вы смотрите на небо. Вон, замечаете над самым горизонтом темную полоску на облаках? Там земля. Это своего рода отражение земли на пасмурном небе.

На мостик поднялся старший механик — человек с красным, как перец, гневным лицом.

— Аристарх Петрович, — сказал он умоляющим голосом капитану, — идите к себе в каюту и отдохните. Ветер падает. Машина пока что тянет нормально. В вашем возрасте не сходить третьи сутки с мостика и не спать — это, знаете, похоже на самоубийство. Команда хочет радио послать в управление пароходством и Марии Никитичне. С жалобой на вас.

— Ну, это положим, — капитан усмехнулся, — без моего разрешения радист не передаст. А я, пожалуй, правда пойду прилягу. Часа через три войдем в бухту Караджи. Вот она. — Он показал нам на карте полукруглую маленькую бухту к северу от мыса Тарханкут. — Там будем отстаиваться, пережидать шторм. Так что до Караджи я, пожалуй, посплю. Извините меня, товарищи. — Он подошел к трапу, но обернулся и спросил комиссара — Это ваш матросский отряд у нас на пароходе? Шесть человек.

— Нет, не мой, — ответил, насторожившись, комиссар. — Они из Одессы. А что?

— Головорезы! Едут нахрапом, документов не показывают. У одного серебряный браслет на ноге. Следовало бы проверить.

— Проверю обязательно, — успокоил его комиссар.

— Жоржики! — добавил старший механик. — Сачки! Переодетая шпана. Оружием обвешаны до пупа. Только, спасибо, штормом их здорово стукнуло по башке, а то бы они галдели наперебой и резались в кости.

Механик ушел. Мы с комиссаром еще несколько минут постояли на мостике рядом со старшим помощником, заступившим вместо капитана

на вахту.

Мы смотрели на бледно-свинцовое небо на востоке, на темную полосу на нем, похожую на струю неподвижного черного дыма. Если это было отражение земли, то до нее было еще далеко.

Хотелось еще побыть на мостике, но правила морской вежливости не позволяли нам этого, и мы спустились в каюту.

Внизу, в коридорах и каютах, стоял возбужденный шум. Все уже знали, что открылся берег и что нас меньше качает именно потому, что отдаленная и благословенная земля уже прикрывает нас своим крылом от ледяного норд-оста.

Среди ночи раздался длинный, убегающий грохот якорной цепи. Грохот этот повторился два раза. Это «Димитрий» становился на якоря в бухте Караджи около Тарханкута.

Мыс Тарханкут с давних пор пользовался дурной славой среди моряков. Море у Тарханкута никогда не бывало спокойным, очевидно, от столкновения в этом месте разных морских течений. Вода у мыса бурлила, и судорожная, хотя и недолгая качка выматывала пассажиров и раздражала моряков.

Кроме того, у Тарханкута берега были предательские — низкие, опоясанные мелями и почти

невидные с палубы, особенно в пасмурную погоду. Во время парусного флота здесь случались частые кораблекрушения, и это место получило зловещее прозвище «кладбища кораблей».

Мы стали на якоря. Нас уже качало спокойно и мягко, а по временам качка и совсем затихала. Тогда все вздыхали полной грудью.

Я вышел на палубу. Ветер сек по лицу снежной крупой. Вокруг лежала чугунная тьма. В этой тьме на много миль к северу и югу гремел где-то рядом, не захлестывая в бухту, прибой. Потом вдруг медленной молнией загорелся огонь на Тарханкутском маяке, обвел седым лучом бурлящее море и погас до новой вспышки.

Я вернулся в каюту. Весь пароход уже спал непробудно и тяжело. Только молодой мичман открыл глаза, пробормотал, пытаясь и сейчас острить наперекор всему: «Мертвый сон на мертвых якорях», но тут же, кажется, упал головой на свой тощий чемодан и уснул. Я пишу «кажется» потому, что этого не видел: на последнем слове мичмана я как бы впал в бесконечную летаргию.

Утром мы увидели совсем близко от лязгавшего якорными цепями «Димитрия» красноватый берег. Очень возможно, что не было на всей земле более скудного места, чем эта спасительная для

нас бухта Караджи.

Нагая солончаковая степь в редких пучках почернелой травы поблескивала полосками снега. Он слежался в углублениях и бороздах.

Даль, ровная как натянутый шнур, уходила в глинистую муть. Над мутью косо неслись, сбрасывая заряды снежной крупы, низкие тучи. Ни человека, ни птицы, ни развалин лачуги, ни колодца, даже ни одного камня, похожего хотя бы на могильный, не было видно на этой коричнево-черной земле.

Людей обвиняют в неблагодарности, и большей частью не зря. Но тогда, после жестокого шторма, у меня появилось искреннее чувство благодарности к этой бухте и к ее убогой земле.

По библейским понятиям, она была проклята Богом отныне и до века. Но она закрыла нас своим иссохшим и бесплодным телом от беспощадной стихии. Волны, обезумев от ярости, били совсем рядом в берега с такой силой, что они сотрясались.

Комиссар Николаевского порта одолжил мне морской бинокль. Прячась за каким-то теплым железным кожухом, я долго рассматривал берега, надеясь увидеть людей. Но ни людей, ни других признаков жизни нигде не было видно.

Невозможно было поверить, что это действительно крымская земля, Таврида, что в каких-нибудь ста километрах отсюда благоухающее солнце греет листву буковых лесов.

В бухте Караджи мы простояли четыре дня. Шторм упорствовал, не стихал, и каждый раз при виде оловянного моря, ревущего без всякой надобности и смысла, начинала саднить на сердце тоска.

«Димитрий» за эти четыре дня стал похож на брандвахту — общежитие для всякого портового люда и отставных моряков, где они ютятся со своими замызганными и бранчливыми семьями.

Такие брандвахты существовали почти во всех больших портах. Под них отводили устаревшие, изношенные пароходы. Их ставили на причал в самом отдаленном уголке порта, чтобы они не портили своим видом современный пейзаж.

Брандвахты мигом обрастали принадлежностями сухопутного, главным образом кухонного быта — жестяными трубами от печурок, веревками для просушки белья и самим бельем — разноцветным, почему-то главным образом фиолетовым и мутно-розовым, — цинковыми погнутыми корытами, решетчатыми ящиками, где почмокивали кролики с глазами как из красной

смородины, престарелыми котами, что мылись на салингах с видом отставных адмиралов, щенками, лаявшими на чаек, что подбирали вокруг брандвахты отбросы.

За четыре дня стоянки «Димитрий» сразу же оброс стираным бельем. Стирали его без мыла, забортной водой. Поэтому оно было покрыто желто-серыми пятнами и разводами. Отовсюду уже тянуло густым запахом жилья.

Во время шторма мешочники безучастно смотрели, как бесценное их добро летело в море. Иные мешочники даже помогали матросам.

Но сейчас, когда страх смерти прошел, мешочники начали роптать и обвинять капитана в самоуправстве. К тому же нечего было есть.

Капитан, пользуясь правилом «об аварии на море», приказал открыть трюм, где мы везли для Крыма немного ячневой крупы. Крупу роздали пассажирам. Варить ее было нельзя: камбуз из-за шторма не работал. Кроме того, уже не хватало пресной воды.

Крупа была густо перемешана с мышиным пометом. Пассажиры занимались тем, что перебирали эту крупу, а потом съедали ее сухой, как едят семечки.

Воду на «Димитрии» берегли. На каждого в

сутки выдавали только по литру этой пахнущей железом, мутноватой воды со дна цистерны.

Еще гимназистом я читал о традиционных бунтах на парусных кораблях, о пистолетном дыме и капитанах, выброшенных в море мятежной командой. Но никогда, ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде, я не мог вообразить, что буду свидетелем такого бунта в двадцатом веке, на нашем мирном Черном море, у берегов благословенного Крыма.

Начали бунт шесть «жоржиков» — матросов в широченных брюках клеш. К ним присоединилась часть мешочников.

— Почему стоим четвертые сутки? — кричали матросы.

Им объясняли, что шторм еще не стих, что между Тарханкутом и Севастополем тянутся оставшиеся после войны обширные минные поля и по ним идти в такой шторм — безумие.

Матросы и мешочники послали к капитану делегатов, но капитан, выслушав их, сказал, что пароход все равно будет отстаиваться сколько нужно и незачем пассажирам соваться не в свое дело.

— А с голоду подыхать — наше дело? — зашумели матросы. — Другие капитаны напролом

по минам идут, ничего не боятся! А нам что ж, давать дуба из-за этого тюти капитана! Пусть подымает пары и снимается. А то разговор у нас с ним будет короткий. За борт — и амба! Даем полчаса на размышление. За свою шкуру дрожит, старый хрыч, на нас ему начхать! Сами поведем пароход! Подумаешь, большое дело!

Мешочники, бегая злыми глазами, поддакивали матросам, хотя и побаивались, поглядывая на море. Оно все еще неслось в небольшом отдалении от нас вереницей стремительных пенных валов.

На третий день стоянки в Караджи к нам в каюту постучал боцман «Димитрия». Он вполголоса сказал, что матросы и часть мешочников собрались около каюты капитана, шумят, ломятся в дверь каюты и грозятся выбросить старика капитана в море.

Комиссар Николаевского порта встал, натянул шинель, взял маузер, приказал нам без нужды до его выстрела не подыматься на палубу и вышел вместе с боцманом. По лицу у комиссара ходили железные желваки: он был взбешен.

Мы ждали выстрела, но его все не было. Вскоре до нашей каюты дошли дикие слухи. По словам матросов с «Димитрия», комиссар якобы сразу же

стал на сторону «жоржиков». Он вошел в каюту к капитану, и было слышно, как он кричал на старика. Потом вышел, сказал «жоржикам», что капитан — старая рухлядь и контра, но от того, что его выбросят в море, толку все равно не будет. Надо выбрать из своей среды человека, который мог бы заменить капитана. Дело это серьезное, потому что придется отвечать потом перед правительством. Поэтому его следует тщательно обсудить без вмешательства гражданских пассажиров и без продажных душ — мешочников.

— Пошли в трюм! — сказал комиссар. — Обсудим и выберем капитана. Айда, братишки!

Как только братишки с комиссаром спустились в трюм, матросы с «Димитрия» по приказу капитана с непостижимой быстротой закрыли трюм толстыми деревянными досками, завинтили их болтами, а сверху еще навалили разный груз с палубы. Очевидно, дело это было рискованное, потому что матросы с «Димитрия» хотя и посмеивались, но руки у них тряслись.

В трюме гремели заглушенные проклятия, потом раздались выстрелы. Матросы стреляли вверх. Это было совершенно бессмысленно: выйти из трюма они не могли.

Наша каюта тотчас сообразила, что комиссар

сговорился с капитаном и нарочно увел матросов в трюм. «Как Сусанин!»[81]— радостно сказал молодой мичман. Все были взволнованы тем, что в трюме нет продуктов и воды, и радовались, что комиссар себя не выдал. Иначе ему был бы верный конец.

— Эй, подальше от трюма! Полундра! — на всякий случай покрикивал боцман.

К вечеру шторм начал стихать. «Димитрий» снялся с якорей и, медленно работая машиной, вышел из бухты. Его тотчас начало качать, но эта качка по сравнению с недавней, штормовой, казалась просто колыбельным баюканьем.

Утром я проснулся оттого, что в иллюминатор свободно лилось солнце. Стекло иллюминатора заросло солью. Но даже через ее серую пленку сияла густейшая синева. Качки не было, «Димитрий» только тихо вздрагивал от вращения винта.

Я выскочил на палубу и зажмурился. Слезы потекли у меня из глаз. Прошло несколько минут, пока я снова начал различать все окружающее.

«Димитрий» шел в густой и глубокой синеве.

---

[81] Комментарии: 81

Сусанин Иван (?—1613) — герой освободительной борьбы русского народа начала XVII в., крестьянин Костромского уезда. Зимой 1613 г. завел отряд польских интервентов в непроходимое лесное болото, за что был замучен.

Трудно было уловить ту черту, где синева моря переходила в синеву неба. Крутым откосом, отлитым из золота, сверкал с левого борта мыс Лукулл.

Со снастей срывались оттаявшие сосульки и разбивались о палубу, превращаясь в зернистый снег.

За кормой стояла чернильная стена уходящего тумана. И в тишине бухт, в сиянии зимнего бережливого солнца, в ясности и приморской живописной прелести открылся Севастополь, как некий русский величественный Акрополь.

Акрополь таврический

При входе в Северную бухту к «Димитрию» подошел катер с вооруженными матросами. Они поднялись на палубу, открыли трюм и крикнули вниз:

— С легким паром, сачки! Вылезай по одному! Живо! Начальник выходит последним!

Грязные «сачки» вылезли на палубу. Их обыскали, отобрали оружие, арестовали и увели. А комиссару Николаевского порта вежливо сказали:

— За вами приедет сам комендант порта.

Но комендант, конечно, не приехал, и комиссар только посмеивался в прокуренные усы.

«Димитрий» отшвартовался у пассажирской пристани в Южной бухте. Пассажирам объявили, что дальше «Димитрий» не пойдет. Течь на «Димитрии» усилилась, швы в обшивке разошлись, машина была почти сорвана с фундамента, и потому пароход уведут прямо на корабельное кладбище.

Мне было жаль «Димитрия», особенно когда к нему подошел буксир и «Димитрий», давая прощальные гудки, поплелся вслед за буксиром

на свалку.

Все-таки этот благородный и дряхлый корабль сделал последнее напряжение, прорвался через ледяной шторм и спас всех нас.

Я вышел на берег. Попутчики мои незаметно исчезли. Я остался один.

Куда было идти? И я пошел, конечно, на Графскую пристань, чтобы посмотреть на Севастополь, погруженный в желтоватую древнюю дымку, и решить, что делать дальше. Знакомых у меня в Севастополе не было, если не считать девушки-поэтессы. Но я забыл ее адрес и даже имя.

Я сидел на скамье, греясь на слабом солнце, и дремал от тишины и успокоения, наступившего после недавнего бурного плавания.

Сидел я, должно быть, долго, пока желтоватая дымка не начала приобретать багровый оттенок и с моря, где заунывно мычал звуковой буй на Константиновском рифе, не дохнуло холодным ветром.

Я решил идти в единственное для меня, сотрудника «Моряка», убежище — в Севастопольский союз моряков.

Секретарь союза — пожилой моряк с грустными украинскими глазами — выслушал меня и потом долго смотрел на меня, не говоря ни сло-

ва. Я решил, что он забыл обо мне, и осторожно кашлянул.

— Я об вас сейчас все время и думаю, — сказал секретарь. — Значит, хлеба нет? Ничего нет? И вдобавок нет крыши над головой? Получается хреново!

Он опять надолго замолчал, потом тяжело вздохнул, потянул к себе блокнот из бурой обертночной бумаги и начал что-то долго писать, тщательно проверяя написанное и расставляя знаки препинания. После старика Благова это был второй в моей жизни ревнитель препинаний.

— Вот, — сказал он, — с этой бумажкой пойдете на Садовую улицу, в бывший дом адмирала Коланса. Дадите эту бумажку вдове-адмиральше. Только вы ее не пугайтесь, вы же красный беззаветный моряк. Живет она во флигеле со своими недобитками, а в главном доме на улицу мы устроили вроде как детский сад. Для моряцких детей. Подтапливаем изредка и кое-как подкармливаем. По сути дела, никакого сада нет. Так вот, там можете ночевать, но только с пяти часов дня до восьми утра, пока нету детей. Только, смотрите, ночью не замерзните. А то получится неприятность.

Он протянул мне вторую бумажку — распоря-

жение в морскую пекарню выдать мне буханку хлеба.

— Ешьте по крошкам, — посоветовал секретарь. — Это вам в виде исключения. Вы надолго в Севастополь?

— Не знаю. Нас высадили с «Димитрия». Придется сидеть здесь и дожидаться, когда из Одессы придет второй пароход.

— «Пестель»? — спросил секретарь.

— Да, «Пестель».

— А если он не придет? — неожиданно спросил секретарь.

— Как так не придет?

— А очень просто! Такая же дырявая коробка, как и ваш «Димитрий»! Чтобы прийти, нужно дойти. Вот задача!

Это была непреложная истина, и я не мог с ней не согласиться.

— «Пестель», — сказал я уныло, — должен был выйти из Одессы через неделю после нас.

Секретарь вздохнул.

— Ну, в общем, — заметил он неуверенно, — если хлеба не хватит… может быть, дадим еще малость. Подумаем.

Я поблагодарил его и пошел в пекарню. Было три часа дня, и до пяти мне все равно некуда

было податься.

Пекарня помещалась на третьем дворе, в закоулке. У входа в третий двор стоял вооруженный человек. Он посмотрел мою записку и пропустил меня.

Пекарь вынес мне буханку хлеба, но, не давая в руки, спросил:

— Во что вы ее завернете? И в чем понесете?

У меня не было ни газеты, ни кошелки.

— Э-э-э! — укоризненно протянул пекарь. — У вас его уже в подворотне отнимут. Как же я вам выдам хлеб? Нету никакого смысла мне его вам выдавать.

— Неужели так уж и вырвут? — спросил я.

Пекарь рассердился.

— Вы что, с луны свалились! Вырвут и раздерут по клочкам. Они у ворот дежурят целые сутки. Юрка! — позвал он.

Из задней комнаты вышел мальчик лет десяти. Он был так худ, что казалось, от него остались одни глаза.

— Юрка, — приказал мальчику пекарь, — выведи этого чудака с хлебом на Мичманский бульвар фарватером «Ижица». Только чтобы все было в аккурате. Хлеб, товарищ, спрячьте под пальто. И не вздумайте есть его на улице. Ни-ни! Увидят

— тогда вас уже ничто не спасет. *Они…* — сказал он значительно и повторил — *Они* беспощадно следят за каждым.

— Кто это «они»? — спросил я.

— Ей-богу, товарищ, неначе вы свалились с Марса. Как — кто? Голодные, конечно.

Мальчик провел меня через пекарню в узкий проход между высоких стен. В одной стене была пробита калитка. Мальчик открыл ее громадным медным ключом, и по внешней чугунной лесенке, заставленной вазонами с высохшими фуксиями, мы поднялись на второй этаж старого дома.

Мальчик ловко открыл гвоздем резную дубовую дверь с изображением мечей и знамен, и мы вошли в чью-то квартиру.

— Идите тихо, не пугайтесь, — сказал мальчик. — Только ни с кем не разговаривайте. Можете только поздороваться, если хотите.

Он толкнул первую дверь. Мы пошли в гостиную с роялем, портретами важных адмиралов с длинными баками и пустым аквариумом. В него доверху была навалена черная картофельная шелуха. Она уже дурно пахла. На софе лежала маленькая и желтая, как птичка, пожилая женщина.

— Болтаются тут целый день, — сказала женщи-

на, — и еще вежливость разводят! Здороваются! Никто вас не просил здороваться!

Я смущенно проскочил за Юркой в следующую комнату, должно быть бывшую столовую.

Из-за китайской шелковой ширмы высунулась сонная, всклокоченная голова красивого молодого человека. Он посмотрел на Юрку и погрозил ему кулаком.

— Видал миндал?

— Вы не очень показывайте! — сказал, задираясь, Юрка. — Ходил и буду ходить. Вы что ж думали, мы вам задарма хлеб выдаем? За какие такие ваши заслуги перед революцией? Паразиты!

Голова тут же скрылась. Потом мы прошли через заросшую паутиной кухню. Там сидела молодая миловидная женщина без единой кровинки в лице. Подняв платье, она неподвижно смотрела на свои опухшие колени, растирала их ладонями и плакала.

Из кухни мы вышли в сухой сад, перелезли через невысокую ограду и очутились в конце пустынного Мичманского бульвара. Юрка попрощался со мной и пошел обратно.

— Вот это и есть фарватер «Ижица», — сказал он напоследок. — Самый надежный. Для женщин

и безоружных. Ну, счастливо вам донести. Только, упаси бог, на улице хлеб не отщипывайте. И не ешьте.

До пяти часов я просидел на поломанной скамейке на Мичманском бульваре. Могильная тишина звенела над Севастополем.

Только один раз беспорядочно прогремела где-то рядом по булыжнику ручная тележка. Я увидел ее в просвете между высохшими ветками туи.

Тележку тащили две молодые женщины. На тележке лежал лицом вниз босой человек, голый до пояса. Я не сразу догадался, что он мертвый.

Я пошел на Садовую улицу.

Я шел по окостенелому городу. Изредка из глубины дворов тянуло слабым трупным запахом. Сухой плющ тихо скрежетал на выветренных подпорных стенках. Не верилось, что на эти червивые каменные стенки падал хоть когда-нибудь теплый свет солнца.

Время сразу же отодвинуло меня на два-три года назад. В облике умирающего и скудного Севастополя я узнавал и Киев и Одессу времен сыпняка и голода.

Пока я шел, задул жесткий, режущий ветер, очевидно норд. Тотчас вдоль всех улиц заскрипели на крышах покоробленные листы железа.

Ветер искоса нес снег, совсем непохожий на наш, русский. Он был серый и тотчас смешивался на мостовых с ворохами сухой акациевой листвы, размолотой в крошку. Грифельного цвета небо волочилось в сторону открытого моря, унося с собой, казалось, последний свет, тепло и последние ласковые человеческие голоса.

Я шел мимо зияющих выломанных оконниц в подвалах, боясь заглянуть внутрь. Туда, очевидно, сволакивали мертвых.

Но Садовая улица, расположенная в верхней части города, показалась мне даже в свинцовом свете иссякшего дня уютной и тихой, какими часто бывают заросшие отдаленные тупики.

Я нашел одноэтажный дом вице-адмирала Коланса. На воротах были изображены железные якоря, а во дворе стоял флагшток. Он был деревянный, но его почему-то не спилили на дрова и не сожгли.

В глубине двора виднелся флигель, густо обросший диким виноградом.

Я постучал. Низкий женский голос спросил меня из-за двери, кого мне нужно. Я ответил. Тогда дверь распахнулась, и я увидел на пороге высокую, как гренадер, старуху с копной белых волос на голове и с несколько согнутой кочергой

в руках. Она опиралась на кочергу. Глаза ее метали огонь.

— Да! — сказала она вызывающе. — Вот именно! Я вдова вице-адмирала Цезаря Платоновича Коланс. Но среди его знакомых я, кажется, не видела вас, молодой человек. Зрительная память у меня феноменальная. Поэтому говорите, что вам нужно, но коротко, ясно и грамотно.

Вместо ответа я протянул ей записку от секретаря Союза моряков. Она взяла ее двумя пальцами, встряхнула в воздухе, как бы вытряхивая из нее мусор, и сказала, обернувшись:

— Мария, прочти!

В темную переднюю вышла с тоненькой церковной свечкой в ручке худющая, бледная, как бы неземная девица с синими кругами около глаз. Она была похожа на сомнамбулу или лунатичку. Ни разу не взглянув на меня, она прочла записку, обернулась и в свою очередь позвала:

— Андре, иди сюда и проводи этого господина в детский сад! Он будет там ночевать.

— У вас есть хлеб? — вдруг спросила меня адмиральша.

— Мало.

— Это не важно! — Адмиральша сильно стукнула кочергой по полу. — Я предлагаю вам честный

обмен. Вы дадите нам немного хлеба, а я каждый день буду давать вам козье молоко. Я держу козу! — Она второй раз стукнула кочергой по полу и повернулась к молодому человеку по имени Андре. Он вошел в переднюю и скромно стоял в темноте. — Что из этого? В таких обстоятельствах — запомни, Андре! — сама покойная императрица держала бы козу и доила бы ее собственноручно. Собственноручно! — прокричала адмиральша и в третий раз стукнула кочергой по полу. — Вы согласны?

— С чем? — спросил я. — С тем, что императрица…

— Да нет же! — резко оборвала меня адмиральша. — Императрица была феноменальная дура и наркоманка. Гессенская муха! Из-за нее и произошла эта революция. Я спрашиваю: вы согласны на обмен?

— Согласен, — ответил я торопливо.

— Фунт хлеба, и всё! — Адмиральша в последний раз ударила кочергой по полу и приказала Андре — Возьми ключ и впусти этого человека в главный дом.

Она обернулась ко мне и добавила:

— Но чтобы без глупостей! Не курить махорку, не заворачиваться на ночь в ковер во избежание

вшей (девица Мария ахнула и всплеснула руками) и не пить одеколон и всякую мерзость! Пока что Бог дает мне силы, и я справлюсь с каждым, будь он хотя бы сам архикомиссар. Сам Сатана или сам Вельзевул. Прощайте!

Она повернулась и пошла в глубину темной передней, стуча кочергой. Девица подняла свечу повыше, осветили меня, вскрикнула, уронила свечу на пол. Свеча погасла, а девица бросилась вслед за адмиральшей и закричала:

— Мама! Боже мой! Да это же, кажется, он! Боже мой! Мама!

— Пойдемте! — сказал мне Андре. — Терпеть не могу истеричек! Извините, я не представился: бывший мичман, а ныне козопас у своей мамаши Андрей Цезаревич Коланс, бывший минный офицер с бывшего военного транспорта под бывшим названием «Ратмир».

В детском саду не было ничего, на чем бы можно было сидеть или лежать. Стояли только маленькие креслица и столики. Сидеть приходилось на подоконниках или просто на полу. Спал я тоже на полу, заворачиваясь, несмотря на запрещение адмиральши, в лысый, пыльный ковер.

Я сворачивал ковер длинной трубой, обвязывал обрывком телеграфного провода, чтобы ночью

он сам по себе не развязался, и заползал в эту шерстяную трубу головой вперед. А утром я выползал из ковра точно так же, головой вперед, но только в другую сторону. За ночь я прополз ковер насквозь.

Эта шерстяная труба стала для меня надежным и даже уютным убежищем во время тогдашней севастопольской жизни. Шатаясь без цели по промерзшему до седины городу, я ждал только вечера, той минуты, когда наконец залезу в ковер, немного согреюсь и мне начнут сниться очень связные и почти одинаковые сны. Должно быть, такие сны снились мне из-за духоты.

А снились мне преимущественно маленькие города среди скал, садов, около шумных речек или на морских берегах, где буковые леса подходят к самым пляжам.

Все эти города были населены любимыми людьми или знакомыми. Я несколько раз встречался там с Лелей и дедом Нечипором, со своим отцом и художником Врубелем, гардемарином с учебного корабля «Азимут» и латинистом Субочем, с поэтом Волошиным и санитаром Анощенко, «маленьким рыцарем» Гронским и профессором Гиляровым, с наборщиком из типографии Сытина и Иваном Буниным, с Люсьеной и Амалией

Кностер. С каждым из этих людей возникали во сне крепкие связи и необыкновенные, щемящие сердце отношения. Часто я, впадая в отчаяние, искал в этих снах знакомых людей. Я знал, что они в это же время ищут меня и что наша встреча могла бы быть ознаменована какими-то чудесными, ликующими событиями, но встречи этой никогда не будет.

После таких снов я начинал понимать, что моя жизнь непомерно длинна, тогда как до тех пор она представлялась мне быстролетной и не оставляющей заметного следа. Просыпаясь и перебирая в памяти эти сны, я повторял про себя стихи Фета:

Жизнь пронеслась без явного следа.
Душа рвалась — кто скажет мне куда?
С какой заране избранною целью?

Все в этих стихах сейчас уже было неверным и неправильным для меня, но я повторял их с наслаждением. Должно быть, потому, что они составляли резкую противоположность всему, что происходило около.

Они не умирали, все эти слова, все эти напевы, начиная от Жуковского и Пушкина. Они жили среди голода, болезней, перестрелок, среди эн-

тузиазма, казней, самопожертвования, гнева, невообразимой нищеты и непоколебимой веры в будущее и утверждали для меня простую истину, что сердце народа не повреждено и народ этот не может быть уничтожен ни физически, ни морально. Я уже понимал, что будущее прекрасно, и верил в него. Я уже понимал, что горести этих лет лишь умножают величие народного подвига того времени — времени больших ожиданий.

Но приходилось прекращать все эти замыслы, воспоминания стихов и удивительные сны и вылезать из ковра в изморозь серых стен и ледяного дня. Как только я вылезал из ковра, тотчас начинала зябнуть и болеть голова.

Я шел к адмиральше, выпивал стоя чашку теплого козьего молока и уходил.

Иногда мы выходили из дома вместе с мичманом и грязной козой Мартой. Она была серого жирного цвета, каким бывает залежавшийся стеарин или прогорклое свиное сало.

Мичман тащил козу на веревке на Исторический бульвар. Там коза объедала сухую траву на месте героических бастионов времен Севастопольской обороны.

Во время этих выходов мичман сообщил мне, что его сестра Мария — «маньякальная дура», что

у нее религиозное помешательство и она через день заказывает в соборе панихиду по адмиралу Колчаку. Почти всех невысоких мужчин она считает переодетыми Колчаками, спасшимися от расстрела. Меня она тоже приняла за скрывающегося Колчака, о чем и кричала матери в вечер нашего знакомства.

Целые дни я проводил на Историческом бульваре, беседуя с мичманом. Деваться все равно было некуда. Мы долго грызли по небольшому куску черствого хлеба. Он был покрыт коркой известки. Мне казалось тогда, что весь Севастополь покрывала эта белая известковая кора. Она отваливалась от домов и трещала под ногами.

Потом я шел в столовую Союза моряков, где мне давали тарелку затирухи. В столовой я ухитрялся писать и передал в «Моряк» по портовому радио несколько корреспонденций о Севастополе. Одна из корреспонденций была посвящена героической борьбе «Димитрия» и его команды с ледяным штормом, а вторая — случаю, на наш теперешний взгляд незначительному, но просто ошеломившему меня в ту севастопольскую зиму.

Невдалеке от Артиллерийской бухты начали строить школу. Это строительство казалось мне тогда просто фантастическим.

Покрытые морозной пылью, шатающиеся от слабости люди копали фундамент, били кирками неподатливую каменистую землю, тяжело, со свистом дышали и часто присаживались передохнуть на глыбы желтого инкерманского камня, вытирая рукавами красные, слезящиеся от непрерывного морского ветра глаза.

Каждый удар киркой давался людям с великим трудом. Но, несмотря на это, фундамент с каждым днем углублялся, а потом в траншею легли первые тяжелые плиты известняка.

В то время это, по существу, обыкновенное явление показалось мне чудом. И оно действительно было чудом мужества. В нем как бы материализовалась великая надежда людей на будущее.

Из столовой я шел или на берег Южной бухты, где гремела непрерывная ружейная пальба по бакланам, или на базар. Там шел обмен хлеба на золото и лекарства. Но ни золота, ни лекарств ни у кого не было.

Один раз я пошел в Херсонес, но не дошел до него. Такая отпетая печаль была заключена в аспидных, как дым, степных далях, так жестко, как маленькие трещотки, хрустела под ветром трава и так заунывно стонало море, накатывая на берега траурную пену, что сердце у меня сжалось

от одиночества, и я вернулся в Севастополь.

Проходила уже вторая неделя моего сидения в Севастополе. В Союз моряков пришло радио, что «Пестель» на днях выходит из Одессы, но его все не было. Может быть, он вообще не вышел из Одессы, а может быть, просто погиб. Никто ничего толком не знал.

Я продолжал бродить по городу, заходя время от времени в знаменитую Панораму, где не было ни души. Огромное полотно художника Рубо сотрясалось от ледяных сквозняков.

Я искал по городу теплых мест и зашел как-то в собор. Там холод просверливал насквозь худые подошвы сапог, от дыхания клубился густой пар, но около алтаря горело пять-шесть тоненьких свечей, и привычное представление о тепле, возникавшее от огня, чуть согревало меня. Но все равно озноб бил меня все дни напролет.

Наконец из Одессы пришло радио, что «Пестель» вышел в Батум и будет в Севастополе через сутки. Тогда я перебрался на пристань. Нас было несколько человек, дожидавшихся «Пестеля». Нам разрешили ночевать на пристани, в каморке, заклеенной пожелтевшими расписаниями пароходных рейсов.

Я с радостью переселился хоть на несколько ча-

сов в эту каморку. В ней стояла в углу еще теплая чугунная печка.

Это тепло показалось всем нам истинным чудом, таким неслыханным счастьем, что одна пожилая женщина, сидя около печки, даже расплакалась.

«Пестель» пришел утром. Из совершенно мертвого моря вдруг возникли далекие и красивые очертания старинного парохода с острым носом и бушпритом[82]. Он весь еще был окутан туманом, лежащей на горизонте загадочной желтоватой мглой и медленно приближался к Севастополю. Город тоже лежал в красноватой дымке, позолотевшей от солнца.

Свежий морской день, сотканный из легкого холода и легкой синевы, был прекрасным. Но еще более прекрасным, любимым и незаслуженно покидаемым показался мне Севастополь, когда над его бухтами, онемевшими от безветрия, раздался требовательный гудок «Пестеля». Он как бы разбил, на сотни осколков застоявшуюся тишину.

И осколки эти, звеня, полетели вдоль туманно-синих прибрежий, чтобы упасть с последним жалобным звоном у мыса Айя, Ласпи, у Фороса,

---

[82] Комментарии: 82

Бушприт— горизонтальный или наклонный брус, выступающий за форштевень парусного судна.

Меганома и Карадага — у всех мысов и накатанных пляжей еще не пробужденной от полусмерти, изголодавшейся, но всегда волшебной Тавриды.

В день отъезда Севастополь снова предстал передо мной величественным, простым, полным сознания своей доблести и красоты, предстал русским Акрополем — одним из лучших городов на нашей земле.

В глубине ночи

Из Севастополя «Пестель» отвалил сырым и теплым утром.

Серая прозрачная вода лизала обшарпанные борта парохода, стараясь замыть на них окаменелые потеки соли.

Но это было бесполезно: «Пестель» мало уступал «Димитрию» по своей заржавленности и тесноте.

Я прошел на корму. Скрежетали от натуги железные шкворни, вращающие руль. Каждый поворот руля вызывал широкий, льющийся шум пены за кормой, и бушприт начинал, как говорят моряки, «катиться» то в одну, то в другую сторону.

Пепельный свет падал на город сквозь облака. В этом мягком освещении чувствовалось близкое присутствие солнца. Иногда мне даже казалось, что мое лицо теплеет от невидимых солнечных лучей.

Всем существом я ощущал в этот январский день ласковость юга, мягкость его воздуха, его приятную сырость.

Севастополь! Я бывал в нем в детстве, потом во

время Первой мировой войны и вот сейчас, в пору голода и опустошения. Каждый раз он являлся передо мной совершенно новым, непохожим на прежний.

Я загадывал, каким увижу Севастополь еще через недолгое время. В том, что увижу, я был уверен. И действительно, я потом приезжал в него много раз, жил в нем и полюбил его, как свою вторую родину. С ним было связано много воспоминаний, много горя и радости.

Если бы не Севастополь, то вряд ли так остро и, пожалуй, безошибочно я видел бы выдуманные, но безусловно существующие в пределах вселенной гриновские города, такие, как шумный Зурбаган и зарастающий травами Лисс.

Меня поражало то обстоятельство, что даже легкое прикосновение человеческой руки к благословенной севастопольской земле создавало привлекательные вещи: причудливые переулки, каменные лестницы, тонущие в глициниях, уютные повороты дорог, стремительную игру солнечных вспышек в стеклах домов, балконы, где греются маленькие зеленые ящерицы, полумрак и полусвет кофеен, их вывески, похожие на детские картинки, намазанные густой акварелью.

Севастополь никогда не был для меня городом вполне реальным и будничным.

Иногда мне казалось, что он скучнеет, сереет и теряет живописные приметы. Но тут же размах морского горизонта за окнами или запах копченой султанки возвращали меня к действительности — к Севастополю, разбросанному, как пожелтевшая от древности мраморная россыпь на берегах индиговых бухт, к шуму его флагов, к магниевым искрам маслянистой волны, запаху роз и помидоров, к пришедшему издалека навестить Севастополь ветру Эгейского моря с его свитой розовых высоких облаков.

Я долго смотрел с кормы вслед Севастополю. Потом «Пестель» медленно обогнул башню Херсонесского маяка, и впереди по левому борту открылась стена сиреневых Крымских гор.

Перед отъездом из Севастополя я сутки не спал из-за холода и волнения. Поэтому глаза у меня сейчас слипались. Я нашел себе спокойное, темное место в салоне, под трапом, лег на полу и мгновенно уснул.

Проспал я долго. Когда я проснулся, под трапом было уже темно. В салоне слепо светила электрическая лампочка и пахло кислой капустой.

Судорога свела мне живот. Нестерпимо захо-

телось есть, и я, ужасаясь предстоящей полной своей нищеты, заказал на последние деньги тарелку тушеной кислой капусты. Я съел ее с черствой коркой от моей единственной севастопольской буханки хлеба.

Проснувшись, я решил, что уже наступила ночь, но оказалось, что еще только садится солнце. Как бы залитый темной кровью, отвесный обрыв Крымских гор медленно и грозно двигался за окнами салона. На палубе задувал с востока неприятный ветер. Глухие воды цвета тины бежали навстречу «Пестелю». Рыжие от сухого дубняка обрывы Яйлы кое-где еле тлели последним огнем.

Далеко впереди помаргивал красным глазом огонь Ялтинского портового маяка. И ни единого огня больше не было на всем протяжении берега. Весь Крым был брошен, пуст, выметен зимними ветрами. Он окоченел от стужи.

Я долго всматривался в берега, отыскивая хотя бы жалкий, тлеющий свет, хотя бы язычок свечи, как свидетельство, что кто-то еще жив в этой пустынной стране. Но, кроме мрака, быстро гасившего один за другим зубцы гор, ничего вокруг я не видел.

В Ялту «Пестель» пришел в девять часов вечера.

Город был тих и черен. С окраин долетали одиночные винтовочные выстрелы.

На молу было пусто. Лужи рябили от ветра, валялись разбитые бочки от кислой капусты, и бродили, закинув винтовки за плечо, озябшие часовые в обмотках.

Пассажирам объявили, что «Пестель» простоит в Ялте до утра, так как ночью идти из-за мин опасно. Желающие могут спуститься на мол, чтобы размять ноги, но в город выходить рискованно. Нет света, и к тому же на первом перекрестке могут остановить и раздеть, а то и убить бандиты.

— А не бандиты, — заметил часовой, стоявший у трапа, — так беляки подстрелят. Бежать не успели, ховаются теперь по горам, по гнездам. Их паяльником надо выжигать из тех гнезд.

Капитан приказал отвести пароход от причала и стать на якорь в нескольких метрах от берега, чтобы никто не мог незамеченным проникнуть на пароход.

Я успел спуститься по шаткому трапу на мол и пошел к воротам в город. Около ворот я остановился. На них висел, моргая, керосиновый фонарь «летучая мышь». Под фонарем сидел на ящике старик в приплюснутой морской фуражке и держал между колен винтовку.

За воротами лежала тьма. Изредка из нее доносился шелест сухих листьев.

Я сделал несколько шагов в эту темноту и остановился. Сторож равнодушно взглянул на меня и отвернулся. Ему было все равно, убьют ли меня или нет. Ему только хотелось, чтобы я его ни о чем не спрашивал и не помешал ему думать о своих домашних делах. Убитых он видел много, больше чем достаточно, и они уже не вызывали у него даже простого любопытства.

Я оглянулся. Можно было еще вернуться на пароход, но непонятное возбуждение охватило меня. Я стоял как будто на краю пропасти.

Я посмотрел на тусклые лампочки на палубе «Пестеля» и вдруг понял, что не могу противиться зову темноты, что она тянет меня, что мне уже страшнее возвращаться через плотную полосу темноты на бледно освещенный мол, чем раствориться в этой темноте и даже погибнуть в ней.

Я понимал, что испытываю свою судьбу, что делаю глупость, что идти ночью в город безрассудно. Но тьма уже безраздельно владела мной. Сердце билось веско, медленно, и я убеждал себя в том, что не могу вернуться на пароход, пока не узнаю, что кроется в этом настороженном мраке.

Часто бывает, что человек не может вспомнить

какое-нибудь название или фамилию и, пока не вспомнит, становится как одержимый, как помешанный. Он думает только о разгадке своей тайны, глохнет, немеет и ничего не видит вокруг. Примерно такое же состояние было со мной. Ночь хранила какую-то тайну, и я не мог жить, пока ее не узнаю.

Тьма втягивала меня, как тянет к себе французских колониальных солдат Сахара. Мне рассказывал об этом Бабель. Солдаты уходят в пустыню, дезертируют и никогда не возвращаются обратно.

Я не испытывал страха. Наоборот, желание, чтобы сейчас случилось нечто внезапное и решило мою судьбу, охватило меня. Эта ночь казалась мне пределом моей жизни, за ней должна была быть гибель или ослепительный свет.

Сейчас я думаю, что мое состояние в Ялте было вызвано севастопольским голоданием. Но тогда я жил внутри этого состояния и не мог оценить его со стороны.

Холодно и спокойно я решил, как надо себя вести в этой темноте. Прежде всего — двигаться совершенно бесшумно, красться, вжимаясь в стены, чтобы не выдать себя даже малейшим вздохом. Темнота скрывала меня, и только две ве-

щи грозили мне гибелью — предательский шум, будь то шарканье подметок, дыхание, кашель, свист в бронхах, треск сухого листа под ногой или, наконец, прямое столкновение с человеком в темноте.

Но, пройдя до моста через пересохшую речку Учан-Су, я понял, что меня спасают от опасности не все эти предосторожности, а безошибочное ощущение близости притаившегося, как и я, человека. Каждый из этих невидимых людей был врагом. Каким-то неназванным, но существующим во мне шестым или двенадцатым чувством — не знаю — я определял, что в нескольких шагах от меня стоит и прислушивается человек. Я ощущал так же, как и этот человек, теплую от руки сталь затвора, хотя у меня в руках ничего не было.

И еще одно преимущество — и притом огромное — было в том, что враги, скрытые от меня кромешной ночью, не знали, что главный закон сохранения жизни в такую ночь — это полная бесшумность. Поэтому они часто выдавали себя, и я их вовремя обходил.

И, наконец, я убедился, что человек издает гораздо больше шумов, чем мы думаем. Даже поворот головы, а в особенности всего туловища

бывает иногда ясно слышен.

Существовала еще одна опасность. Это спички. Электрических фонариков в то время не было, но спичка могла вспыхнуть в любую минуту и выдать меня врагам на внезапную смерть.

Куда я шел? Я не знал этого, пока не забрел в тупик.

Я шел долго, иногда сходил на мостовую, если тротуар мне казался почему-то опасным. Изредка возникал ветер, шумел в кипарисах, и тогда я двигался смелее.

Я избегал обочин. На них были колодцы для стока дождевой воды.

Когда я зашел в тупик — я не помню. Должно быть, уже была самая поздняя пора ночи. Я уперся в каменную стену. Направо к ней примыкала такая же каменная стена. Я поднял руку и ощупал ее, но нигде не мог дотянуться до верха. Она была достаточно высокой, и перелезть через нее было невозможно.

Налево тоже тянулась стена. Она прерывалась воротами. Рядом с воротами в стене была прорезана узкая калитка, а около нее я нащупал вывеску.

Третья стена — та, где были калитка и вывеска, — оказалась низкой, на уровне моих плеч.

За ней чувствовался внизу густой сад, хотя он и не шумел.

Я вынул спички и зажег сразу три, чтобы вспышка огня была ярче обыкновенной. Я решил прочесть вывеску.

Желтый огонь осветил ее, и я успел увидеть только три слова: «Дом Антона Павловича…»

Ветер задул спичку. Тотчас где-то выше по Аутскому шоссе хлопнул выстрел. Пуля низко пропела над оградой и с легким треском сбила ветку на дереве.

Вторая пуля пропела выше и ушла во мрак, где лежало онемевшее море.

Я вжался в нишу калитки. Я сразу все забыл: свое странное состояние, похожее на душевную болезнь, весь напряженный, как по канату, путь через зловещий город сюда, к дому Чехова.

Я был в этом доме еще мальчиком, в 1906 году, на второй год после смерти Чехова, шестнадцать лет назад.

Я не понимал, да и сейчас не понимаю, почему я пришел на Аутку, именно к этому дому. Я не понимал этого, но мне уже, конечно, казалось, что я шел к нему сознательно, что я искал его, что у меня было какое-то важное дело на душе и оно-то и привело меня сюда.

Какое же дело?

Я вдруг почувствовал глубокую горечь и боль всех утрат, настигавших меня в жизни. Я подумал о маме и Гале, о двойной, где-то далеко горящей и не заслуженной мною любви, о покойной Леле, о внимательном и утомленном взгляде Чехова сквозь пенсне. Тогда я прижался лицом к каменной ограде и, стараясь изо всех сил сдержаться, все же заплакал.

Мне хотелось, чтобы калитка скрипнула, открылась, вышел бы Чехов и спросил, что со мной.

Я поднял голову. Горы смутно белели в темноте магическим и неподвижным светом. Я догадался, что на горах выпал снег, сухой, хрустящий, горный снег, что потрескивает под ногами, как гравий.

И внезапное чувство близкого и непременного счастья охватило меня. Почему — я не знаю. Может быть, от этого чистейшего снежного света, похожего на отдаленное сияние прекрасной страны, от долго сжатого в глубине сознания и невысказанного ощущения своей сыновности перед Россией, перед Чеховым. Он любил свою страну по-разному, но любил ее и как застенчивую невесту, о которой написал свой последний

рассказ. Он твердо верил, что она идет к неизбежной справедливости, красоте и счастью.

Я верил, что оно придет, это счастье, для моей страны, для голодного, ледяного Крыма, наконец, для меня.

Это ощущение было стремительным и ликующим, как порывистый любящий взгляд. Оно согрело мне сердце и высушило слезы усталости и одиночества.

Обратно я шел не скрываясь. В меня два раза стреляли. Наконец в глухой темноте я опять прошел мимо старика с винтовкой у ворот порта. Он так же равнодушно посмотрел на меня, как и несколько часов назад.

Потом я долго сидел на молу, прислонившись к бетонному квадратному массиву (из таких массивов был сложен ялтинский мол), смотрел, как серела ночь, и ждал, когда «Пестель» опять подтянется к причалу. Тогда я заберусь под лестницу в салоне и усну. И даже во сне буду ждать, как всегда ждал наяву, счастливых неожиданностей и перемен.

Таруса на Оке
1958. Осень

РАССКАЗЫ

Кофейная гавань

Если вы хотите знать биографию инженера Тенеберга, то вам придется перелистать техническую энциклопедию. Вы узнаете несколько сухих дат и фактов, пахнущих типографской краской и скучных, как готический шрифт.

Вы узнаете, что корабельный инженер Отто Тенеберг родился на острове Рюгене, учился в Берлине и Гамбурге, построил теплоход «Венгрия» и изобрел новый тип водонепроницаемой двери. В словаре вы не найдете ни слова о том, что Тенеберг пишет книгу об океанских кораблях, как об архитектурных сооружениях, что он первый потребовал сохранить в нетронутом виде старые уголки гаваней, создав из них морские музеи, что оп играет на рояле и знает наизусть многие стихи современных поэтов.

Я приведу здесь некоторые места из доклада Тенеберга, нисколько не опасаясь получить упрек в отсутствии литературного вкуса. Доклад был прочитан осенью 1924 года в Гамбурге. В нем сухо и точно говорилось о новых механизмах, установленных па океанском пароходе «Африка».

— За капитанским мостиком находится нави-

гационная рубка. В ней расположены магнитный и жироскопические компасы, лаг и доска с чертежом водонепроницаемых переборок и дверей. Здесь же находятся рычаги. Каждый из них соединен электрической проводкой с водонепроницаемыми дверями. Легкий поворот рычага — и дверь захлопывается с быстротой и силой, достаточной, чтобы преодолеть давление воды. Двери устроены таким образом, что ни одна капля воды не может через них просочиться.

Позади рулевой будки расположена станция пожарной сигнализации. В ней находится сигнальный прибор — ящик со стеклянной стеной. В ящик проведены концы двадцати пяти трубок, идущих из таких помещений парохода, где нет людей, — из грузовых трюмов, провизионных камер, ламповой и так далее. Электрический вентилятор все время высасывает из этого ящика воздух, создавая разрежение и высасывая тем самым воздух из трубок. Если в каком-нибудь помещении, соединенном с такой трубкой, случится пожар, то через несколько секунд дым уже будет замечен в сигнальном ящике. Тогда с капитанского мостика по трубкам пускается пар под высоким давлением в паровые огнетушители, расположенные в нежилых помещениях. Пар

моментально наполняет загоревшееся отделение и убивает огонь.

В жилых помещениях применен другой сигнальный прибор, состоящий из сети очень тонких медных трубок, проведенных во все каюты. Сильное повышение температуры в какой-либо каюте заставляет воздух в трубке расширяться. Давление воздуха передается очень чувствительной диафрагме, а от нее — электрическому прибору, указывающему место повышения температуры.

В этом месте доклада Тенебергу подали записку. Он прочел ее и пожал плечами. Кто-то спрашивал:

«Как быть, если в помещении за водонепроницаемыми дверями или в помещениях, куда будет пущен пар, окажутся люди?»

Тенеберг ответил:

— Надо предварительно удостовериться, что там нет людей.

Ответ показался ему самому глупым. Тенеберг сознавал, что это бездарное решение вопроса. Он скомкал конец доклада и ушел.

Дым и пар из пароходных котлов стлались над Гамбургом. «Африка» готовилась к отплытию. Пароход казался расплавленным от множества огней. Он растворялся и мерцал в темноте про-

хладной ночи. То была «Африка», из кают которой еще не выветрился воздух плаваний, «Африка», попавшая, как редкая птица, из желтизны и синевы в сырую и неприветливую зиму.

Тенеберг долго смотрел на пароход, потом взял такси и поехал домой.

В журнале «Искусство» некто Лео Капп напечатал очерк о старой гавани — как раз о том уголке ее, который был сохранен по настоянию Тенеберга в неприкосновенном виде. Эпиграфом к очерку Капп поставил выдержку из постановления магистрата:

«Территорию Кофейной гавани, ограниченную на севере старыми сваями, со всеми постройками объявить неприкосновенной. Дома, окружающие гавань, не разрешается переделывать или тем или иным способом изменять их внешний вид. Вход каких бы то ни было судов в Кофейную гавань не допускается. В гавани будут стоять на мертвых якорях лишь старинные суда, дающие понятие об истории флота. Впредь до назначения особой комиссии для устройства из Кофейной гавани морского музея хранителем ее назначается отставной капитан парусного флота Эрнест Тенеберг».

Эрнест Тенеберг был дядей Отто Тенеберга.

Очерк Каппа назывался «Трава и соль».

Вот он:

«Надпись «Разрешается ловить рыбу» опрокидывает все представления о нашем индустриальном веке. Я долго рассматривал ее — синюю на белом фоне, — а позади гамбургский порт подымал к небу тяжелый занавес дыма и пара. Как стрекотание кузнечиков, долетал сюда с верфей Блома и Фосса грохот пневматических молотков.

Я невольно заглянул в черную воду и увидел стаю длинных, как кухонные ножи, серебряных рыб. Они объедали мох с кузова старого парусника, они бродили около якорных цепей и мирно паслись в неподвижной гавани, поблескивая оловянными спинками. Пыльные иллюминаторы были тусклы, как глаза слепых, а бугшприты печально подымались к небу, по которому они никогда не будут чертить свои замысловатые пути. Сухие канаты были белы, как волосы старух.

Я знал, что каждое судно заслуживает описания — не только как архитектурное сооружение (это уже сделал Отто Тенеберг в своей замечательной книге, на днях выходящей в свет), но как живое некогда существо.

Меня интересовала биография этих кораблей. Кто мог знать ее лучше, чем хранитель этих

величественных реликвий, капитан Эрнест с «Альбиона». Я спросил сторожа, где его найти. Сторож показал мне дом, превратившийся от старости в одно целое с набережной, воздухом и водой. Он был так же темен, как вода в гавани, так же чист, как воздух, и так же мшист, как набережная. Над дверью висела вывеска:

БЕРЕГОВОЙ ПРИЮТ

Я вошел в эту кофейню или портерную, — не все ли равно, — в эту сухую комнату из светлого ясеня, согретую тепловатыми кафелями голландской печи. Ветер не проникал сквозь дубовые двери и не дул по полу, потому что порог был высотой в четверть метра, как на хорошем корабле. Легкий запах табака и старости наполнял комнату.

В ней сидели несколько стариков в синих потертых куртках и тяжелых ботинках. Старый морской мир встретил меня внимательными взглядами и молчаливыми рукопожатиями. Я опустился на стул, и мои перчатки показались мне непристойными в этом суровом и добродушном месте. Мое появление было встречено, как появление женщины в кочегарке. Поэтому я спросил довольно робко:

— Могу ли я видеть капитана Тенеберга?

— Да, я — Тенеберг с «Альбиона», — сказал один из стариков, так похожий на всех остальных, что я не могу описать вам его примет. Кажется, он был выше всех и у него был слегка раздраженный голос.

Я назвал себя, цель своего посещения и упомянул о знаменитом его племяннике Отто Тенеберге. Ответ старика смутил меня. Он, глядя исподлобья, сердито проворчал:

— Отто свернет себе голову со своими океанскими пароходами.

Старики сочувственно закивали.

— Они, — старик грозно посмотрел за окно, — они думали, что их пароходы безгрешны, как боги, и шутя будут переходить океан под музыку и телефонные разговоры. Но океан им показал, что не любит этих легкомысленных затей. Помните, как погиб «Титаник»?

— Да, как погиб «Титаник», — закивали старики. — Это было хорошее предупреждение!

— Что думает Отто? — спросил старик самого себя и тут же ответил: — Отто думает, что его механизмы могут заменить человека. Отто думает, что какой-то там звоночек начнет вежливо тирлиликать в каюте капитана и скажет ему: «Будьте добры, господин капитан, распорядитесь взять на

два румба на норд, потому что, видите ли, пароход идет на ледяную гору». И этот бездельник капитан, потягиваясь, как кошка, скажет по телефону на мостик: «Взять два румба па норд». А мы? Разве звонки предупреждали нас об опасностях? Глаза, уши, обоняние, температура воды! Капитан Нокс, норвежец, слышал запах айсбергов за полмили.

— Разве у айсбергов есть запах? — спросил я в полной растерянности.

— Такой же, как у подводных рифов, — ответил старый капитан, удивленно подняв брови.

Я решил больше не задавать вопросов.

— Я встретил Отто на днях, — продолжал старик, — и сказал ему: «Отто, ты идешь против моря, и ты сломаешь себе шею. Когда-нибудь море с тобой расквитается». Посудите сами, парусные корабли никогда не возили бездельников. Парусное плаванье не прогулка. Мы не знали малодушных пассажиров. Они брали билет в Гавр, и за собственные деньги в пятидесяти случаях из ста им совали смерть под самый нос. Океан ревел на них и топал ногами, как бешеный. А на кого работает Отто? На чарльстон, на фабрикантов с гнилыми зубами, на стада баранов-туристов, на людей в пижамах. Они думают, что штиль на океане стоит только потому, что они заплатили за билет

пятьсот долларов, и океан из почтительности не смеет их беспокоить. Моряки превращаются в холуев. Отто, конечно, стыдно, и он придумал эту затею — сохранять старые гавани, — самое умное, что он вообще мог придумать.

«Что с того, — сказал я Отто, — что ты пишешь книжку, где расхваливаешь красоту парусных кораблей! Все это — слова и капризы. Ты не знаешь назначения половины снастей, ты не знаешь, почему на клиперах возили чай, а в трамбаках грязную соль. Ты не знаешь, что корабль в том виде, в каком ты его воспеваешь, создавался веками». Тысячи голов — и каких голов! — думали над каждой доской и заклепкой, и вы посмотрите, вот, например, «Сириус», — посмотрите за окно и скажите, сколько весит этот корабль. На взгляд — кило, не больше! Он ничего не весит, он легок, как девушка, а между тем он подымал шесть тысяч тонн груза, молодой человек! Я спрашиваю вас: похожи ли на настоящие корабли эти беременные киты «Африка» и «Левиафан»? Можете об этом написать. Отто не обидится. Приходите утром, я проведу вас по кораблям.

Я ушел с одним желанием — пойти сейчас же в магистратуру и подать просьбу: я хочу просить, чтобы мне разрешили запять каюту на одном из

этих кораблей. Я буду его сторожить и напишу его биографию. Я мечтаю о книге под названием: «Биографии великих кораблей».

Я не могу забыть ночного ветра, дувшего мне в лицо, когда я уходил из «Берегового приюта», и шума волн, звеневших причальными кольцами. Я не романтик, но материал, как бы спрессованный в каждой частице этих кораблей, меня подавляет. Рассказы, повести, каких не выдумать жалкому человеческому воображению, ждут меня, качаясь на мертвых якорях в Кофейной гавани.

Лео Капп».

Компания «Нордзее» — владелец парохода «Африка» — выпустила рекламную кинокартину. Берем наугад несколько кадров.

Кадр № 80. Седой помощник капитана в выутюженных брюках стоит у трапа и проверяет билеты. Билет протягивает маленькая девочка с плюшевым медвежонком. Помощник приятно улыбается. На заднем плане умиленное лицо матери, закутанной в меха.

Кадр № 96. Громадный спасательный круг с надписью «Африка». На нем лежит чудовищный толстяк. Волны плещут около круга, кроткие, как голуби. Толстяк снимает шляпу и раскланива-

ется. Во рту у него золотые зубы. Это «Дядя Сэм» — борец за Чикаго.

Кадр № 99. Действие водонепроницаемых дверей инженера Тенеберга. Капитан нажимает пальцем рукоятку. Виден край крахмальной манжеты и запонки — маленький якорь на перламутровом сердце. Затемнение. Затем — каскад воды. Воду внезапно прорезает стальная полоса двери. Дверь режет струю и вжимается в железную стену, защемив громадного краба. Половину краба, будто разрезанную бритвой, показывают крупным планом. Краб еще шевелит клешней.

Кадр № 100. Женский палец проводит по месту соединения двери со стеной и прижимается к промокательной бумаге. На бумаге пет даже намека на пятно. Дверь не пропустила пи капли воды.

Кадр № 101. Инженер Тенеберг проходит под кормой гигантского парохода, стоящего в доке. Он — в сером. Серые его глаза внимательно и недовольно останавливаются па операторе. Тенеберг подносит руку к шляпе и отходит в сторону. У него легкая походка, худое лицо и седые виски.

Кадр № 110. Кочегары у котлов. Веерами гудит горящая нефть. Кочегары смеются — служить у компании «Нордзее» весело и выгодно. Очевидно,

в кочегарку долетают звуки чарльстона с верхних палуб.

Кадр № 120. Кран с горячей водой. Из ванны идет пар. Видны ноги неизвестной купающейся леди. Надпись: «Каюта с ванной и будуаром стоит 500 долларов».

Кадр № 128. Пассажиры четвертого класса. Едят хлеб с колбасой и пьют кофе. Лица довольные и доброжелательные. Жуют медленно, вызывая аппетит у зрителей. Надпись: «Надежда на американские быстрые заработки».

Кадр № 133. «Африка» отходит из Гамбурга. Будто тысячи чаек поднялись над палубой — уезжающие машут платками. Огромный якорь, как перерезанный краб, ползет вверх на цепи. С него льется вода и падает жидкая глина. Надпись: «Через океан в пять дней».

Радио с парохода «Африка»: «В ночь на 20 сентября в 120 милях к северо-востоку от Ньюфаундленда вследствие порчи сигнальных приборов и густого тумана пароход «Африка» компании «Нордзее» наскочил на айсберг и получил пробоину в левом борту у форпика, на фут ниже ватерлинии. Вода начала заливать ламповую каюту. Немедленно были закрыты водонепроницаемые двери системы инженера Тенеберга,

подведен пластырь и выкачана вода. Погиб матрос Ганс Крафт. Пассажиры спали и лишь утром узнали о случившемся.

Пароход продолжает путь».

Выписка из судового журнала: «Обстоятельства смерти матроса Ганса Крафта, происшедшей по воле божьей и в силу опасностей, связанных с морской службой, таковы: Ганс Крафт находился в ламповой каюте, когда пароход наскочил на айсберг и получил пробоину. Крафт, стоя по пояс в воде, дал аварийный звонок на капитанский мостик, указавший номер затапливаемого помещения. Вахтенный путем поворота соответствующей рукоятки немедленно захлопнул водонепроницаемую дверь, не думая о том, что в ламповой каюте могут быть люди. Крафт не успел выбраться и остался за дверью. После откачки воды и заделки пробоины труп его был вынесен из каюты и, по существующим обычаям, предан океану».

Товарищ Ганса Крафта, матрос Штейн, сидел всю ночь, сочиняя письмо матери Крафта. Он подробно описал, как все произошло. Рассказ его совпадал с выпиской из судового журнала, за исключением одной детали.

«Ганс хотел выскочить из ламповой каюты, —

писал Штейн, — и схватился рукой за косяк двери. В эту минуту дверь захлопнулась и отрезала ему руку. Кисть руки упала на пол в воду, а Ганс остался за стеной. Руку мы подобрали, я снял с пальца серебряное колечко, которое посылаю. Об этом случае нам было приказано молчать, чтобы не портить настроения у господ из первого и второго классов. Похоронили его ночью. Компания должна платить вам пенсию, потому что Ганс погиб на посту и спас пароход. А двери оказались вправду водонепроницаемыми: они не пропустили ни капли воды, если не считать нескольких капель крови. Насчет пенсии посоветуйтесь с капитаном Эрнестом с «Альбиона» — вы живете рядом. Между прочим, это его племянничек изобрел дверь, которой прихлопнуло Ганса».

Штейн забыл написать, что матросы приняли сначала в темноте отрезанную кисть Ганса за краба и что капель крови было достаточно, чтобы оставить на промокательной бумаге большое пятно.

Капитан Эрнест с «Альбиона» торжествовал. Его предсказания сбылись.

Он побрился, наваксил ботинки и пошел к племяннику Отто Тенебергу. Он шел как победитель и разучивал вполголоса обличительную речь.

Слепящий свет автомобилей с изумлением останавливался на лице капитана. Старик сплевывал на тротуар у самых ног полицейских: плевать ему на современный Гамбург! Презрение это было настолько продуманным, что старик не боялся штрафа.

Идти было далеко. Шум улиц иссякал, и наконец перед стариком черной завесой зелени выросли кварталы, населенные учеными и инженерами. Тишина и мягкий свет, лившийся из окон, говорили о жизни устойчивой и разумной. В таких кварталах дети очень румяны, женщины не блещут красотой, но умны и жизнерадостны, а мужчины чрезвычайно вежливы, хотя и с легким холодком превосходства.

Осень хрустела под тяжелыми ботинками. Старик шел через сад по ковру каштановых листьев.

Отто был дома. Он сидел у стола и чертил на клочке бумаги. Окно было открыто, и туман проникал в ярко освещенную комнату. Отто поднял глаза, бесцветные от усталости, и встал.

— Отто! — сказал старик торжественно и поднял к потолку толстую палку. — Я пришел сказать тебе, что ты дурак! Отто! — Оп потряс палкой, как бы давая сигнал небесному грому поразить непокорного племянника. — Наконец-то мо-

ре с тобой расквиталось. Мы, старые моряки, умирали, наглотавшись соленой воды, а Ганса Крафта прищемила твоя паршивая мышеловка. Ты выдумал механизм и был горд. Тебя даже показывали в кино. Ты стал знаменитостью. Ты убил человека, Отто! Твоя дверь придумана плохо, — она не пропускает воду, по пропускает человеческую кровь. Ты хочешь, чтобы настоящих людей, нас, знавших риск и находчивость, сменили идиоты с тряпками вместо мускулов и с патефоном в голове? Ты думаешь, что ты строишь пароходы? — Старик стукнул палкой об пол. — Ты строишь гостиницы для бездельников, игорные дома и тюрьмы и называешь их пароходами. Ты унизил назначение корабля. Мы знали, что корабли открывали новые земли и перевозили отважных людей и ценные грузы, но у нас не было и мысли, что корабль может сделаться удобным местом для обжорства и птичьей болтовни. Ты развратил моряков. Капитан «Африки» приказал команде не болтать о том, что у Крафта отрезало руку, чтобы не портить пищеварение пассажирам. Если бы мой матрос попал в беду, я, чтобы спасти его, заставил бы этих шалопаев работать до кровавой испарины. Плевал я на их пищеварение. Таких капитанов, как этот твой,

надо топить, как щенят. Все!

Отто молчал. Молчание заливало комнату водой, хлынувшей через пробоину. Старик осязал молчание: вот оно стеснило грудь, дошло до головы, поднялось к потолку. Кровь пела в ушах, как назойливый комар. Вокруг ламп вспыхнули тусклые радуги. Много минут спустя старик наконец услышал голос, говоривший будто сквозь вату:

— Моя дверь придумана плохо. А теперь — иди. Я отвечу тебе через несколько дней.

Старик вышел. На улице пленка тишины оглушительно лопнула. В уши ударило кваканье автомобилей и визг буксирных катеров.

С каждым днем Эрнест с «Альбиона» волновался все больше. Ответа от племянника все не было.

Степень волнения капитана лучше всего изучили мальчишки, удившие рыбу в Кофейной гавани. Сначала старик прогнал их с пустынных палуб, ссылаясь на то, что они втихомолку курят и могут устроить пожар, потом загнал в самый дальний угол гавани, где под водой желтели только банки от консервов, а рыбы не было со времен Тридцатилетней войны. Наконец он потребовал записок от мамаш о том, что мальчишки ловят рыбу с согласия родителей и не в ущерб школь-

ным занятиям.

Сначала мальчишками овладела тревога, затем недоумение, но на третий день они возмутились. За разбитой баркой был созван митинг. Митинг решил начать кровавую месть и в первую очередь утопить кошку капитана — Генриетту.

Пришел день мести. Принято говорить, что осенью выдаются редкие дни. Но этот день был действительно редкий. Синий свет стоял между небом и песчаным дном гавани неподвижной стеной. Он падал сверху и поднимался, слегка зеленоватый от морской воды. Солнце, ударяя лучом в разноцветные ставни и в стекла домов, раскидывало по этой синеве золотые и красные пятна. Если добавить, что стоял легкий туман и было очень тепло, то вы можете себе составить легкое представление об этом дне, когда рыба должна была клевать особенно жадно. К тому же море пахло в этот день особенно сильно — не рыбой и тиной, а персиками и льдом.

Четверо самых смелых мальчишек были посланы поймать Генриетту. Они пробрались в «Береговой приют» с черного хода и услышали тихое бормотанье. Старик читал газету. Самый глазастый из мальчишек заглянул в щелку и увидел на газетном листе заметку, жирно обве-

денную красным карандашом. Генриетта спала на коленях у капитана.

«Вчера, — читал старик, — в Альтоне было произведено испытание нового прибора, сконструированного инженером Тенебергом. Как известно, на пароходе «Африка» произошел несчастный случай: матрос утонул в одном из помещений парохода, застигнутый водой, хлынувшей через пробоину. Водонепроницаемая дверь системы Тенеберга была автоматически заперта прежде, чем матрос успел оставить затопляемое помещение. Этот прискорбный случай привел к тому, что инженер Тенеберг сделал новое исключительное открытие. Он изобрел прибор, не позволяющий водонепроницаемым дверям захлопываться, пока в помещении находится человек. Прибор очень сложен. Он построен на том принципе, что человеческий организм излучает электрическую энергию. Прибор улавливает эти электрические токи и парализует действие насосов, захлопывающих двери. Как только человек оставляет помещение, прибор перестает действовать, и двери стремительно закрываются.

Инженер Тенеберг был помещен в отсек старого корабля, снабженный дверями его системы и новым прибором. Он открыл клапан, заранее

сделанный в борту. Хлынула вода. Попытка закрыть дверь с капитанского мостика при помощи электрического рычага не привела ни к чему, пока инженер Тенеберг не выбрался из отсека. Как только он вышел, дверь тотчас захлопнулась. Опыт был повторен десять раз и дал прекрасные результаты.

Инженер Тенеберг потребовал, чтобы компания «Нордзее» снабдила этим прибором все водонепроницаемые двери его системы. Компания отказалась, ссылаясь на чрезвычайную дороговизну приборов. В связи с этим инженер Тенеберг заявил вчера правлению компании, что он оставляет работу. По слухам, инженер Тенеберг намерен уехать в одну из восточных стран, где, по его мнению, он сможет применять свой опыт более целесообразно, чем в Германии».

Слова «одну из восточных стран» были набраны жирным шрифтом, и намек газеты не оставлял никаких сомнений: инженер Тенеберг едет к большевикам!

Через всю заметку крупным почерком было написано: «Вот мой ответ. *Отто*».

Старик отложил газету и пробормотал:

— Он перехитрил меня, этот бездельник. Да-а, кровь Тенебергов всегда брала свое. Сам, слы-

шишь ли, Генриетта, он сам десять раз подвергал себя смертельному риску, он наплевал на «Норд-зее» и едет к большевикам.

Один из мальчишек — самый маленький — тихо заплакал. У него затекла нога, а пошевелиться он боялся.

— Кто там? — крикнул старик.

Удирать было поздно. Старший мальчик вышел из-за двери и сказал срывающимся голосом:

— Дядя Эрнест, мы пришли просить разрешения поудить рыбу.

— Кто смеет запрещать удить в Кофейной гавани, где я начальник! — закричал старик, смахнув с глаз слезинку. — Франц? Пришлите этого Франца ко мне, я ему намылю рожу! Марш на корабли, только смотрите, чтоб не курить и не удить с якорных цепей! Живо!

Мальчишки бросились в гавань. Голубой день зазвенел, как стекло, от их свиста, криков и песен, и серебряными комками, разбрызгивая солнце, трепетали над палубами кораблей пойманные рыбы.

Москва, 1926

Жара
(Записки лейтенанта Жиро)

После матросского бунта в Бресте министр решил проветрить команду, и наш крейсер «Примоге» был отправлен в Портсмут на праздник английского флота. И вот мы в Англии. Здесь небо покрыто серой пленкой, а солнце светит, как белый фонарь.

Сегодня я видел, как умывались английские офицеры. Дольше всего они моют носы. Они кажутся легкими и жестковатыми, эти офицеры, как высушенные крабы. Английские матросы молчат или играют на молах в литой мяч.

Город прошивает сизое небо белыми нитями дымов. Дым подымается высоко к небу, — над влажными полями Англии уже две недели стоит безветрие.

Флот дымит. Вчера он ходил в море: в отвалах свинцовой воды, в жирном дыму и в сотнях сигнальных флажков. Сегодня у нас был банкет. Английские офицеры пили, помалкивая, виски, пили долго и крепко. Воротники душили их жилистые шеи. Они клекотали, как куры, и

щурились на наших матросов. После ужина они пели крикливые песни. Должно быть, так пели еще во времена Вильгельма Завоевателя. Потом они метко плевали в световые люки.

Матросы молчали. Только боцман Кремье сказал мне тихо:

— Люди волнуются.

Он посмотрел на англичан, и лицо его потемнело. Я подошел к лейтенанту Ваньо и шепнул ему на ухо:

— Люди волнуются. Прекратите как-нибудь это.

— Ха! — сказал Ваньо, откидываясь па спинку кресла. — С каких это пор на крейсере завелись барышни? Что я могу им сказать! Британцы! — добавил он зло. — Вы понимаете, Британия, Ве-ли-ко-британия! Британский флот, владычица морей, разрази ее тысяча громов! Они хорошо умели прятаться во время войны в резерве, эти сухопарые гуси! Ничего не поделаешь. Скажите людям, что надо терпеть. Мы — их гости. Кроме того, они наши союзники.

Говорить с ним было бесполезно. Он был пьян.

После банкета матросы мыли швабрами палубу. Казалось, они хотели протереть ее насквозь. Они сопели от злости и молчали. Я не люблю,

когда команда молчит. Это опасно. Простой человек молчит, когда запас ругательств исчерпан, зубы стиснуты и кулак готов раздробить челюсть каждого, кто менее взбешен, чем он.

Так они молчали в Бресте, когда прошел слух, что «Примоге» пойдет в Китай. Они молчали два дня, а на третий вылили свой суп в море, отказались спускать вельботы для гребного учения и стали собираться кучками около орудийных башен. К вечеру их удалось успокоить: командир Пелье выстроил команду и прочел телеграмму министра о том, что «Примоге» отправляется в Портсмут на праздник английского флота. Команда повеселела.

После банкета я слышал разговор у кубрика.

— Поджарые черти! — говорил бомбардир Гамар со своим смешным бретонским акцентом. — Они хотят слопать все. Они суют свой чванный нос во все чужие горшки, пока им его не расколотят.

Ночью мы ушли из Портсмута. Миноносец «Ламотт Пике», прикомандированный следить за нами, шел следом и отстал только под Брестом. В Ла-Манше стояла сухая ночь. Звезды поблескивали стекляшками моноклей. Только сырой ветер из Бискайи разогнал этот британский дурман.

К рассвету Брест проплыл на горизонте куполом голубого огня. Мы взяли на юг.

— Куда мы идем? — спросил я Ваньо.

— В неизвестном направлении. У командира есть запечатанный приказ. Я думаю, на Мадагаскар.

Звонили склянки. Туман широкими полосами качался над Бискайским заливом. Залив был тих и сер.

Средиземное море встало перед нами лиловой стеной. Светило прозрачное солнце. Ровно и упорно дул ветер из Африки. Мокрая палуба просыхала в одну минуту. К полудню небо розовело от зноя. Дни влеклись бесконечно, оживляемые лишь пеной у бортов и грядами желтых гор на горизонте. Мы проходили Мальту.

«Мадагаскар» — это слово не сходило с языка матросов. Механик Жамм бывал на этом острове и рассказывал небылицы.

— Там леса, — говорил он, умывшись после вахты и сидя под тентом, — свешиваются прямо в море. Мы купались и держались за лианы, как за канаты для неопытных пловцов в Биаррице. Рыбы? Там есть рыба «сизирь». Она лиловая, а перья у нее черные, как китайский лак. Пссс… Ее ловят на распаренные какаовые зерна. Там такая

жара, что потеют не только люди, по и военные корабли. Ого, это номер! Вам будет хорошая работа — вытирать каждый день крейсер с мачты до ватерлинии губкой, смоченной в уксусе. Золотая страна!

— Жамм говорит, — передавали в кубрике, — что лучшая пища на Мадагаскаре — рагу из попугаев с соей.

— Жамм говорит, что всем будут выдавать от лихорадки по бутылке абсента в день.

— Жамм говорит… Жамм говорит…

Ваньо позвал Жамма и сказал ему:

— Проглоти язык! Это не детский сад, а военный корабль. Ты взбудоражил людей своим дурацким Мадагаскаром.

Жамм посопел и ответил:

— Ладно. Но с каких это пор на корабле нельзя поболтать о том и о сем?

Жамм вышел, хлопнув дверью каюты сильнее, чем следует. С тех пор он изредка делал страшные глаза и говорил шепотом:

— Пссс… На Мадагаскаре не жизнь для Ваньо. У таких собак там пухнет от злости печень. Она становится величиной с дыню. Против этой болезни нет никаких лекарств. Она называется «цек».

И матросы, подмигивая друг другу на команди-

ра Пелье и лейтенанта Ваньо, щелкали языками:

— Цек! Цек!

Около Порт-Саида крейсер застопорил машину. Было утро. Ветер не осязался кожей, а был виден простым невооруженным глазом. Оп налетал теплыми волнами от берегов Греции и смывал с загорелых лиц последние остатки сна. Ветер пах мятой. Смех был слышен так отчетливо, будто мы стояли в тесной и жаркой гавани. Спустили на воду парус, и команда купалась.

Я бросился в воду, нырял в упругие подводные миры, пропитанные зеленым светом. Море омывало прозрачной влагой серую броню крейсера. Красноватый отблеск африканских песков подымался к зениту, как предвестник тяжелой жары.

Жамм фыркал, как кашалот, и кричал:

— Купайтесь, мальчики! Завтра вползаем в настоящее пекло.

Купанье кончилось. Я вышел на палубу и лег на баке. Крейсер, медленно работая винтами, втягивался в искрящуюся мглу.

Ко мне подошел Жамм.

— Жиро, — сказал он, хрипя, — я подохну от духоты. Только что я слышал разговор командира с Ваньо. Нас гонят в Китай.

Я вскочил. Кровь ударила в глаза.

— Молчи! — сказал Жамм.

Он махнул рукой и пошел в машину.

Из Аравии тянуло зноем, как от постели больного тропической лихорадкой. В Суэце мы видели последнюю зелень — пыльную акацию около портовой конторы. Она дрожала маленькими листьями и, казалось, просила пить.

Африка развернула над нами пылающее и страшное небо. Мы шли в ловушку из лихорадки и черной смерти.

Первый закат в Красном море был полон песчаной мути. Легкие ссыхались. Вода со льдом плохо освежала сердце. Пальцы судорожно хватали потный стакан. Удушье ватным одеялом накрывало нас и гудело в ушах.

Доктор Равиньяк, высокий и желтый, как высохший тростник, встретил меня на палубе и спросил:

— Жиро, есть ли у вас уверенность, что в трюмах не чумеет какая-нибудь старая крыса?

— Конечно, нет.

Он вздохнул.

— Мы проходим Массову — легендарный источник чумы. Здесь крысы с берега заплывают на корабли.

Было бы легче, если бы крейсер не так дымил.

Запах серы смешивался с испарениями ночи, хотелось разорвать грудь и обдать ее ветром. Волны скреблись о борта, как десятки чумных крыс.

К утру заболел кочегар. К полудню слегли еще пять матросов. Кровь густела, как клейстер, и сердце плохо проталкивало ее в артерии.

Боцман Кремье пришел ко мне в каюту. Он долго отдувался, прежде чем начать говорить.

— Господин офицер, — сказал он, и усы у него задрожали. — Куда нас гонят через этот асфальтовый чертов котел? Люди измучены. Только что у штурвального Пома пошла горлом кровь. Почему командир не объявит, куда мы идем?

Он пристально взглянул на меня.

— Завтра, — я повернулся к нему спиной, перебирая на столе книги, — мы выйдем в океан. Там будет легче. Куда мы идем, я не знаю.

— А не в Китай?

— Не знаю.

— Ну, ладно.

Кремье ушел.

Утром мы стали на якорь в Джибути. Никто не может представить себе этот низкий песчаный берег, этот исполинский смертоносный пляж, добела раскаленный солнцем. Дома в Джибути похожи на пляжные кабинки. Их деревянные

стены прогреты и светятся кровавыми жилами смолы.

— Хорошая увертюра к Китаю, — сказал мне Жамм, когда мы спустились на берег и шли к дощатому бару, где продавали воду. — Командир Ваньо и доктор очень боятся чумных крыс, — продолжал он. — Может быть, поэтому они ходят с револьверами в карманах. Как вы думаете, а? Может быть, поэтому они плохо спят и подслушивают, что говорят матросы? Вчера командир сказал доктору: «Еще два дня такой жары и тревоги, и я пущу себе пулю в лоб». Они что-то затевают, я это чувствую, хотя не имею никаких доказательств. Крысы, очевидно, хотят захватить корабль. Редкий случай в истории республики.

— Жамм, — ответил я, — это не так просто, как кажется. Из этой жары может родиться бунт, убийство или массовое помешательство. Нас гонят в Китай. Дольше скрывать невозможно.

Жамм не ответил. Когда мы пили воду в баре, он показал с террасы на юг и промычал:

— Вот там — свежий воздух. Там Абиссиния. Чудесное плато, леса и много воды. Там нет лихорадок. Я бы пошел туда пешком и с каждым километром дышал бы все глубже. Я бы не остановился, пока не увидел бы первую реку. Не правда

ли, у вас тоже тоска по воде?

— Да, Жамм. Тоска по воде, где плещется рыба.

Жамм смотрел щелками серых глаз на пустыню. Красный песок разрезал горизонт лезвием бритвы. В гавани железной крысой лежал на якорях «Примоге». Тонким слоем пыли был покрыт деревянный столик. Жамм написал на нем пальцем: «Сет».

Это была его родина.

Вечером лейтенант Ваньо выстроил команду на баке и объявил, что мы идем в Аннам для несения сторожевой службы. Сразу отлегло, — лишь бы не в Китай.

Ночью мы вышли в океан. Африка тонула в кромешной тьме и гуле прибоя.

От океана подымался пар. Я сидел в каюте. Пот стекал по манжетам на страницы тетради, в голове ныла хина, и хотелось пить без конца холодный сидр из глиняной кружки.

Из Индии шел не ветер, а сладкий сироп. Мысли увязали в нем, как мухи в липкой бумаге.

Пелье отдал секретный приказ: следить за командой и быть начеку.

— Мало ли что может прийти в голову людям от этой духоты, — сказал он за столом в кают-компании.

После Цейлона крейсер замолк. Люди перестали смеяться. Они молча терли палубу, молча ели, молча отбывали вахты и возились у раскаленных топок.

В густой воде чудовищными жаровнями пылал закат. Океан качал нас неустанно и зло. Мы потеряли веру в незыблемость земли. Жамму снились дурные сны.

— Угля мало, — говорил он с тревогой. — Жиро, я становлюсь идиотом, по мне кажется, что Сингапура уже давно нет на свете и мы напрасно лезем вперед.

— Это от жары, — ответил я.

За обедом доктор Равиньяк затеял с офицерами разговор о климате Сайгона.

— Этот воздух, — сказал он, — слишком густ для наших легких. Он трудно всасывается и вызывает малокровие мозга. Люди или тупеют, или впадают в буйство и крушат всё направо и налево. Необходимо дышать через респираторы, охлажденные льдом.

После обеда командир вызвал команду наверх. Люди собрались, хмурые и недоверчивые.

— Дети мои, — тихо сказал командир, почесывая бородку, — завтра мы станем на рейде в Сингапуре. Переход через океан окончен. Что

говорить, — он был труден. Я думаю, что каждый рад оставить его позади. Вечером в кают-компании мы устраиваем маленький банкет по этому случаю, и я приглашаю вас выпить с нами немного вина и кофе.

Матросы молчали. Жамм делал мне страшные глаза.

— В чем дело? — шепнул я ему.

— От жары он стал демократом. — Жамм подмигнул на офицеров, не менее матросов пораженных этим приглашением.

— Ну-ну, — сказал Ваньо добродушно. — Приходите, ребята. Боцманы разобьют вас на смены, чтобы не было слишком тесно.

Вечером мы собрались на этот банкет. Матросы перешептывались, стоя у стен. Ваньо хлопал то одного, то другого по плечу, и они в ответ улыбались, показывая белые зубы.

— Из вежливости, — сказал мне Жамм. — Только из вежливости они скалят зубы, уверяю тебя, Жиро. Посмотрим, что будет дальше.

Вино развязало языки. Бомбардир Тамар запел бретонскую песню. Матросы дружно подхватили ее:

Святая дева, храни моряков

От стран горячих и смрадных,

От гаврских и брестских собак-шкиперов

И от мундиров парадных.

Святая дева, храни моряков

От старых служак-адмиралов,

От гаврских и брестских собак-шкиперов

И от кюре из Сен-Мало.

— К черту! — крикнул доктор Равиньяк. — Выпьем за колонии! Представьте себе, Жамм, мощь этих жарких и богатых земель, принадлежащих Франции: Сахара, Тимбукту, Кайенна и Сирия, Аннам и острова Полинезии. Латинская раса всюду несет культуру, рожденную во Франции. В Сахаре вы увидите «ситроены» и номера «Иллюстрасион», выгорающие от солнца. В Сайгоне вы можете купить последнюю книгу Бенуа и встретить школьного товарища, с которым ловили перепелок на полях и удили рыбу в тинистых речках. Океаны становятся домашними, как бульвары. Это называется — иметь колонии! За это я пью.

— В Сирин, — в тон ему продолжал Жамм, — можно увидеть бомбометы последней марки

заводов Крезо. Равиньяк, я был в Сирин с генералом Серрайлем. Не дай бог, чтобы французам кто-нибудь вколачивал культуру так, как мы вколачиваем ее арабам.

Матросы засмеялись.

— Механик Жамм, — позвал Ваньо, — пойдите сюда.

Он взял Жамма под руку и увел из каюты. Постепенно нарастал шум. Матросам разрешено было курить. В иллюминаторы дул ветер от Суматры, мы шли проливом. На побережьях горели маяки.

Боцман Кремье был красен. По шее у него струился пот.

— Неспроста, — сказал он мне, — этот идиотский банкет. Заметьте, матросы не пьют. Команда не верит Пелье.

— Тише! — вдруг крикнул Ваньо. — Командир желает говорить.

Пелье встал. В руке он держал бокал. Старческое его лицо с острой бородкой вежливо улыбалось, как на светском приеме.

— Матросы! — сказал он. — Вы слышали, что говорил здесь доктор Равиньяк? Сердце каждого француза бьется при мысли о мощи Франции, о великих колониях этой прекрасной страны. Мы призваны охранять одну из этих колоний

— Аннам, где было пролито столько французской крови и столько молодых матросов погибло от лихорадки. Мы высушили аннамские болота. Цветущие поля этой страны сейчас так же безопасны, как и любая улица в Париже. Но Восток коварен. В Китае происходит анархия, резня и междоусобица. У границ Аннама бушует кровавое море. Мы получили назначение охранять Аннам. Но лучшая оборона — всегда в наступлении. Поэтому не удивляйтесь, если через четыре дня вы будете в китайских водах.

Матросы молчали. Постепенно они начали исчезать из каюты. Через десять минут она была пуста. Пелье сел за стол и хрипло сказал:

— С завтрашнего дня крейсер переходит на боевое положение. За малейшее неповиновение — каторга. Так и объявить команде. Мне надоела возня с этими истеричными бабами. Кто мы — моряки или бесштанные философы с Монмартра, черт возьми?

Он ударил ладонью по столу.

Я вышел на палубу. Ночь неотступно шла за кормой. Там широко шумела вода. Берега Суматры обозначились тусклыми огнями.

Вот они — эти китайские воды, ставшие роковыми для лейтенанта Ваньо.

Вчера вечером он пошел на корму проверить лаг. Ему доложили, что лаг перестал отзванивать мили. Он был навеселе, слишком перегнулся через борт к лагу, потерял равновесие и сорвался в воду, не успев даже крикнуть.

Машины застопорили только через две минуты. Спустили шлюпки. Белая стрела прожектора вонзилась в гущу азиатской тьмы. Матросы бегали по палубе, перекликаясь, вахтенные свистели, боцмана ругались. Пелье взбежал на мостик и скрипел проклятья. Ваньо не нашли.

— Кто из офицеров был на корме во время гибели Ваньо? — спросил Пелье вахтенного.

— Кажется, никого…

— Отвечайте точно! — Пелье ударил кулаком по планширу. — Без всяких «кажется»!

— Механик Жамм.

— Позвать!

Жамм пришел.

— Доложите, как это случилось!

Жамм стоял навытяжку. Он был бледен.

— Лейтенант был пьян, — ответил он резко, — и потерял равновесие. Осмелюсь доложить, что лейтенант нарушил ваш приказ об особой бдительности офицеров в китайских водах. Он был неосторожен.

— А не в китайских водах этого бы не произошло? Так я должен вас понимать?

Жамм молчал.

Пелье отвернулся и пошел в радиорубку. Застрекотало радио, — командир говорил с флагманским кораблем, стоявшим на рейде в Шанхае.

Ночью ко мне в каюту постучали.

— Кто там?

— Кремье.

— В чем дело?

— Механик Жамм срочно просит вас к себе.

Я встал и впустил Кремье.

— Жиро, — сказал он мне, не называя моего чина. — Команда верит вам и механику Жамму. Матросы просят вас выйти. Надо потолковать. Мы пройдем незаметно. Всюду стоят свои.

Я оделся, и мы вышли. Я не узнал крейсера. Такой простой и мирный днем, изученный до последнего винтика, он был мрачен и накален ненавистью и тревогой. Я понимал, что теперь отступления нет. Если даже я не буду согласен с матросами, то одно мое присутствие на этом митинге обяжет меня идти с ними до конца и умереть в случае нужды спокойно, как подобает моряку.

В темноте я слышал дыхание десятков людей. Потом раздался хриплый голос Жамма:

— Ребята, я буду говорить в открытую. Нас гонят убивать и умирать. Франции не угрожает пи малейшей опасности. Мы лезем в чужие дела. Мы наступаем. Мы будем жечь деревни и расстреливать людей. Нами вертят гнилые шаркуны из министерств и биржевые маклаки — весь этот сброд, разворовывающий казну и разоряющий Францию. Какой идиот согласится умереть ради них, воевать ради «нуворишей»? К свиньям! Надо действовать. Беспорядки в Бресте и смерть Ваньо подействовали мало. Надо пугнуть еще. Но как?

— Убить Пелье, — сказал Тамар.

— Это не дело. Из-за убийства командира крейсер не повернут обратно.

— Нужно, — сказал я, — завтра утром вызвать Пелье и сказать ему: или мы идем обратно в Сайгон, или мы поворачиваем орудия на капитанскую каюту и берем крейсер в свои руки.

Матросы тихо зашумели.

— Дать ему два часа сроку.

— Кто сделает это?

— Механик Жамм.

— Сейчас же разобрать винтовки и поставить часовых.

— Делать вид, что ничего не случилось.

— Заставить Пелье молчать. Пусть улаживает дело как хочет.

— Если хоть одна крыса из министерства узнает об этом — ему крышка.

Ночь я не спал. На рассвете я вышел на палубу. Я помнил последние слова Жамма: «Все будет сделано чисто». Мы стояли на рейде Шанхая. Несметное нагромождение домов, огней, джонок, крейсеров, небоскребов и фанз тлело в сером разливе рассвета и мутной воды.

Я задыхался. Мокрые от дождя тенты казались смоченными в кипятке. Теплая вонь сочилась из джонок. В китайских кварталах выли псы.

Я постоял на палубе и вернулся в каюту. Жамм приказал никому без дела не шататься по кораблю.

Утром на дверях командирской каюты была приклеена записка:

«Воевать мы не будем. Устройте так, чтобы сегодня «Примоге» ушел из китайских вод, иначе крейсер будет наш и судьба лейтенанта Ваньо станет поучительной для многих. Боевые припасы и орудия в наших руках. Переговоры с флагманом ведите через сигналистов. Мы хотим избежать кровопролития, но в случае упорства

прибегнем к оружию.

Команда»

В шесть часов утра Пелье вызвал с флагманского корабля адмирала. Сигналисты передали, что командир Пелье тяжело заболел, не может подняться с койки и просит адмирала посетить «Примоге», так как должен подать рапорт относительно дела, не терпящего отлагательства.

Через час адмирал приехал. Команда была выстроена на шканцах. Оркестр сыграл встречу. Вооруженный отряд почетной стражи держал «на караул». Жамм был бледен, матросы — хмуры и насторожены.

Через два часа адмирал вышел из каюты Пелье и поднялся на мостик. За полчаса до этого я расставил людей у орудий.

— Офицеры и матросы! — сказал адмирал и передохнул. — Офицеры и матросы! Мною получены инструкции от правительства о сокращении наших вооруженных сил в Китае. Трех судов, находящихся в Шанхае, достаточно для охраны французских граждан. Поэтому я дал приказ командиру Пелье сняться с якоря, дабы излишне не раздражать китайское население, и идти в Сайгон, откуда «Примоге» будет переброшен в резерв Средиземноморского флота. Желаю

счастливого плаванья!

Оркестр сыграл колониальный марш. Матросы держали «на караул» и скалили зубы.

Вечером мы шли в Сайгон. Пелье впервые за весь день появился на палубе. Он смотрел на китайский берег.

— К чертовой тетке! — прошипел он. — Будь я проклят, если не сдам эту коробку другому командиру.

Я стоял на вахте. Китайские воды тихо шумели и сливались с небом. На юге низко лежали звезды, а над Китаем всходила лупа. Впервые за весь рейс я вспомнил о неразрезанных книгах и улыбнулся: сегодня я буду читать всю ночь.

Подошел Жамм.

— Чисто сделано, о-ля-ля! — сказал он, подмигивая. — Слышишь, как они веселятся.

Из кубрика доносился хор:

Святая дева, храни моряков
От стран горячих и смрадных,
От гаврских и брестских собак-шкиперов
И от мундиров парадных…

1928

Ценный груз

Штерн вычитал в какой-то книге, что чудаки украшают жизнь. Однако чудак, появившийся у него на пароходе, никому не понравился. Он был в клетчатых чрезмерно широких брюках желтого цвета. Желтизна брюк явно раздражала Штерна, может быть потому, что все вокруг было серого и мягкого цвета — не только воды Финского залива, но и борта его парохода «Борей». «Борей» был выкрашен в цвет мокрого полотна. Лишь там, где ободралась краска, краснел сурик. По мнению чудака, это было очень живописно; по мнению Штерна — пароход надо было давным-давно покрасить.

Чудак ходил по палубе среди наваленных ящиков походкой страуса. Он был похож на голенастое тропическое животное пестрой раскраски. Пиджак у него был синий, кепка зеленая, галстук цвета осенних листьев. Он привез с собой чемодан и скрипку в футляре.

Чудак сопровождал в Англию груз игрушек. Можно понять, когда в трюмы наваливают лес, кожу или зерно в мешках, но брать игрушки было обидно. Старые капитаны с соседних пароходов

только пожимали плечами.

Игрушки спускали в трюм, по требованию чудака, с такими предосторожностями, как гремучую ртуть.

Помощник Чох — человек суеверный и недовольный земным существованием — выразился в том смысле, что эти «чертовы ляльки не доведут до добра». Штерн потребовал объяснений. Чох пробурчал, что груз легкий, его невозможно закрепить в трюме и в случае шторма — сами знаете — ящики навалятся на один борт, «Борей» даст крен и… Чох пошел на берег за папиросами.

— Не ваше дело рассуждать! — сказал ему в спину Штерн. — Прикажут, так вы будете грузить у меня коровьи хвосты! Какая разница?!

Раздражение на палубе не утихало. Утром, когда уходили из порта, какой-то матрос крикнул в рупор со «Страны Советов»:

— Благополучно ли взяли груз тещиных языков?

В море висел туман. Штерн почувствовал облегчение — будто туман мог скрыть его легкомысленный груз. Штерн представлял, как любопытные и вежливые пароходы будут осведомляться в море:

— Куда и с каким грузом вы следуете?

— С игрушками в Бельфаст, — ответит вахтенный.

После этого на встречных пароходах начнется необычайное оживление. Их борта запестреют хохочущими рожами матросов. Град насмешек обрушится на команду «Борея». Матросы будут пищать «уйди-уйди», а капитаны орать с мостиков:

— Счастливого плавания с сосками!

Чох прозвал чудака «роман с контрабасом». Действительно, он не внушал уважения. Матросы, обычно равнодушные к пассажирам и грузу, были уязвлены. Они подходили к чудаку и спрашивали, показывая на его красные остроносые туфли и явно издеваясь:

— Сколько дали за эти колеса?

Более нахальные ставили вопрос иначе:

— Почем копыта?

Чудак не обижался. Он охотно отвечал, что заплатил в ГУМе двадцать рублей.

Он был настроен восторженно. К вечеру в морской мгле происходили любопытные вещи. Сквозь туман проглядывали облака, похожие па гигантские шары из розовой ваты, подмигивали далекие маяки, и берега Дании, казалось, пахли свежей селедкой и сливками. Чудак спускался в

кают-компанию и говорил Штерну:

— Я очень доволен.

Штерн высоко поднимал брови: поводов для удовольствия не было. Входили в Немецкое море, и барометр падал с упорством часовой гири.

— Будет шторм, — отвечал Штерн и уходил к себе в каюту.

На пятый день плавания за ужином в кают-компании чудак постучал ножом по стакану с нарзаном и попросил слова. Над морем шел тихий и серый дождь. В каюте пылали лампы. Лампы и чудак отражались сразу в четырех зеркалах. Штерн смотрел па чудака в зеркало и видел его профиль с кривым пенсне на мягком и добром носу.

Штерну было неловко. Как капитан он мог бы остановить чудака и указать ему, что суровые морские традиции не требуют речей. Можно было напомнить, что моряки считают многословие вещью постыдной (в том случае, конечно, если человек не выпил лишнего). Но Штерн пренебрег недовольными взглядами помощников и безнадежно махнул рукой:

— Пусть говорит.

Чудак сказал следующее:

— Происходит досадное недоразумение. Груз,

который я сопровождаю, доставил вам много хлопот. Причина в том, что вы плохо знакомы с игрушечным делом. Вы заражены профессиональной гордостью. Конечно, гораздо почетнее, чем возить игрушки, участвовать в экспедиции на Северный полюс. Я не думал, что моряки так падки на эффектные занятия и так необдуманно враждебны к вещам, каких они попросту не знают.

Эти слова прозвучали объявлением войны. Объявив войну, чудак перешел к сути дела. Он доказывал, что искусство делать игрушки так же почтенно, как и искусство кораблевождения. Он огорошил Чоха сообщением, что некий немецкий игрушечный мастер, делавший оловянных солдатиков, стал миллионером. Он утверждал, что советские игрушки лучшие в мире, а лучшие из лучших «Борей» сейчас везет в Бельфаст на выставку. Он уязвил Штерна, заметив вскользь, что в каюте капитана он видел маленький парусный корабль, выкрашенный в канареечный цвет. Игрушки — ценный груз. Ломать их имеют право только дети, но никак не портовые грузчики и команда. Он вызывающе сообщил, что страхи Чоха — вздор. Скажите любому моряку, что корабль может перевернуться от груза игрушек, и

он засмеется вам в лицо.

Чох протестовал. Оп вспомнил случай, когда в Ленинградском порту грузчик был задавлен кипой ваты. Он отпарировал удар и спросил, не засмеется ли чудаку в лицо первый встречный, которому он расскажет, что человека задавило ватой. Разгорелся спор. Штерн прекратил его, спросив с плохо скрытым любопытством:

— А какие у вас игрушки?

— Двух сортов, — ответил чудак.

Оп приволок в кают-компанию чемодан и вывалил на стол румяных матрешек, парусные корабли, зайцев и медвежат.

— Второй сорт, — объяснил чудак. — На таможне английские чиновники вскроют груз большевистских игрушек и приятно поразятся: сотни томных кукол с соболиными бровями будут посылать заученные улыбки. Эти улыбки скроют наш подлинный груз — вот он: это первый сорт.

Чудак встряхнул чемодан, и на стол посыпались комсомолки и пионеры из папье-маше, Буденный на сером коне, красноармейцы с загорелыми лицами, кузнецы, кующие плуги, полисмены с идиотскими рожами, ткачихи у прялок, шахтеры, скрюченные в забоях, десятки детей на первомайских автомобилях и, наконец, смехотворный

король с белыми глазами. При малейшем прикосновении он издавал хриплый лай.

Игрушки пошли по рукам. Младший помощник посадил полисмена на сахарницу, щелкнул по носу и дал ему в рот папиросу. Полисмен яростно вертел злым бисерным глазом. Штерн заспорил с Чохом о парусных кораблях. Чох уверял, что это модели чайных клиперов. Штерн сердился и доказывал, что это бриги. Вытащили книги с описанием старинных кораблей. Радист сел за пианино, и кукла-пионер под опытной рукой механика начала отплясывать чечетку.

В дверь заглядывали ухмыляющиеся матросы. Боцман пришел доложить относительно скорости хода, взял со стола свистульку и показал на ней все двенадцать соловьиных колен.

Волнение перекинулось в кубрик. Рулевой Ширяев хвастал, что может вырезать из одного куска коры модель миноносца вместе с мачтами, трубами и боевой рубкой. Ему не верили. Ширяев клялся и требовал кусок коры, но на «Борее» коры не было. Имена прославленных корабельных модельщиков из Гамбурга, Одессы и Лондона склонялись тысячи раз.

Чох остался тверд в своих суевериях. Значение игрушек он видел в том, что они — особенно плю-

шевые медвежата — предохраняют от роковых случайностей.

Штерн рассказал, как дети рабочих в Гавре играют в глухих, занесенных мусором бассейнах гавани, откуда их не гоняет портовая стража. Игрушки их просты. Доски заменяют пароходы, а ржавые гвозди — адмиралтейские якоря. Играют они очень тихо. Их радость сродни печали, настолько она боязлива.

Чудак перебил Штерна и сказал, что в игрушки вкладывается много таланта и теплоты, должно быть, потому, что игрушечные мастера прожили незавидное детство. Ребенок, не знающий игрушек, растет в сухом окружении взрослых. Он даже не может разговаривать с паровозами и зайцами, он не может проделать самую заманчивую вещь — отвертеть голову полисмену и заглянуть внутрь, в полый гипсовый шарик.

— Я понимаю, как обидно и оскорбительно возить кукол в кружевных панталончиках и резиновых негров, предназначенных для комнатной расправы, — сказал чудак. — Вы видите, что наш груз иной. Мы везем игрушки для тех кварталов, где дети играют банками от консервов и высохшими селедочными хвостами. Трудно догадаться, сколько радости и слез лежит в ненавистных вам

ящиках в трюмах «Борея». А вы сожалеете о грузе соленых кишок.

Шум затих только к полуночи, когда четыре склянки прозвучали особенно мелодично в безветрии и тьме.

Штерн поднялся на мостик. «Борей» огибал северные берега Англии. Штерн взглянул на барометр и выругался: с океана шел шторм. Звезды растерянно мигали и заволакивались длинным дымом тумана.

В каюте чудака нежно запела скрипка. Штерн прислушался. Пение скрипки на ночном корабле было так же необыкновенно, как и груз, лежавший в трюмах. Штерн поднес ко рту свисток, помедлил и свистнул. Прибежал вахтенный.

— Передай Чоху, — приказал Штерн, — пусть проверит, как закреплен груз в трюмах. Надвигается шторм.

— Есть! — прокричал вахтенный и побежал, насвистывая, с трапа.

Когда Штерн спускался к себе, в трюмах сияли лампочки, забранные толстыми сетками, и Чох кричал:

— Аккуратнее, это вам не мыло!

Провозились до утра, по груз был закреплен талантливо, как умел кренить только Чох, когда

бывал в хорошем настроении.

Чудак до поздней ночи играл на скрипке.

Мрак ударялся о пароходные фонари и бесшумно стекал за корму. Барометр падал скачками.

Чудак уснул с раскрытой на груди книгой. То был «Давид Копперфильд» Диккенса.

Чудаку приснилась старая Англия — желтые почтовые кареты, бледные девушки, клетчатые фраки стряпчих и стаканы с грогом, выпитым натощак…

В шесть часов утра сон неожиданно прервался. Книга свалилась на пол, и «Борей» покатился в пропасть.

Чудак проснулся и схватил пенсне. Он хотел видеть, что происходит, но не увидел ничего, кроме желтоватой тьмы и плаща, висевшего перпендикулярно к стене. Плащ хлопнул его по лицу. Из-под койки медленно выползло черное чудовище и пошло, шурша, бродить по каюте — то был старый кожаный чемодан.

Чудаку показалось, что «Борей» запрятан в исполинскую бутылку и в нее кто-то дует изо всех сил.

Чудак не сразу понял, что начался шторм. Вначале казалось, что «Борей» вертится, как щепка, под исполинским водопадом. Гвозди трещали в

пересохшем дереве, железо взвизгивало, но хуже всего был ровный и внятный вой снаружи — там пели под ураганом снасти.

Чудак быстро и кое-как оделся. В кают-компании он застал рассвет. Обстановка напоминала зимний день в лазарете: яичным пламенем горели забытые лампочки, а около окоп, как лужи, расплывался неприятный свет.

Чудак открыл дверь и шагнул на палубу. Утро, зеленое и мутное, ревело и мчалось за бортом. Океан шел стеной. Плач снастей леденил сердце. Чудак ползком пробирался на мостик, но там было еще угрюмее. Оттуда было видно, как «Борей» кипит картофелиной в холодном котле.

Плащи Штерна и младшего помощника промокли насквозь. Штерн тускло улыбнулся чудаку и ткнул пальцем вниз. Чудак похолодел: жест означал, что «Борей» с минуты па минуту может пойти ко дну. Потом он понял, что его вежливо просят убраться в каюту. Он упрямо мотнул головой и остался на мостике.

Штерн больше не обращал на него внимания. Он смотрел вперед и часто дергал ручку машинного телеграфа. Горы воды, наматывая перед собой гигантские валы из пены, мчались на пароход. Одну минуту чудак был уверен, что

«Борей» погибает. Пароход с треском ушел в воду, и несколько минут над взмыленным океаном торчали только его красная труба и мостик со Штерном. Потом «Борей» нехотя вылез из волн, и вода лилась с палубы, как из дырявых ведер. По неподвижной спине Штерна чудак понял, что момент был очень опасный.

Отрезвил чудака яростный крик вниз в рупор, показавшийся шепотом. Голос Штерна прохрипел:

— Чох, как в трюмах, как игрушки?

— Пока живем, — ответило эхо из медной трубы.

Штерн притянул чудака за шею и прокричал ему в ухо:

— Мы должны прорваться в Северный пролив!

Чудак закивал в ответ, но подумал, что ни о каком прорыве не может быть разговора. «Борей» дергался, как человек, которого во время самосуда то справа, то слева бьют по лицу.

Чудака поражало одно обстоятельство: пароход не прятал носа от ударов, а лез напролом на самые крутые волны. Это походило на храбрость отчаяния или па простое нахальство.

— Одиннадцать баллов!.. Слышите?.. Да… Ночью… Игрушки довезем… Вниз, вниз…

Растянутые губы означали улыбку.

Чудак сполз вниз. В кают-компании на диване лежал стюард. Он сокрушался, что придется есть всухомятку, так как камбуз не работает. Мысль о возможности еды показалась чудаку нелепой. Слова стюарда он объяснил помешательством.

В три часа над палубой мрачно загудел гудок. Чудак прижался носом к ледяному окну и увидел ржавый пароход со вставшей на дыбы кормой. На мачте его извивались клочья флага. Пароход нырнул кормой в воду и исчез в дожде. Чудак, хотя и не был моряком, заметил одну странность: у «Борея» флаг был на корме, а у встречного парохода флаг висел па половине мачты. Чудак спросил об этом стюарда.

— Что же тут непонятного? — раздраженно ответил стюард. — Просят помощи.

Даже чудак понимал, что просить помощи по меньшей мере глупо. Встречный пароход захлестало пеной и унесло. Лишь изредка подскакивало на переломе волн его красное днище.

Чудак дрожал. Он потерял веру в прочность «Борея» и во всемогущество Штерна. Радист поймал два призыва о помощи. Океан походил на буйного сумасшедшего.

Шторм крепчал. Приближалась ночь, по мысль

о сне даже не приходила в голову. Можно было только курить и ждать. Чего? Чудак прятался от мысли о возможной гибели, но в сумерки «Борей» стремительно лег на борт и понесся вниз. Тысячи тонн воды обрушились на палубу.

На мостике отчаянно засвистели. Побледневший стюард прокричал чудаку:

— Огибаем скалы Рокк! Наверх!

Чудак выскочил и отшатнулся: перед глазами ревела белая смерть. Он не заметил скал. Он видел только мощные гейзеры воды, взлетавшие высоко в небо. Обмирая от тошноты, он прополз па мостик. «Борей» стремительно падал с борта на борт, черпая воду. Оп шел параллельно волнам.

— Что?.. Что?.. — крикнул чудак Штерну, но ветер пробкой закупорил рот и флейтой засвистел на зубах.

Штерн даже не посмотрел на пего. Он не отрывал глаз от ослепительных белых гейзеров, особенно страшных оттого, что с востока мчалась непроглядная и угрюмая ночь.

Младший помощник вскинул на чудака усталые глаза, схватил за руку и написал пальцем на ладони:

«Огибаем Рокк».

Чудак понял, что наступило самое трудное.

«Борей» боролся из последних сил. Его несло мимо скал. Мутные волны были круты, как стены.

Чудак присел, вцепился в поручни и закрыл глаза. Неистовое желание оглохнуть и ослепнуть наполнило его торопливой тоской. Потом кто-то рванул его за плечи, он мгновенно промок и вскочил: под мостиком прошла, курчавясь, волна, и в ней килем вверх качалась сорванная с палубы шлюпка. «Борей» высоко вскинул нос и ринулся вниз, мимо последней скалы. Волны хлестали в корму. Машина мелко дрожала.

Штерн вытер лицо рукавом и сплюнул. Он тяжело повернулся к чудаку, стиснул его за локоть и повел в кают-компанию. Он молчал, а чудак не решался спрашивать.

— Ну, счастлив ваш груз, — выговорил наконец Штерн. — В такую погоду нельзя огибать Рокк. Все гибнут. Другого выхода не было. Через час мы будем за берегом.

Чудак спросил, зачем понадобилось огибать скалы. Он знал, что во время жестоких штормов пароходы идут против волны и ветра, пока погода не утихнет, и никогда не меняют курса, чтобы не подвергать себя смертельному риску.

— Если бы я вез груз соленых кишок, — прошипел Штерн, — я не менял бы курса. А теперь

идите спать!

Чудак покорно пошел в каюту, переоделся и лег. Качка стала мерной и приятной.

Он согрелся и уснул.

Ему приснился город, мохнатый от снега. Снег падал густо и бесшумно, покрывая черепицы домов и мостики пароходов.

Запах приморской зимы был свеж, как весна, — его нельзя было забыть всю жизнь. В сумерках дрожали миллионы огней.

Штерн вышел на палубу в новом кителе с золотыми шевронами. Его чисто выбритое лицо казалось юношеским.

«Борей» торжественно гудел.

Зажгли громадные факелы, и началась выгрузка. От ящиков с игрушками шел запах краски.

Чудак сошел на берег и заблудился в мягких от снега переулках. Он встречал стариков, похожих на героев Жюля Верна. Он с наслаждением вдыхал крепкий дым их трубок.

Город был пропитан запахом старых кораблей. На бульварах румяные и смешливые няни рассказывали детям о «Борее». Он прорвался через шторм:, страшный, как кончина мира, и холодный, как ледяной компресс, чтобы привезти им игрушки. Глаза детей синели от восторга и непо-

нятных слез.

Снег и пламя в каминах воскрешали чудесные времена из сказок Андерсена. Чудак увидел на снегу узкие следы Золушки. Снег под ее ступней растаял: у нее были очень теплые и маленькие ноги. Чудак пошел по следам. Они вели к «Борею».

Золушка стояла па корабле и говорила с Штерном. Штерн дружелюбно улыбался. Она повернулась к чудаку, и он отступил: лицо ее казалось созданным из блеска глаз и радости, на темных волосах белели снежинки, платье цвета морской воды играло разными красками от подымавшихся над городом ракет. Ракеты возвещали начало большого зимнего праздника.

Чудак проснулся. Было тихо. Он вышел на палубу и увидел в немом свете зари Бельфаст — старинный город с непогашенными огнями, закутанный в пуховый туман.

Пахло осенней травой. «Борей», посапывая паром, качался и медленно кланялся городу.

1929

Черные сети

Над островом стояла осень. Она притаила дыхание — дым немногих пароходов, дремавших в порту, величественными колоннами исчезал в небе. Легкие флаги висели тяжело, как знамена.

Случилось то, о чем Семенов втайне мечтал. Из-за поломки руля пароход задержался во Флиссингене — самом пустынном и самом безмолвном из всех голландских портов.

Флиссингеы умер. Вода в его гаванях была прозрачная, как в колодцах. По горизонту тянулась полоса черного дыма — то была большая морская дорога на Антверпен и Роттердам. Но даже в бинокль нельзя было различить корпуса океанских пароходов, величественных, как соборы. Они проходили мимо, забыв о былой славе Флиссингена, торговавшего в старые времена черным бархатом, золотом и бочками для испанских вин.

Семенов на пароходе был человеком случайным.

Он не был моряком, но принадлежал к немногочисленному разряду людей, терзающихся всю жизнь мыслями о море. Он говорил о нем очень много.

На вопросы собеседников, почему он не стал моряком, Семенов ссылался на плохое зрение. Он был близорук.

Семенов попал па пароход «Большевик» пассажиром. Первые недели плавания принесли разочарование. Морские переходы казались монотонными, а стоянки в портах были слишком коротки. Только во Флиссингене Семенов вздохнул и огляделся.

Можно было сидеть в кофейне, не прислушиваясь к пароходным гудкам, не бросая недокуренных папирос, не оставляя официанту неразмененную бумажку без сдачи. Семенов понял, что наблюдательность требует неторопливости.

Наблюдая, Семенов откладывал в памяти отдельные факты, и из них наконец сложилось твердое на всю жизнь впечатление о Флиссингене как о городе черных сетей. Флиссингенские рыбаки всегда возвращались с пустыми сетями, и сети эти были черного цвета. Пустыми они были потому, что рыбаки сдавали рыбу в море на поджидавшие их шхуны, а черными — потому, что их пропитывали смолой. Шхуны брали рыбу в море, чтобы скорее доставить ее в ближайшие порты, и эта торопливость еще больше подчеркивала медлительность жителей Флиссингена.

Недаром над дверью одного из домов Семенов прочел надпись, высеченную в каменной плите:

КАК ЭТОТ ГОРОД, КОГДА-ТО СТОЛЬ НАСЕЛЕННЫЙ, СДЕЛАЛСЯ ТАКИМ ПУСТЫННЫМ В НАШИ ДНИ?

Капитан «Большевика» Лобачев объяснял умирание Флиссингена очень просто. По его словам, морские порты были самыми недолговечными городами. Море меняет глубину, берега дышат, порты или мелеют, или поглощаются морем, и нет такой силы, которая остановила бы это движение. Лобачев перечислял Семенову целый список умерших портов, начиная с Карфагена и кончая Таганрогом. Богатые порты превращаются в пруды, где мальчишки ловят рыбу. От рассыпанного когда-то в изобилии зерна их набережные обращаются в поля, в цветущие лужайки, а гавани становятся приютом для разоруженных и догнивающих свой век парусных судов.

Лобачев был прав. Каждое утро Семенов видел толпу старух из богадельни, половших траву на набережной. Флиссинген сопротивлялся неизбежному, но трава росла буйно, как на кладбище. Старухи не поспевали за ее ростом. Они пололи, сидя на маленьких скамейках, низко опустив

головы, и часто засыпали.

Часть города была ниже моря. Ее защищали громадные валы, залитые цементом. Около валов жили сторожа, их называли «строителями плотин».

Город был населен рыбаками, старухами и «строителями плотин» — как будто больше никого не было. Один только раз Семенов встретил низенького и плотного человека с живыми глазками, похожего на Бальзака. Жилет его был расстегнут и держался на одной пуговице. Он подсел к столику Семенова в кофейне и завел по-французски разговор о Советской России.

Это был рыбопромышленник Ван-Теден. Он насмешливо слушал Семенова и ушел пренебрежительно и внезапно. Потом Семенов узнал, что Ван-Теден разорился после войны, когда рыбаки начали сдавать улов английским шхунам.

Второй достопримечательностью города была сумасшедшая рыбачка Христина. Она бродила по порту и плакала, когда ее окликали. Семенов часто встречал ее на валах. Она сидела на траве и смотрела на Семенова светлыми глазами, теребя на шее коралловую нить.

Но безветрие не могло длиться бесконечно. Наступил день, заполненный сыростью и обла-

ками. В серой воде качались отражения пестро раскрашенных — зеленых, желтых и синих — домов на набережной. Набережная казалась гигантской разукрашенной кормой старинного корабля. Рыбаки ушли за сардинкой.

Уют иссякал. Только в кофейне, где раньше всех зажигали яркие лампы, он остался у маленьких столиков и вселился в кошку, спавшую на прилавке.

Семенов укрылся от сырости в кофейне. За окнами шумно пронеслись чайки. Несмотря на ранний час, было темно.

Семенов нервничал. Он заметил, что походка горожан стала торопливей, что все пароходы на рейде повернулись кормой к городу и носом к морю и что черные облака несутся все стремительней, разрываясь на грязные клочья. Кроме того, в кофейне он был один. Очевидно, приближалась опасность, и только Семенов, как чужестранец, не подозревал о ней и позволял себе пить остывающий кофе. Хозяин исчез из-за стойки. Его глухой голос что-то торопливо доказывал за дощатой стеной.

Семенов вспомнил о полях гиацинтов и левкоев, виденных им на окраинах Флиссингена. Теперь ветер уносил их густой и нерастворимый

запах в глубь страны. Этот запах был признаком приближающейся бури и вызывал у жителей тревогу. Своеобразие этого штормового сигнала, выдуманного самим Семеновым, ему очень понравилось. Он закурил и, следя за струями синеватого дыма, начал развивать эту мысль: если в глубине страны запахнет левкоями, значит, шторм идет с запада, потому что жители запада разводят преимущественно левкои, если гиацинтами — с севера, а если лилиями — с северо-востока.

Мальчишеское это занятие было прервано ударом ветра.

Вдоль улицы пронесся дым из труб и сухие листья. Тяжелые и редкие капли дождя прихлопывали листья к земле и перерезали наискось водяными шнурками окна кофейни. Нарастающий гул доносился со стороны моря. В нем захлебывался визг пароходных сирен. По улице пробежал, нагнувшись, человек в черном. Он колотил в медный гонг и кричал однообразно и тревожно:

— Nood! Groste nood!

Семенов оцепенел. Этот крик: «Несчастье! Большое несчастье!» — был сигналом для жителей Флиссингена. Население бросилось на валы.

Море грозило прорвать их и затопить рыбачьи кварталы.

Семенов вышел на улицу. Воздух был холодный и зеленый.

Ветер сдувал набок тяжелые юбки женщин. Женщины бежали к морю, таща за руки детей. Мужчины то бежали, то останавливались, чтобы закурить трясущимися руками трубки. Все население должно было быть на валах.

— Nood! Groste nood!

Семенов тоже бежал к валам, глотая острый воздух, смешанный с дождем. Дождь был горько-соленый. Только потом Семенов понял, что это не дождь, а морская вода. Ветер подымал ее и швырял пригоршнями на город. В сумерки Семенов видел очень плохо, пробегавшие люди казались разбухшими призраками. Темнота была страшнее бури.

Семенов взобрался на валы. Улицы были полны бегущих, но на валах толпа стояла густо и безмолвно; она оцепенела от бури.

Черный ветер летел от горизонта. Белая пена била с громом в потрескавшийся цемент и пятнала чернильную ночь. Семенов испытал страх, потом чувство одиночества, наконец — желание бежать. Стоять лицом к лицу с таким штормом

было свыше его сил.

На рейде пароходы, как слепые щенки, окунали свои носы в волны. Семенов об этом догадывался, видел же он только их желтые фонари, дававшие столько же света, сколько тлеющий фитиль.

Семенов вернулся в город. На перекрестке улиц, где ветер устраивал гигантские водовороты из брызг и листьев, он услышал пронзительный крик. Так кричат подстреленные кролики и дети, попавшие под трамвай. Что-то темное лежало у дерева.

Семенов нагнулся и узнал Ван-Тедена. Голландец как бы спал на животе, его крахмальный воротничок поднялся на голову и сжимал ее, как наушники телефонистки. Между воротничком и сорочкой в затылке торчала рукоятка кухонного ножа. Ван-Теден был мертв.

— Убийство! — крикнул Семенов, вытирая руки о полы пиджака, но никто не отозвался.

Шторм гремел водопадом, в домах не было огней, и убийство казалось совершенно естественным в эту ночь гибели Флиссингена. Крик повторился, но уже дальше, и Семенов узнал голос сумасшедшей Христины.

Буря длилась двое суток. Семенов провел их на пароходе в тесноте и неуюте. Из всех щелей дуло.

Над мачтами неслось грязное небо. Зеленая вода в гавани, скомканная ветром, и селедочный цвет дня нагоняли тоску. По словам Лобачева, это была настоящая «зеленая тоска», от нее выцветали глаза и теснило дыхание.

На третий день шторм стих. «Большевик» готовился уходить из Флиссингена. Семенов последний раз пошел в кофейню. Из-за прозрачных облаков солнце светило, будто громадный матовый шар. К полудню туман накрыл город тишиной и теплом.

В кофейне сидел сонный хозяин с красными от усталости веками и сухой еврей — старичок в очках. Старичок оказался бывшим шлифовальщиком линз из Амстердама. Он жил у сына во Флиссингене. Отхлебывая кофе маленькими глотками, он философствовал. Очевидно, власть Спинозы — шлифовальщика оптических стекол — еще не выветрилась из умов амстердамцев.

Говорили об убийстве Ван-Тедена и о том, что, слава богу, море не прорвало валы.

Ван-Тедена убила Христина. Старичок рассказал Семенову историю ее сумасшествия, но Семенов понял едва половину.

Рассказ старичка выглядел примерно так:

У нее был муж — рыбак. Его звали «барышней»,

потому, что он был очень стеснительный. Он сдавал улов Ван-Тедену. Потом родился сын — такой же робкий мальчик. Его всегда обижали чужие дети. Он ходил за ними следом и смотрел издали, как они играют. Одна Христина в их доме была шумна и жизнерадостна. Она одна смеялась.

— Угу! — подтвердил хозяин, засыпая за стойкой.

— Война и для Голландии была тяжелым бременем. Рыбаки опасались уходить далеко в море. Уловы пали. Вместо селедки пошла в ход сардинка. Селедки не было. Па-де-Кале перегородили сетями, чтобы ловить подводные лодки. Рыба не любит новшеств на своем пути, потому она и ушла от здешнего берега.

— Совершенно верно, — пробормотал хозяин, просыпаясь. — Не дать ли вам чего-нибудь покрепче, чем кофе?

Взяли абсент — чуть желтоватый в чистых блестящих стаканах. У старичка на глазах навернулись мутные слезы.

— Вот видите, — сказал он и задумался, рассматривая свою серую ладонь. — Вот видите, к чему это привело — к нищете.

Сети, кроме воды, ничего не приносили. Барки возвращались в порт, как похоронное шествие.

Что оставалось делать, как не брать авансы в счет будущих милостей господа бога. И рыбаки брали, пока Ван-Теден их давал.

— По-разному, — добавил хозяин.

— Да, Петер, по-разному. У кого были сети получше и барка покрепче, тем он давал больше. Жизнь человека зависела от прочности снастей. У мужа Христины сети были старые, пароход порвал их, заблудившись у берега, а барка его была тяжела на ходу. И Ван-Теден почти не давал ему денег вперед. Вы ведь из России, и у вас, говорят, очень страшные зимы. Здесь зима тоже невеселая. Правда, морозов нет, но сырости больше, чем надо. Зимой вы можете весь день вытирать руки полотенцем, и все равно они будут красные и сырые. Дом надо хорошо протапливать. У Христины не было дров, и, конечно, у мужа начался ревматизм, а мальчик схватил воспаление легких. Муж Христины пошел к Ван-Тедену за авансом (как он говорил, за последним авансом!), но Ван-Теден отказал ему.

— Иди в попечительство для бедных, если ты не можешь поймать рыбы даже на флорин в неделю.

— Да, он так сказал, и он был прав, — промолвил хозяин.

— Тогда Христина начала очень ссориться с мужем. Она даже выгоняла его на улицу. Она требовала, чтобы он шел в море, а когда он брел к своей барке, она бежала за ним и возвращала домой: выходить в море было совершенно бесполезно.

Бывает безденежье, когда нет спичек, чтобы зажечь очаг. У людей мутится в голове при мысли об одном флорине. Им хочется уснуть, спрятаться, остаться одним. Они идут занять денег к соседу, красные, как кирпич, но не решаются попросить, заранее зная, что им откажут, и вместо этого говорят о военных новостях и других глупостях. Человек теряет веру в себя. А жена дома ждет с минуты на минуту, потому что ребенку надо купить поесть. Проходит час, два, человек томится, не решается попросить и не решается уйти. А дома — холод, полное отчаяние и мальчик просит молока. Правда, доктор давал им немного денег, но их хватало только на вчерашний черствый хлеб. Вы понимаете, каждый день человека уже с самого рассвета встречает мысль: если сегодня я не достану денег, то завтра — смерть.

Вот так было с мужем Христины. Мальчику становилось все хуже. Тогда муж Христины ушел украдкой из дома и вышел один в море. Не думаю,

чтобы он пошел за рыбой. Он ушел, чтобы хотя три часа не видеть слез Христины и не слышать, как хрипло дышит сын.

— Это было в тысяча девятьсот шестнадцатом году, в декабре, — добавил хозяин.

— Да. Это было в декабре. Если ты помнишь, Петер, к вечеру сорвался шторм, и все мы бросились на валы. Одна Христина не пришла. В ее доме было темно и тихо. Конечно, он не вернулся, — в ту ночь сорвало с якорей даже плавучие маяки, а один из них потонул. Христина не выходила два дня. Соседки поняли, что случилось несчастье. Они вошли в дом и застали ее с мальчиком. Она лежала и отогревала его, а он уже совсем умирал.

— Почему ты не пришла к нам за хлебом и огнем? — спросили соседки.

— А вдруг бы он умер один, пока я ходила бы к вам, — ответила Христина. — Ему одному так страшно умирать, он не отпускает меня.

Тогда мы поняли, что она сошла с ума. Мальчик умер в тот же день, муж утонул или утопил себя в море — не знаю, а она сошла с ума. Не дай бог никому такого конца!

— Нельзя сумасшедших, даже таких тихих, как Христина, оставлять на свободе, — сонно сказал

хозяин. — Этот шторм напомнил ей прошлое, и она убила невинного человека.

— Да… да… невинного, — пробормотал шлифовальщик. — Невинного, как ягненок. Ты прав, Петер.

Густой и протяжный гудок задрожал над городом. Семенов поднял голову и прислушался, — это гудел «Большевик». Он попрощался и пошел на набережную.

«Большевик» отвалил через час. Над островом моросила осень. Пестрые дома почернели. В церкви невесело, по-старчески, звонили колокола. Там шло отпевание Ван-Тедена, и Семенов подумал: «Как этот город, когда-то столь населенный, сделался таким пустынным в наши дни?»

1929

Соранг

Экспедиция капитана Скотта к Южному полюсу погибла в страшных буранах, разразившихся в Антарктике весной 1911 года. Шесть человек вышли к полюсу на лыжах от ледяной стены Росса. Шли больше месяца. До полюса дошло пять человек. Один сорвался в расщелину и умер от сотрясения мозга. Вблизи полюса Скотт, шедший впереди, внезапно остановился: на снегу что-то чернело. То была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец опередил англичан. Скотт понял, что это конец, что после этого им не осилить обратного пути в тысячу километров, не протащить по обледенелым снегам окровавленных ног. Тогда всем поровну был роздан яд. На обратном пути заболел молчаливый шотландец, лейтенант Отс. У него начиналась гангрена обеих ног. Каждый шаг вызывал острую боль, сукровица сочилась сквозь потертые оленьи сапоги и застывала на лыжах каплями воска. Отс знал, что он задерживает экспедицию, что из-за него могут погибнуть все. И он нашел выход.

В дневнике Скотта, найденном вместе с четырьмя трупами год спустя после экспедиции,

об этом говорится так: «Одиннадцатого марта. За последние сутки мы сделали всего три мили. Несмотря на нечеловеческую боль, Отс не отставал от нас, но мы шли гораздо тише, чем могли бы. Вчера он попросил оставить его в спальном мешке на снегу, но мы не могли этого сделать и уговорили его идти дальше. До последнего дня он не терял, не позволял себе терять надежду. К ночи мы остановились. Отс дал мне записку и просил передать родным, если мы останемся в живых. Потом он встал и сказал, глядя мне в глаза: «Я пойду. Должно быть, вернусь не скоро». Мы молчали. Отс вышел из палатки и ушел в метель. Он проваливался в снег и пачкал его кровью. Было два часа ночи. Он не вернулся. Он поступил, как благородный человек».

Перед дневником капитана Скотта вся литература кажется праздной болтовней — перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики.

В конце дневника Скотт написал дрожащими буквами: «Я обращаюсь ко всему человечеству. Оно должно знать, что мы рисковали, рисковали сознательно, но нам во всем была неудача. Если бы мы остались живы, я рассказал бы такие вещи

о высоком мужестве и простом величии моих товарищей, что они потрясали бы каждого человека. Мы гибнем, но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких».

Скотт ошибся: Англия не позаботилась о его близких. Записка лейтенанта Отса на имя Анны О'Нейль попала в руки русского матроса Василия Седых, участника экспедиции, нашедшей трупы Скотта и троих его спутников. Анну О'Нейль Седых разыскал только после войны, в 1918 году, в приморском городке на севере Шотландии. Было начало зимы. Снег, похожий па старое серебро, лежал на окрестных полях, и океан вздыхал у берегов, отсыпаясь перед зимними штормами.

Муж Анны, начальник рыбачьего порта, весь вечер курил трубку и молча угощал Седых кофе и твердым печеньем. Анна прочла письмо Отса, оделась и ушла в город, не сказав ни слова. Один только портовый смотритель, дедушка Гернет, друг мужа Анны, пытался рассеять смутную тревогу, как бы открывшую все окна в доме и наполнившую комнаты печальным запахом снега. Гернет рассказывал сыну Анны, мальчику восьми лет, старую морскую легенду о ветре, носившем название «соранг».

У моряков есть поверье, что среди бушующих нордов и трамонтан, муссонов и сокрушительных тайфунов есть жаркий ветер соранг, дующий один раз за многие сотни лет. Соранг приходит с южных румбов горизонта поздней зимой и обыкновенно ночью. Он приносит воздух незнакомых стран, печальный и легкий, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники. У детей от радости темнеют глаза, а корабли зажигают приветственные сигналы, качаются и кланяются этому ветру, как ласковые звери с мокрой от дождя шкурой. Соранг знаменует начало веселых и великолепных праздников. Воздух Антилл проносится над Шотландией, превращая зиму в свежее мгновенное лето.

Старый Гернет не окончил своей басни. Отец услал мальчика спать. Анна вернулась домой около полуночи. Она ходила без цели по набережной, пряча лицо от ветра. За ней бродил, опустив голову, дряхлый портовый пес, по прозвищу Репейник. Анна тихо говорила с ним, — ей больше некому было рассказать о письме Отса.

«Я умру через час, — писал Отс. — Мне кажется, что даже труп мой будет содрогаться от ужаса

этих буранов и стальной чудовищной стужи. Я вспоминаю Шотландию, наши теплые дожди, летящие над землей, подобно дыму, огни в сумерках, тяжелую воду гавани, соленый воздух мокрых осенних полей с почему-то не убранным клевером и нашу старинную песенку:

Здравствуй, дом! Прощай, дорога!
Сброшен плащ в снегу сыром.
Если нет для гостя грога,
Так найдется крепкий ром.

— Я вспоминаю вас и знаю, что это все — любовь. Я до сих пор не понимаю, почему вы ушли от меня так внезапно».

Анна перечитывала письмо в комнате мальчика. Она стояла у окна. Резкие морщины обозначились у нее на лбу — ей показалось, что громадная птица взмахнула крылом и с деревьев посыпались мелкие брызги. Они падали на лицо Анны, и было трудно понять, капли это дождя или слезы. Что-то громадное входило в жизнь, чему не было имени, наполнявшее все тело дрожью.

Мальчик проснулся и сел на кровати. Глаза его потемнели от радости.

— Ты не плачь, — сказал он и снова лег на теплую подушку. — Сегодня ночью будет соранг.

Он смеялся во сне — ему снилось, что откуда-то, страшно далеко, из Антарктики, подходит ветер, несущий запах снега и экваториальных лесов, дует соранг — праздничный зимний ветер, перебрасывающий тысячи белых огней, как дети швыряют комья снега.

Мальчик улыбался во сне. Маяк вскидывал в небо белые тучи томительного света.

Доблесть

Маленький мальчик рисовал цветными карандашами.

Он был очень озабочен и о чем-то напряженно думал.

Потом он поднял голову, посмотрел на меня, и из глаз его неожиданно полились слезы. Они ползли по щекам, капали на его измазанные карандашами пальцы, и от слез мальчику было трудно дышать.

— Па, — шепотом спросил он, — почему люди не придумали лекарства, чтобы не умирать?

Тогда мне пришлось рассказать ему эту историю.

Летчик Шебалин заблудился в туманах.

Морские метеорологические станции вывесили объявления о том, что на Европу надвигаются мощные массы тропического воздуха.

Стояла зима. Снега не было, но треск сухих листьев напоминал жителям морского города хрупкий треск льда. Этот звук был свойственен только зиме.

Знатоки морских туманов и дымной мглы — англичанин Тейлор и немец Георги — дали

точное определение этого тумана: «Теплый тропический воздух, если его зимой приносит в Европу, превращается сначала в голубоватую мглу, затягивающую материки на сотни миль, а затем мгла переходит в моросящие дожди. Туман этот очень устойчив».

Летчик Шебалин знал это. Внизу были пропасти и рваные вершины Карадага, покрытые лишаями и ржавчиной тысячелетий. Туман закрывал вершину. Он ударялся с размаху в гранитную стену горы и взмывал к небу могучей белой рекой. Вокруг этого туманного столба — единственного ориентира — Шебалин упорно водил по широким кругам стремительную машину.

Равнодушно и глухо гудело море. Красное солнце — солнце ранней зимы висело во мгле и отливало сумрачной бронзой на мокрых крыльях машины.

В кабине самолета лежал в жару маленький мальчик.

Мать сидела около него, и каждый раз, когда Шебалин оборачивался, он видел глубокие, почти мужские, морщины около ее губ. Мальчик умирал.

Шебалин летал за мальчиком в степь и должен был его доставить в больницу в приморский

город. Три часа назад, когда мальчика вносили в кабину, сухое небо было безоблачно и на чертополохе блестела паутина, казалось, ничто не предвещало тумана.

Шебалин знал, что, даже если удастся через два-три часа сесть на землю, — все равно будет поздно — мальчика уже не спасти. Просветов в тумане не было.

Машина с торжественным ревом рвала в клочья сырой и душный дым. Мальчик метался и бредил.

Внезапно Шебалин увидел внизу тень громадной и стремительной птицы. Самолет! Шебалин резко взял вверх.

— Конденсация! — крикнул ему в лицо бортмеханик. — Вылетели все-таки!

Шебалин кивнул. Встречная машина промахнула серебряным крылом. Шебалин узнал машину Ставриди.

Ставриди шел в тумане и рассеивал за собой широкими дорогами наэлектризованную пыль. Пыль притягивала частицы тумана, пыль превращала туман в крупный дождь. Его первые капли уже били наискось в стекла кабины.

Туман оседал глубокими пропастями, уже блестели под слюдяным солнцем мокрые ребра

Карадага, и Шебалин увидел внизу землю, омытую дождем. Она переливалась и слепила глаза.

Шебалин уверенно пошел на посадку.

С аэродрома мальчика увезли в больницу. Шебалин медленно вылез из машины. Его не удивило, что аэродром был полон летчиков, не удивил вылет Ставриди.

Он знал, что рассеивание тумана было сложным и дорогим делом, но не удивился и этому, — жизнь мальчика была дороже.

«Кто же этот мальчик?» — подумал Шебалин. Он даже не спросил об этом, когда получил приказ лететь.

Вечером экстренные выпуски газет сообщили, что летчик Шебалин доставил в город мальчика семи лет, получившего сотрясение мозга. Врачи признали состояние мальчика почти безнадежным, но допускали, что благоприятный исход возможен лишь при условии абсолютной тишины и покоя.

Через час после выхода газет на улицах было расклеено постановление городского Совета, предлагавшее всем гражданам города соблюдать тишину. Наряды милиционеров прекратили движение около больницы.

Но эти меры были излишни. Без всякого при-

каза город затаил дыхание. И тем явственнее звучали голоса моря, ветра и сухой листвы.

Автомобили шли, крадучись, по окраинам. Шоферы, привыкшие газовать и рявкать сиренами, безмолвно сидели в темноте своих кабин, как заговорщики.

Ярость шоферов обрушилась на потертое такси, прозванное «кипятильником». Машина эта внезапно и оглушительно стреляла. Вдогонку ей шоферы грозили кулаками и кричали свистящим шепотом: «Чтоб ты пропал, чертов кипятильник!» Газетчики перестали кричать. Громкоговорители были выключены. Пионеры образовали отряды по поддержанию тишины, но у них почти не было работы.

Нарушений тишины не было, если не считать незначительного случая с портовым фонарщиком. Это был старый и веселый человек.

Он шел и горланил песню, потому что приморский город привык петь и смеяться. Песни он выдумывал сам.

Фонарь горит, и звезд не надо,
И звезд не надо на небесах,
И все мы рады, да — очень рады,
Что нам не надо бродить впотьмах!

Пионеры остановили старика. Тихий разговор длился недолго. После него пьяный фонарщик сел на мостовую, стащил, кряхтя, ботинки и пошел на цыпочках к своему одинокому дому на окраине. Он грозил в переулки пальцем и шипел на прохожих. У себя дома он выпустил кошку из чулана, чтобы она не мяукала, вытащил из кармана старинные часы — толстую луковицу, послушал их громкий стук, положил часы на стол, прикрыл сверху подушкой и погрозил часам кулаком.

Второй случай произошел в порту и потом долго обсуждался по всему побережью.

Надо сказать, что от стародавних времен на морях еще сохранились заслуженные грузовые пароходы. Скрипя и тяжело переваливаясь на волнах, они проплывали около нарядных теплоходов и недружелюбно косились на них. Теплоходы шипели пеной и винтами и закатывались по ночам в морских горизонтах, как закатываются ослепительные планеты.

Один из таких пароходов — «Труженик моря» — подходил с грузом кровельного железа к городу, где лежал в больнице мальчик.

В десяти милях от берега пароход получил от начальника порта радиограмму. Начальник порта предупреждал, что ввиду чрезвычайных

обстоятельств выгрузка железа в порту запрещается на неопределенное время.

В двух милях от порта пароход получил вторую радиограмму. Она приказывала при подходе к порту ни в коем случае не давать гудка, визгливый гудок «Труженика моря» был хорошо известен.

Команда «Труженика моря», склонная к зубоскальству в такой же мере, как и все моряки, изощрялась в догадках. Но, несмотря на смешливое настроение, людей не оставляла тревога, — неуловимая связь между двумя приказами говорила о каких-то значительных событиях, происшедших в приморском городе.

При входе в порт к «Труженику моря» подошел моторный катер. Начальник порта поднялся на палубу и прошел в каюту капитана.

Когда начальник порта выходил из каюты, матросы услышали отрывок загадочной фразы:
— …больница у нас на самом берегу моря…

Капитан «Труженика моря» поднялся на мостик и коротко приказал выходить на рейд и становиться на якорь. Никаких разговоров! Разгрузки не будет!

Команда роптала. Тогда капитан созвал ее на баке и прочел вслух сообщение газет о мальчике.

— Сами понимаете, — сказал капитан, — что в городе не должно быть шума. С нашим грузом нечего сейчас и соваться.

Но ожидание на «Труженике моря» не было похоже на обычное, полное скуки стояние на рейде. Никто не знал мальчика, но о нем упоминалось с глубокой нежностью.

Ожидание это было полно рассказов и размышлений, наивных и печальных. Газету с берега вырывали друг у друга из рук. Несмотря на скрытую тревогу за судьбу незнакомого мальчика, ту тревогу, что двадцать лет назад показалась бы матросам не только смешной, но попросту непонятной, каждый скрывал в себе и чувство гордости.

Была ли это гордость собой или начальником порта, — моряки не могли разгадать. Но при встрече с начальником порта они срывали кепки и долго смотрели вслед на его синий лоснящийся китель.

Город затаил дыхание. Город молчал. Молчание это давало жителям ощущение одиночества и свежести. Так после крепкого сна в комнате с настежь открытыми окнами утро входит во все поры тела глубоким безмолвием и солнцем. Мысль, очищенная от соков усталости и ни-

котина, приобретает стремительный полет, и горизонты отодвигаются и тают, открывая новые берега, мысы, земли, давая новую пищу для волнений и поэм.

Город молчал, и тем явственнее слышались голоса моря, ветра и сухой листвы. Особенно громко шелестели розовые листья платанов. Но ничего не могло сравниться с канонадой прибоя.

На третий день болезни мальчика город пережил новое испытание. На мачте в порту взвился штормовой сигнал. С моря шел шторм, гремящий, как сотни скорых поездов, широкий шторм, который всегда срывается при безоблачном небе. И, как предвестник шторма, небо уже синело с нестерпимой ледяной яркостью.

Было выпущено второе экстренное обращение городского Совета к населению. В нем говорилось, что приняты меры, чтобы устранить шум, возникающий помимо воли человека, шум стихии. Под наблюдением изобретателя Эрнста в больнице заканчивается монтаж установки, наглухо выключающей внешние шумы.

Шторм ожидается к полночи, и к тому же времени должна быть включена установка, названная «экраном тишины».

В больнице быстро и бесшумно работали мон-

теры.

Времени оставалось мало. Ветер уже проносил над городом полосы высоких и прозрачных облаков. Шторм приближался. Первые порывы ветра продували городские площади и сносили к оградам кучи жесткой осенней листвы.

К ночи у мальчика ждали кризиса, и к ночи обрушился шторм. Он шел на берега сокрушительным ударом, в пене, хриплых. раскатах и визге обессиленных чаек.

Земля вздрогнула, леса в горах качнулись и глухо заговорили, и дым из труб пароходов с протяжным свистом помчался вдоль вымерших улиц.

За несколько минут до первого удара шторма Эрнст включил «экран тишины». Эрнсту было разрешено войти в палату, где лежал мальчик, чтобы проверить действие установки.

Оглохший от неистовства бури, Эрнст медленно поднимался по лестнице. Тишина была настолько совершенна, что Эрнст ясно слышал шуршание воздуха в своих легких. Эрнст вошел в палату, в безмолвие, залитое матовым пламенем ламп. О шторме можно было только догадаться по дрожи полов, сотрясаемых близким прибоем.

Но Эрнст не замечал этого. Он смотрел на маль-

чика. Мальчик лежал, приоткрыв рот, и улыбался во сне.

Эрнст услышал его ровное и легкое дыхание. Он забыл об «экране тишины», о шторме, он не замечал врача и молодой женщины в белом халате. Она сидела у постели мальчика, и Эрнст только потом вспомнил, как его — Да и то на одно мгновение — поразили слезы на ее глазах, слезы, медленно падавшие на ее колени.

Женщина подняла голову, и Эрнст понял, что это мать. Она встала и подошла к Эрнсту.

— Он будет жив, — сказала она и вдруг улыбнулась, глядя куда-то очень далеко, за спину Эрнста. Эрнст оглянулся. Позади никого не было.

— Вы великий человек, — сказала она. — Как я вам благодарна!

— Нет, — ответил, смешавшись, Эрнст. — Мы живем в великое время, и я так же велик, как и всякий трудящийся нашей страны. Не больше. Вы счастливы?

— Да!

— Вот видите, — сказал Эрнст, — создавать счастье — это высокий труд. Его осуществляет вся страна. Благодарить меня не за что.

Через полчаса город узнал о выздоровлении мальчика.

Радио, борясь со штормом, бросало эту весть в ночь, в океаны, во все углы страны.

Приказ о тишине был снят.

В кипение изнемогавшей бури врезались приветственные гудки пароходов, крики автомобильных сирен, хлопанье флагов, поднятых над домами, звон роялей и новая немудрая песенка фонарщика:

Осветил я бульвары, — пусть поет вся страна.

Что ж, что выпил я, старый, молодого вина!

В городе был устроен праздник. Шторм, как всегда, сменился неизмеримым штилем. Он уходил куда-то за край морей, плескался у пляжей на сотни миль, переливал у камней прозрачную воду и качал в ней красные листья кленов и теплое низкое солнце.

Если вы бывали ранней зимой у моря, вы должны помнить эти дни с легким дыханием, похожие на утренний сон, вы должны помнить этот голубоватый воздух, очищенный штормом, когда далекие ржавые мысы стоят грядой над морями и моря осторожно подносят к их подножиям солнечную рябь и тонкий туман.

Матросы с «Труженика моря» впервые услышали, как над спокойной водой поплыла симфония Бетховена.

Казалось, звуки поднимают пароход высокой и плавной волной, и потому вполне понятен был поступок боцмана, — он побежал на бак проверить, не сорвало ли пароход с якорей. И нечего над этим смеяться, как смеялся масленщик.

Вечером в порт вошел английский пароход «Песнь Оссиана». Экипаж его, удивленный видом праздничного города, — город казался огненным каскадом, льющимся с гор в бесшумное море, — вежливо запросил начальника порта, что происходит. Начальник порта ответил ясно и коротко.

В это время летчик Шебалин вышел из своего дома.

Далеко в горах выпал снег, и высокая луна магически блистала над серебряными снежными полями.

В саду около дома Шебалин встретил женщину. Это была мать мальчика. Она шла к летчику, чтобы поблагодарить за спасение сына.

В свете фонарей и в сумраке ночи лицо ее поразило Шебалина бледностью и радостной красотой. Она обняла летчика за шею, поцеловала,

и Шебалин ощутил острую свежесть, как будто иней испарялся у него на губах.

Они спустились в город, держась за руки, как дети, и увидели мигающий свет электрических огней на мачте английского парохода. Шебалин остановился. Он узнал азбуку Морзе и громко прочел сигнал англичанина: «Командам советских кораблей. Поздравляем и тысячу раз завидуем морякам, имеющим такую прекрасную родину».

Маленький мальчик перестал рисовать цветными карандашами. Слезы высохли на его лице, и только ресницы были еще мокрые. Он засмеялся и спросил:

— А чей это был мальчик? Общий?

— Да, конечно, общий! — ответил я, застигнутый врасплох этим вопросом.

Морская прививка

Автомобиль, гудя и встряхиваясь, метался по жарким дорогам. Их белая карта привела наконец к зеленой лагуне. Прохладная ее глубина казалась особенно яркой под днищами рыбачьих барок.

Лагуну, набережную, выметенную ветром, и дома с пустыми нишами для статуй окружали горы, покрытые ржавчиной многих веков.

Шофер замедлил ход, и за машиной помчались худые мальчишки. В их глазах сверкал восторг. Так умеют восторгаться люди очень теплых и древних стран.

Машина остановилась, и приехавшие с изумлением заметили сдержанную скупость природы, ветер и тишину. За горой, замыкавшей лагуну, шумел горизонт, — там было море.

Маленький мальчик вылез из автомобиля. Ему помогали шофер с пунцовым от солнца затылком и мать — светловолосая женщина с открытой улыбкой. Мальчик взглянул па отца, как смотрят на преданного друга, и спросил:

— Па, что это шумит там?

Отец ответил:

— Море.

— А что оно делает, море?

Отец засмеялся. Море ничего не делало. Его великолепное безделье казалось непонятным. Оно шумело, намывало пляжи, меняло очертания берегов, выбрасывало медуз и водоросли.

— Па, зачем море? — снова спросил мальчик и прищурил глаза.

Шофер похлопал мальчика по ладони:

— Ну, прощай, Мишук. Море — чтобы купаться.

Мишук смущенно улыбнулся. Загадка была решена.

Машина умчалась, оставив позади конус белого дыма.

Отец, худой, с молодым лицом и седыми висками, взял Мишука за руку и повел в дом, высеченный в скалах. В белых комнатах стоял плотный солнечный свет.

Мишук сел па пол: за окном было страшно. Там тучей лежал глубокий глухой воздух. Пол был горячий, море было непонятно, и Мишук заплакал.

Но любопытство преодолело страх. Через полчаса Мишук стоял па балконе и кричал в восторге: по морю плыли большие лошади с белыми гривами. Гривы то окунались в воду, то вскипали

пеной. Лошадей было много, — больше, чем во всей Москве.

В ресницах Мишука, еще влажных от слез, запутался ветер. Мишук тер глаза и вскрикивал:

— Ма, смотри, сколько лошадей! Ма!

— Это барашки, — ответила мать. На душе у нее было спокойно от света. — Это шторм на море, маленький. Это буря.

Мыс Айя — последняя ступень земли — краснел в пене и облачном дыму. За ним кончался мир, за ним плясали волны и дельфины и дул, припадая к воде, разгонистый ветер.

Отец сказал, помолчав:

— Помнишь, под Севастополем море открылось, как туча?

— Да, как туча, — ответила женщина и подошла сзади. Она хотела вспомнить прошлое: рождение мальчика, утрату чувства жизни, пугавшую ее по временам, внезапные перемены в муже, но ничего не вышло. Прошлое исчезло. Оно казалось прекрасным даже во всей своей тягости. Оно тонуло в этой синеве, брызгах, в детском хохоте.

Утром на следующий день Мишук поехал на пляж. Курносый Пашка лениво греб и щурился на море. Там плыл белый пароход.

— «Зарница», — сказал Пашка.

На пляже Пашка лазил на бурые скалы и орал сверху, размахивая кепкой:

— Мишук, гляди, де я! Мишук!

Мишук волновался и хохотал. Невесомая влага подымалась и опускалась, но ни одна волна не плеснула о берег, — море дышало во сне.

Женщина вошла в воду и улыбнулась: в воде было растворено солнце. Перезревшее лето пахло йодом, хвоей и солью. Она закрыла глаза. В ресницах вспыхнули хрустальные шары — над морем всходил беззвучный полдень. Мыс Айя исполинским фортом чернел в море и терпеливо дожидался зноя.

Женщина прижала копчики пальцев к смуглым плечам, и несколько слез скатилось в море. Она плакала от простой мысли, что вот этот день нужнее для нее, чем многие годы их прошлой жизни, чем тяжесть познания, чем пестрые вереницы людей, проходившие через их жизнь, как через ресторан.

— Мишук, гляди, де я! — орал Пашка с неприступных вершин.

Мишук дрожал от страха и смеялся. Он стоял у моря так, что только копчики его пальцев были в воде. Он был слишком маленький, а море было слишком большое. Мишук боялся шагнуть

вперед и назад. Непонятность всего происходящего пугала Мишука. Громадные его глаза были готовы пролиться невыплаканными слезами. Впервые он ощутил величие стихий.

— Ма, зачем море большое? — шепотом спросил Мишук, по мать не слышала, она плыла далеко в море.

— Что ты шепчешь, маленький? — спросил отец.

— Па, зачем море большое? — повторил Мишук, и из глаз его закапали слезы.

Отец понял этот род потрясения: несоизмеримость величин — Мишука и моря — была очевидна. Морскую прививку Мишук переносил долго: только через неделю он перестал говорить в присутствии моря шепотом. Но тогда море уже стало его другом.

Шхуну «Кудесник» изгрызли морские черви. Она долго плавала у кавказских берегов и стояла в Батуме, где, по свидетельству старинных лоций, множество червей, и поэтому судам с деревянным корпусом застаиваться нельзя.

Изъеденный червями, «Кудесник» снялся из Батума в Херсон. Вблизи Севастополя в трюме открылась течь. Испуганный шкипер повернул в зеленую лагуну и выбросил судно на мель.

Проходили зимы с их штормами, и «Кудесник» погрузился в воду по палубу. В его трюмах серебряным рисом бродила камса, а на палубе Петро Дымченко сушил сети.

Из истлевших канатов еще не выветрился запах смолы. В трещинах мачт янтарными каплями каменела смола. Ржавчина цепей была цвета киновари — океанская ржавчина: твердый палет соли и ветра.

Отец Мишука переправился на «Кудесник», лег на палубу, открыл книгу и в ту же минуту услышал хриплое ворчанье за рассохшимся кубриком. Он встал и увидел внутри огромной сети-мережки гигантского седого краба, курившего трубку: это Петро Дымченко штопал сеть бамбуковой ниткой. Петро зорко посмотрел на книгу, на седые виски и загорелое лицо незнакомца, сплюнул и закричал:

— Чертов извозчик переехал мережку, будь он проклят, зараза, на мою голову! Теперь чини.

— Чем переехал?

— Арбой! Разогнал коня, а я сидел на набережной и чинил. Порвал все скрозь. Построй с ними социализм, с балбесами!

Из дальнейшего разговора, положившего начало молчаливой дружбе, выяснилось, что Петро

— старейший рыбак на лагуне. Вдвоем с другим стариком он основал артель под названием «Вечерняя заря».

Отец Мишука каждый день переезжал на «Кудесник». Его привлекала тишина: голоса с берегов были едва слышны. Петро Дымченко встречал его у побелевшего от солнца планшира и кричал сердито:

— Что ж пацанчика не привезли?

Мишук боялся переезжать на шхуну. Пашка наврал ему, что по палубе «Кудесника» бегают огромные крабы, шипят и хватают пацанов клешнями за пятки.

Петро был бездетный бедняк. Нищету свою и одиночество он носил просто и с достоинством, как суровую одежду. В его представлении почти все лучшие люди были бедняками.

По утрам Петро приходил за Мишуком и брал его в свою шлюпку «Корсар» ставить сети в лагуне. Он нес Мишука на руках, как драгоценность. Мишук колол щеки о его щетину и смущенно улыбался. В лодке Мишук сидел на дне очень тихо, и глаза у пего становились вдвое больше. На бесконечные его вопросы «зачем» Петро давал точные и мудрые ответы.

— Па, — спрашивал Мишук Дымченко, — зачем

рыба плавает?

— Тикает от сетей, — отвечал односложно Дымченко.

Мать видела из окна, как Мишук шел, болтая с Дымченко, и держался за его синие заплатанные штаны, и ей хотелось смеяться. Дымченко брел походкой, разбитой от многолетних плаваний, и придерживал Мишука за спину.

Расплавленный полдень то погружал их в синюю тень, то обливал красным золотом.

Над лагуной дрались чайки. Греки орали с яликов:

— Петро, откуда у тебя дите? Хорош пацанчик! Будет наследником на «Корсаре», — он уже к морю имеет привычку!

Под водопадом шуток н смеха, в солнце, ветре и запахе сухих садов Дымченко провожал Мишука и сдавал на руки матери.

Мать улыбалась. Так улыбаются люди, чья душа открыта для всех ветров и всех человеческих страданий. Улыбка эта напоминала внезапный блеск. Радость приобретала в ней телесную форму.

Бездетность, не замечаемая раньше, приобрела для Петро характер несчастья. Она мучила. Жизнь мстила за себя: ни жажда покоя и сна,

ни усталость от сорокалетней работы — ничто прошлое не было так сильно, как новые мысли о мальчике-внуке. Петро снилось, что он снимает пух с его ресниц, мальчик смеется, и в уголках его глаз дрожат слезинки.

— Эх, малый мой, — бормотал Петро и уже не мог заснуть.

Каждая новая мысль производит в старческом теле глубокое потрясение.

Только старикам знакомы тишина и тяжесть устоявшихся ночей, когда море теряет цвет и спит даже рыба. Не спят только старики, маячные сторожа и вахтенные на пароходах.

В одну такую памятную ночь Петро вышел на окраину рыбачьего городка встречать Мишука.

Мишук ездил с мамой в Севастополь провожать отца и вернулся сонный и теплый. Петро нес его домой. Мишук сладко посапывал у пего на плече, а над морем разверзались страшные голубые бездны, — из Турции надвигалась гроза.

Женщина, задумавшись, слушала, как море волновалось перед грозой и глухо взрывалось в подводных пещерах. В комнате, уложив Мишука, она подошла к окну, взглянула в неизмеримую темноту и сказала:

— Ну, вот мы и одни.

Молния открыла в небе внезапное нагромождение облаков, высоких и розоватых, похожих на кущи исполинского сада. Свет ее обнаружил па столе забытую книгу с подчеркнутой строкой. Женщина зажгла спичку и прочла:

«Даже в печали, кроме горечи, есть глубина и подъем душевных сил. Как будто открываются все шлюзы».

Спичка погасла. Женщина вспомнила, как мучительно писал книги отец Мишука и как он страдал от сознания, что почти никто не воспринимает жизнь так, как он.

Его никогда не покидало сознание, что автор выше своих книг.

В книги он вкладывал ребячество, в жизнь — иронию и сострадание. Он не любил действия. Его рассказы были пестры и медлительны, как мысли чистильщика сапог, дремлющего на солнце и наблюдающего кружение прохожих в зеркальной витрине.

Так же, как к своим рассказам, он относился и к чужим книгам. Он не читал, а медленно выбирал со страниц отдельные мысли, словно промывал чужую книгу в нескольких водах, и надолго запоминал то, что оставалось на решете: неожиданный образ, нервную дрожь, мысль, свежую,

как дождь, насмешку и понимание простых человеческих печалей. Сюжет он забывал быстро.

Он мог написать рассказ о прорастании травы. Его тянуло к тишине и дружеским беседам. От суеты страниц, где люди дерутся, любят и мучают друг друга, у него болело сердце.

Он писал так, как мальчишки собирают марки или вырезывают из дерева модели кораблей. Вырезывание моделей плодит неистребимую тоску по городам, вымощенным голубым стеклом, где корабли швартуются прямо у цветочных клумб. Начинаются сомнения — может быть, такие города существуют? Сомнение переходит в уверенность, и тогда человек пишет рассказ об этих героических городах. Такие рассказы действуют, как стакан вина, выпитый натощак. Но теперь у нее эти рассказы вызывали горечь и раздражение.

Женщина утром написала мужу:

«На море уже осень, и очень пустынно. Пришла сельдь, в лагуне дежурят лодки, а над домом кричат чайки. Мы с Мишуком одни во всем доме и саду. Я очень сдружилась с рыбаками. Ни у кого я не встречала такого ясного отношения к жизни и к нашему времени. Мысли мои крепнут с каждым днем. Я перечитываю написанное то-

бой, и мне тяжело, что ты прячешься от жизни в переулки, заросшие тропическими цветами и переполненные сверх всякой меры солнцем и блеском. Литература не валерьянка, а полный крови кусок человеческой жизни. Пиши о настоящих людях, о том, как создается на крови и нервах новое человечество. Прекраснее этого ты ничего не найдешь».

В это время отец Мишука стоял у окна вагона. Поезд взволнованно дышал, задержавшись в Бельбеке. Ветер косо нес свежесть и запах влаги. Над побережьем шумел ночной ливень. Над горой восходил свет, будто в долине был спрятан город, иллюминированный перед ночной грозой.

До моря было десятки верст, но он еще с детства верил, что море светится но ночам, и теперь ему хотелось думать, что это последний свет моря.

Морю он был обязан тем, что стал писателем. Болезнь воли, заставлявшая его писать о вещах смутных, мягких и ограниченных, прошла. Наступило время сосредоточенности и работы. Он улыбнулся, вспомнив о седых висках. Это не испугало его. Писательство оказалось не забавой и не жонглированием людьми и образами, — оно становилось судьбой. Оно превращалось

из болтовни и дикого возгласа Жозефа Делтайля: «Я пишу, чтобы нравиться женщинам», — в бессонные ночи, в величайшее напряжение, в жестокость к себе.

После моря московское лето оказалось сотканным из голубоватой паутины. Солнце светило, как через стекло.

Широкая радуга опрокинулась над зеленым Замоскворечьем. Цирк в Парке культуры и отдыха зажег свою палатку из пламени. Мокрые доски стадионов пахли скипидаром.

Над радугой повисло облако, похожее на гигантскую кисть сирени, освещенную закатом.

Все было очень мимолетно, как мимолетно московское лето. В черной листве Нескучного сада розовели огни, и с востока, закрывая золотые кремлевские купола, приближалась сырая ночь.

Млечный Путь пересекал реку по диагонали. Гремели под сурдинку оркестры, и мосты Окружной дороги плавным прыжком перелетали с берега на берег.

Ветер качал в воде ослепительные столбы огней и перепутывал их с фонарями лодок.

Вечером отец Мишука пошел в планетарий. Здание еще стояло в лесах. В легких его линиях была заключена тоска по новым городам, где

улицы будут стремиться среди листвы и тени в поля, пахнущие травами. Космический купол планетария чернел в зеленоватой воде заката.

В душном зале серебряный аппарат сверкал сотнями маленьких линз. Свет погас, и над головой поплыло звездное небо — яркое, низкое и пахнущее полотном. Оно было похоже на черный бархат с нашитыми никелевыми бляшками. Оно вращалось с глухим зудом. Планеты неслись, обгоняя друг друга, делали затейливые петли и погасали на кепках зрителей, сидевших у степ.

Строитель планетария — друг отца Мишука — подошел к нему после сеанса:

— Ну как?

— Слишком нарядное небо, — ответил отец Мишука.

Он вышел на улицу, и небо над Москвой обрушило на него ворохи звезд, туманы Млечного Пути, ветры, мерцание, горькую листву, дым облаков — настоящее и милое небо.

— Вот, — сказал он, прислонившись к решетке сада, и закурил папиросу, — вот настоящее.

Он вспомнил Ван-Гога, сошедшего с ума из-за неудачной попытки передать на полотне звездное небо, и подумал, что все же это было благородное помешательство.

Потом несколько дней он провел вдали от Москвы. Дни были налиты до краев дымом и синевой, а по вечерам в шуршании рощ свистели последние птицы и вставала луна.

По утрам он ходил купаться на Клязьму. Холод черной воды сменялся жаром. К сырому и еще загорелому телу прилипали березовые листья. Пни в лесах пахли грибами и йодом. Он испытывал свежесть, будто в него переливали кровь этой осени. На щеках появился румянец, и писать было необыкновенно легко.

Он думал, что надо забыть все написанное прежде и начать писать по-новому.

В суровости осенних ночей, в далеком крике паровозов на Северной дороге родилось чувство новой эпохи — напряженное, как ветер, дующий в упор в похолодевшее лицо.

«Только об этом надо писать, — думал отец Мишука. — Возвеличить эпоху — блистательную и неповторимую. Вместо выуживания со дна сознания пестрых тряпочек своих чувств и настроений заговорить полным голосом и дышать всей грудью воздухом времени, едким и свежим, как океанская соль».

А Мишук в это время возвращался с мамой с моря. Всю дорогу он висел в окне, волновался и

приставал к матери — хватит ли в паровозе дыма до Москвы.

1935

Парусный мастер

Старик с копченой кефалью, засунутой в карман пиджака, сел в автобус около вокзала. Северный ветер дул над Севастополем. Синие холодные крейсера скрипели на якорях в бухте, и, как всегда зимой, тяжело стонал на рейде плавучий бакен-ревун. Ветер прижимал к севастопольским желтым холмам снеговые тучи, и все заметнее иссякал хмурый свет.

Старик с кефалью сердито посмотрел на небо.

— У нас в Крыму, — сказал он, — все одно что у людей, что у погоды — нету дисциплины. Где сегодня холод, там завтра жара.

Озябшие пассажиры молчали. Старик вытащил из кармана кефаль и книгу Жюля Верна. Кефаль он засунул обратно в карман, а книгу начал было читать, но автобус внезапно заревел, сорвался с места, начал набирать высоту по белому шоссе, и читать стало невозможно: книга мелко тряслась в руке и сами собой перелистывались страницы.

— Интересная книга? — спросил старика моряк с серебряными нашивками, должно быть морской инженер.

— Было бы интересно, — ответил старик, — ко-

гда бы я читал для удовольствия, а то приходится читать по долгу службы, морочить себе, старому, голову.

— А вы чем занимаетесь?

— Я парусным делом занимаюсь. Сорок лет шью паруса.

— Зачем же вам Жюль Верн?

— А затем, что наше дело погибло, — ответил старик. — Не стало парусного дела в республике. Дед мой работал для линейного флота. Так вшивал фалы, что самый здоровый шкипер не мог их оторвать на спор руками. Отец тоже всю жизнь старался, шил помалу паруса для трам-баков. Было это в стариковские времена. А теперь пошли пароходы, моторы — стук, гром, — об ветре теперь никто и не беспокоится. Ветер теперь ни к чему! Кому он сдался? Одной голытьбе — рыбакам. Кто мотор купить не осилит, тот сейчас бежит до меня: «Сшей, дядя Федя, паруса, будь другом». Паруса! — сказал старик, помолчав. — Из парусных кораблей остался у нас один «Товарищ». Мы с ним вдвоем и бедуем, старики. А какой корабль! Как невеста! В океаны ходил, брал в шторм все паруса, падал на борт, гнал пену и пел, как скрипка, — даже зависть брала заграничных шкиперов. Идет «Товарищ», будто

из снега, горит на волне, а пароходы ему сигналы подымают: «Счастливого плавания старшему брату, последнему парусному кораблю».

Моряк усмехнулся.

— Думаете, я брешу? — рассердился парусный мастер. — Пусть береговые брешут, а нам, морским, брехать нет надобности! У нас и без брехни найдутся дела. Когда, положим, паруса набирают полный ветер, кто скажет, что некрасиво? Разве какой-нибудь дурак с пароходной команды, серый сиволап. Или, скажем, корабль идет при слабом бризе, паруса колыхаются на солнце, белый свет от них льется кругом, даже глазам больно. Теперь белых парусов давно не шьют, начали их смолить от сырости. Теперь парус черный, как воронье крыло, — глядеть на него противно!

— Верно! — согласился белобрысый моряк. — Но какое же у вас общее дело с Жюлем Верном?

— Как какое! — изумился старик. — Я такие паруса сшил, что загнал Жюля Верна с его парусными кораблями на самое дно в бутылку. Он в гробу двадцать раз перевернулся от зависти, ваш Жюль Верн, пока я те паруса работал.

Все молчали. Суровые горы, присыпанные снегом, стояли впереди.

Машина неслась к ним, дрожа и рявкая на поворотах. Всех занимала мысль, как она прорвется через стену гор, казавшуюся непроходимой.

— Сколько нас, стариков, в Севастополе, — сказал горестно парусный мастер, — это даже удивительно! Пойдите на Корабельную, — по всем дворам одни старики сидят. Хлеб кушать за одну свою старость — тоже как будто обидно, и выходит так, что старички наши хитрят и к малым детям пристраиваются. Одни внуков нянчат, другие игрушки стругают на продажу. И я для детей тоже стараюсь.

— Игрушки делаете? — вяло спросил моряк. Он сильно озяб. Машина приближалась к снегам, и моряку уже не хотелось ни спрашивать, ни слушать.

— Зачем игрушки! — возразил старик. — Игрушки за меня пусть швейцарский адмирал делает, я мелкой работой не интересуюсь. Может, читали в газетах, что в Ялте снимают картину для кино по книге Жюля Верна? Перешили под кино этого француза, достали азовскую шхуну, починили, сделали из нее вроде как стариннейший клипер и написали на корме имя «Марианна». Для съемки! А паруса для «Марианны» заказали мне — Федору Марченке. Врать не буду, сшил я

паруса на красоту, даже Ханов — последний парусный капитан на весь Советский Союз — и тот удивлялся. «Ты, говорит, Федя, не паруса сшил, а лебединые крылья. Надо тебя объявить, говорит, народным парусным мастером нашей республики». У него из всего получается смех, у Ханова. А я над теми парусами чуть не ослеп.

— Ай, как старался! — сказал насмешливый толстый пассажир. — Тысячи зарабатывал.

— Не к месту ты ввязался, базарная душа! — рассердился мастер. — Подавись моими тысячами! Мне денег не надо, я на одной кефальке проживу.

— А чего же тебе надо? — удивился пассажир.

— Сроду ты не поймешь из-за грубости из-за своей. Надо мне, чтобы многие тысячи людей смотрели ту картину и удивлялись великолепным парусам и большую любовь получали до моря. Дети будут радоваться на «Марианну», а может, где и какой тертый моряк посмотрит и скажет: «Да, знаменитый мастер шил паруса, честь ему и слава от всего морского населения, от всех, кто понимает! Почет Марченке и Жюлю Верну, что сработали такую красоту, и вечная память!»

Машина вошла в снежные горы. Старик пытал-

ся рассказать, что едет в Ялту, чтобы исправить второй кливер, потому что, судя по Жюлю Верпу, со вторым кливером вышло у него, у Марченко, не совсем удачно, — но его уже никто не слушал.

Леса, будто выкованные из топкого олова, сверкали под декабрьским небосклоном. Стеклянный блеск играл на горах, засыпанных легкими снегами. Солнце, похожее на золотой запушенный плод, неслось за прозрачной листвой деревьев, зажигая в ней ослепительные пожары.

Хлопья снега лежали на кустах, как мохнатые цветы, рядом с серыми пушистыми шарами волокнистых семян. Плющ плотно сжимал белые стволы деревьев. При каждом взгляде на его живую зелень было ясно, что тут же, за перевалом, Черное море бьет о каменистые берега прозрачной водой и мерно качает от горизонта до горизонта глубокий теплый воздух.

Шофер гудел клаксоном, и горное эхо катилось навстречу машине. Непрочный снег слетал с деревьев, обнажая стволы, позеленевшие, как бронза.

Парусный мастер сидел с закрытыми глазами. Из-под красных сморщенных век текли слезы. Внезапная зима летела навстречу и ослепляла его своим невыносимым светом.

За перевалом неожиданное море встало в глазах глухой высокой тучей, и начался спуск к Ялте.

В Ялте парусный мастер пошел в гостиницу, где жил режиссер. В гостинице пахло пыльными коврами, застоявшимся одеколоном, шашлыком.

Режиссер в лиловой пижаме сидел за круглым столом и пил кофе.

— Какой кливер? Зачем? — морщась, говорил режиссер. — Съемка корабля давно закончена. Сейчас мы работаем в павильоне.

— Хочу я вас попросить, — сказал Марченко, замирая от робости. Ему казалось, что он говорит с этим брезгливым человеком не теми словами, какие нужны, говорит как будто совсем не по-русски и режиссер его не поймет. — Хочу я вас попросить напечатать и мое имя на картине.

— Зачем? — равнодушно спросил режиссер.

— Может, где какой моряк прочтет и помянет меня добрым словом.

Режиссер поморщился.

— Вы же бутафор, — сказал он и закурил сигарету. Дым висел пластами над вазой с пирожными. — Зачем вам реклама? Кроме нас, больше никто в мире не закажет вам таких парусов. Парусных кораблей не будет!

— Оно, конечно, так… — пробормотал Марченко. — Нет у нас парусного дела. Мне заказов не нужно, я на фелюжников буду по малости работать.

— Так что же вам, собственно, нужно?

— Простите за мою дурость, за беспокойство, — сказал Марченко. — Нету у меня возможности рассказать вам про свою заветную думку. Да и шут с ней теперь, с той думкой!

— На сегодняшний день, — сказал раздельно режиссер, — я не вижу необходимости упоминать в картине имя случайного бутафора. У нас и так упоминается сорок имен. Но, в общем, я подумаю.

Марченко вышел на набережную и сел на скамейку. Ненужная, давно снятая на пленку «Марианна» качалась на якорях и робко, будто заискивая, кланялась морю.

Вдруг Марченко встал и торопливо пошел к «Марианне» — на ней медленно падали с рей и развертывались паруса. Солнце садилось, и его последний свет придавал холсту легкость самой тончайшей ткани.

— Чего паруса подымаете? — закричал с берега Марченко.

— Почтение и низкий поклон дяде Феде, — от-

ветил с бака старый рябой матрос Низовой. — Подымаем сушить. С утра дождем промочило. Заходите до кубрика потолковать.

В кубрике Марченко рассказал Низовому о разговоре с режиссером.

— Неспокойный ты старик, Федя, — просипел Низовой, выковыривая ножом пробку из бутылки кислого вина, — Чего ты зажурился? Ты плюнь! Я так считаю: чи будет на той картине твое имя-отчество, чи совсем его не будет, твои паруса свое возьмут. Кругом возьмут: и в Ялте, и в Одессе, и, скажем, во всей республике. Когда уважение чужому человеку делаешь, он тебя не пытает, кто ты да что ты, и ты сам с этим делом до него не лезешь.

— Зачем лезу, — сказал Марченко. — Я не лезу, ни-ни! Мне бы одного надо — приохотить людей до моего парусного дела.

— Приохотишь, — сказал Низовой.

— Приохочу!

— Через ту картину?

— А хоть бы и через картину.

— И паруса твои свое возьмут.

— Возьмут!

— Ну, тогда наливай шкалик и вытягай с кармана свою кефальку.

Старики пили и шумно беседовали до позднего вечера. В иллюминаторы заглядывали портовые огни. Они качались на волнах и то подплывали к «Марианне», как будто стараясь подслушать разговор стариков, то отскакивали и тонули в темноте.

1937

Потерянный день

Началось с того, что мы трое пошли вечером на пристань, чтобы купить на проходящем теплоходе мандарины. Неожиданно Осипов предложил нам поехать на один день в Феодосию и вернуться на автобусе через Симферополь.

Мы подсчитали деньги и согласились, — денег хватало. Самая бесцельность этой поездки казалась нам вначале интересной, но как только теплоход отвалил, Берг впал в мрачность и сказал, что мы — дураки, потому что воруем у себя дорогое время и бессмысленно отрываемся от работы. Я был готов согласиться с Бергом, но Осипов резко возразил и даже обозвал Берга «скучным типом».

В курительной рубке теплохода Осипов написал на клочке бумаги несколько цифр и долго их рассматривал.

Огонь маяка качался за иллюминатором. Он то разгорался, то бледнел от усталости. Ему трудно было без конца пробивать слабым лучом вязкую декабрьскую ночь.

Я заглянул через плечо Осипова и увидел ряд чисел. Около последней цифры «180» Осипов

написал: «180 книг за 20 лет своей жизни».

— Что это значит? — спросил я, предчувствуя новую выдумку.

— Это значит, — ответил Осипов, — что за двадцать лет моей сознательной жизни (во время этого разговора Осипову уже перевалило за сорок) я мог бы написать сто восемьдесят книг. Самый плодовитый писатель; даже Бальзак, и тот бы не угнался за мной.

Я представил себе Бальзака, занятого этим невероятным соревнованием. Густо исписанные листы бумаги падали со стола и разлетались по комнате. Один лист проскользнул под дверь, и рыжая комнатная собака сжевала его и выплюнула с отвращением. Бальзак не знал, что связь романа нарушена негодной собакой и страница, полная гнева и гениальной болтовни, уничтожена навсегда.

Он писал. Он торопился. Сизый табачный воздух хрипел в его бронхах. На камине слишком быстро стучали старые швейцарские часы. Их звон сливался в непрерывный раздражающий гул. Только что они били шесть часов утра, сейчас бьют полдень, а еще через двадцать страниц будут бить снова шесть медных бесцеремонных ударов. Часам было все равно.

Брызги срывались с пера. Прядь волос падала на глаза, но жаль было тратить время на то, чтобы ее откинуть, — не только жаль, но даже опасно. Бальзак знал, что каждое неосторожное движение может внезапно остановить поток бурных мыслей, сравнений, человеческих голосов, лившихся на бумагу.

Тогда усталость начнет жужжать в мозгу как упрямый шмель. Тогда начнется головная боль, и, как всегда в таких случаях, покажется, что рука никогда уже не выведет на бумаге ни одной талантливой строчки.

Бальзаку казалось, будто сложный оркестр играет в его сознании симфонию и надо успеть ее записать, пока не лопнули перетертые струны и не упали потными головами на пюпитры обессиленные музыканты.

Я открыл глаза и вместо бальзаковского кабинета, заваленного гранками и порванными счетами из типографии, увидел глаз маяка, косо уходящий вниз. Глаз мигнул и погас.

— Зачем он мигает? — спросил я Осипова.

— Это проблесковый маяк на меганоме. Слушайте дальше. Если мы примем за истину простую мысль о том, что каждый день нашей жизни заслуживает описания, то придем к неожиданным

выводам. В году, примерно, триста шестьдесят дней. Вот уже двадцать лет я живу более или менее сознательной жизнью и могу описать каждый день этой жизни не меньше, чем на пяти страницах. Значит, за эти двадцать лет я могу описать семь тысяч двести дней на тридцати шести тысячах страниц. Лучший размер книги — двести страниц. Я делю тридцать шесть тысяч на двести и получаю сто восемьдесят книг.

— Почему же вы их не написали, эти сто восемьдесят книг? — спросил я, уже раздражаясь от бесплодной болтовни.

— Не догадался, — ответил Осипов.

— Кошмарные разговоры! — пробормотал Берг.

Мне не хотелось спорить с Осиповым. Теплоход тяжело и медленно качало.

— Далеко не каждый день заслуживает описания, — возразил я равнодушно. — Бывают пустые дни, месяцы, даже годы.

— Посмотрим, — ответил Осипов, но ни я, ни Берг не обратили внимания на эти слова.

Открылись портовые огни Феодосии. Мы вышли на палубу.

Огней было мало. Они лежали низко, почти на взволнованной воде. Ночь над городом была

гораздо темнее, чем в море. Ветер нес темноту к берегам, горы задерживали ее, не пускали дальше — в степь, где она могла опять поредеть, и тьма над Феодосией висела плотная и глухая.

Изредка брызгали капли дождя. Они пахли лекарственно и дико. Может быть, в дождевой воде была горечь чабреца, — чабрецом зарастали из года в год здешние каменные берега.

Мы одни сошли с теплохода в Феодосии. Не было даже признаков рассвета. Только тускло белела наваленная на пристанях едкая соль — единственное светлое пятно в кромешном мраке.

— Зачем вы меня сюда завезли? — пробормотал Берг.

Осипов не ответил.

Через заржавленные ворота мы вошли в город. Было пусто и тихо. Зеленые фонари качались над черепичными крышами и выхватывали из темноты то лужи, засыпанные мелкой листвой, то кусок каменной ограды, на которой были написаны статьи новой Конституции, то ветхую лестницу греческого дома.

Ощупью мы вышли на главную улицу. Мрачные аркады тянулись по сторонам. Под ними светился огонек папиросы, — милиционер курил

и сплевывал.

Он был, должно быть, единственным человеком, бодрствовавшим в этот час в городе. Мы позавидовали ему. Он должен был стоять и прислушиваться, а это занятие казалось нам очень увлекательным. Он слышал за длинную ночь много звуков, то простых и понятных, то загадочных и тревожных, и ему было о чем рассказать.

Ветер неожиданно начинал шуметь в голых акациях и так же неожиданно затихал. Собаки выли в карантине. Капли стучали по жести. За черным окном плакал во сне ребенок, вспыхивала спичка, гасла, снова становилось тихо, и только море за городом, у Сарыгола, мыло ночные берега с однообразным печальным гулом.

Милиционер вздрагивал и поворачивался к морю, — густо и величаво ревела в два тона сирена теплохода. Горы, немного помолчав, отвечали теплоходу глухим и торжественным криком. Потом перекличка теплохода и гор стихала, и теплоход уносил в ненастное море свои праздничные огни и пустые палубы.

Возвращалась ночь, и кашель грузчиков, натрудивших плечи, был все тот же, что и всегда, — махорочный и неторопливый.

Мы шли по главной улице и старались дога-

даться, о чем думает милиционер ночью на посту. Никто об этом не знал, сами же милиционеры были неразговорчивы и суровы.

Мы брели вдоль аркад, и Берг вспоминал стихи Волошина, уроженца Феодосии:

И беден, и не украшен
Мой древний град —
В венце генуэзских башен,
В тени аркад.

Генуэзские башни, носившие имена римских пап, современников Данте, были скрыты от нас темнотой. Прошлое Феодосии лежало мраморными розовыми плитами в тесных и заполненных ночью залах маленького музея.

Музей был, конечно, закрыт. Около его дверей сидела худая женщина с корзиной рыбы. Она спозаранку шла на базар, присела на стертые ступени и закурила. От рыбы шел запах мокрого песка. Чешуя блестела под желтой угольной лампой, горевшей над дверью.

— Рыба нам дорого стоит, — сказала женщина. — Рыбацкая жизнь зимой опасная. Шторма такие тяжелые, — бьют всю ночь, пока вынимаешь сети. Я сама рыбачка, колхозница, натерпелась этих ночей, этой морской страсти,

рада покурить на берегу. А вы кто же такие?

Мы ответили.

— Значит, жадность у вас все знать, — сказала печально рыбачка. — Город наш древний, хороший город, — каменный, летом очень теплый, только опустелый.

— Очень опустелый, — повторила она, перебирая красными озябшими руками еще живую маленькую кефаль.

Мы пошли на вокзал пить чай, — больше деваться было некуда.

На цементном подъезде вокзала были свалены убитые зайцы. Рядом спала костлявая собака, и безмолвно сидели охотники с двухстволками. Они принесли зайцев на базар и, как рыбачка, сидели на ступеньках, дожидаясь рассвета.

Зайцы были степные, рыжие. Они лежали, прикрыв лапами пушистые морды, и, казалось, мирно спали рядом с собакой.

В буфере яркий свет горел только для того, чтобы освещать мандариновые корки на столах и старого бродягу — должно быть, последнего из бродяг, оставшихся от легендарных горьковских времен.

— Я все вокзалы знаю по Союзу, — говорил бродяга сонной женщине. — Лучше Курского вокзала

в Москве нету на свете.

Женщина молчала.

— А почему? — сипло спросил бродяга. — Потому что там научный подход до человека. Все дадут — и кипятку, и хлеба, и есть где сховаться от мелитонов.

Когда мы вышли с вокзала, синеватый свет уже брезжил над Феодосией. Черные тучи низко висели, упершись лбом в лысые горы. Город показался нам построенным из окаменелой пыли.

Мы пошли к автомобильной станции, чтобы ехать дальше — в Симферополь. Через час машина вынесла нас на пустое шоссе. Она с шорохом выплескивала белые лужи, виляла, будто судорожно обнюхивала дорогу, гремела и делала все, чтобы вызвать у пассажиров впечатление неистовой, головокружительной езды. Пассажиры молчали и зябли. Они давно знали этот древний автобус, и ни шофер, ни машина уже не могли их обмануть.

Хилый человек, забрызганный грязью степных дорог, сказал нам, опасливо отводя глаза от спины шофера:

— Много машин кругом по Крыму поразбивались, погибли от шоферской бойкости, а эта одна — тарахтит и тарахтит, нет на нее погибели!

Кожа на затылке шофера задвигалась, но он ничего не ответил.

— А нам что? — спохватился забрызганный пассажир, стараясь загладить неловкость. — Пускай крутится, старуха. От нее людям ничего, кроме пользы.

Шофер не ответил, но решил отомстить. Он повел машину с такой скоростью, что на ухабах сама собой крякала сирена и ветер выдувал из глаз у пассажиров холодные и обильные слезы. Ветер ревел под колесами, рвал брезентовый борт, и мы с восхищением и страхом увидели по сторонам дороги картину землетрясения.

Лысые горы мелко дрожали, качались, заваливались то вправо, то влево, ограды из дикого камня встряхивались как псы, но почему-то не обрушивались, чугунные столбы Индо-Европейского телеграфа тяжело свистели. Овцы неслись галопом в степь, но их настигали комья грязи, летевшие из-под колес машины, и больно били по худым бокам. Голова у шофера моталась как пьяная.

— Чешет семьдесят километров без обгона, — встревоженно сказал забрызганный пассажир. — Взял я шофера за самую манишку, за сердце, и теперь он из нас сделает закуску.

Было неясно, чем все это кончится, но под кузовом, переходя с фальцета на бас, завыл воздух. Спустила камера. Шофер остановил машину и нехотя вылез.

Впервые после отъезда из Феодосии мы огляделись и увидели Восточный Крым. Он был пустынен и блестел от недавних дождей. Тусклая редкая трава росла на взгорьях. Над травой медленно вращалось тяжелое облачное небо. Кое-где из земли торчали желтые слоистые камни, и среди них бродили овцы.

— А летом здесь была кругом по горам пшеница и мак, — вздохнул забрызганный пассажир. — Летом тут была сама красота.

— Как это люди, — сердито крикнула старая маленькая еврейка, закутанная в шаль, — любят вспоминать! Если бы от этого человеку прибавлялось ума на какую копейку, я бы еще согласилась: сидите и вспоминайте, что было еще до царя Николая.

— Это вам, старым людям, только и делать, что вспоминать, — пробормотал забрызганный пассажир.

— Ух! — с негодованием ответила еврейка. — Так знайте, что вашу пшеницу уже помололи на мельнице, а ваш мак съели свиньи. Кто любит

вспоминать, тот не любит работать, — так говорит мой муж, — он лучший сапожный майстер в Керчи. Если бы видели, как он работает! Через его работу мы вывели в люди целый табор детей. Теперь мне осталось перед смертью нелегкая должность, — всех объезжать и смотреть, чтобы они не ссорились. — Но где они живут! — воскликнула старуха. — В Москве, в Горьком, в Карасубазаре, в Одессе, Джанкое и Мелитополе! С такими детьми можно выучить географию, а чтобы у меня оставалось время вспоминать, — так об этом забудьте, молодые люди.

— Нашла себе работу! — сказал из-под днища машины незнакомый угрюмый голос.

Старуха покосилась на пол и замолчала. Подземный голос принадлежал шоферу. Он сидел на корточках в липкой грязи и чинил машину.

Как выяснилось потом, это был мрачный, но очень любопытный шофер, не пропустивший ни одного слова из пассажирских разговоров.

Снова стал слышен ветер. Он качал сухой чертополох в полях и заглушал голоса Берга и Осипова. Они сошли с машины и, как всегда, спорили о Бальзаке. Над степью тучи сгущались, их цвет все темнел, и чем ближе к земле, тем становился все более глухим и синим. Я долго вглядывался и

наконец понял, что это море.

— Скажите, — спросила старуха и потянула меня за рукав, — он еврей или русский?

Она показала на Берга.

— Еврей.

— А тот, высокий?

— Тот — русский. Почему вы спрашиваете?

— А если мне интересно! — ответила старуха. — Представьте себе, мне интересно знать про каждого человека, зачем он живет на свете.

— А ты сама зачем живешь? — неожиданно спросил из-под пола тот же угрюмый голос, и старуха испуганно замолчала.

Шофер вылез, вытер руки о пиджак, и машина тронулась.

Мы мчались к Старому Крыму. Он белел вдалеке, как отара грязных овец, сбившихся в кучу на склоне синих от сырости гор.

В Старом Крыму из глиняных хижин клубился дым. В дыму стояли старые сады. Низкие двери домов были обиты тряпками от холода.

Городок был похож на старуху, закутанную в рваный платок и зябнущую на ветру. Ветер дул из степей и вертел по лужам сухие листья каштанов.

Трудно было поверить, что на этих, засыпанных

битой черепицей холмах стоял когда-то Солхат, великий город, своим богатством превосходивший Дамаск. Теперь от прошлого остались только камни, небо и могилы.

Недавно к старым могилам прибавилась могила писателя Грина, такая же каменистая и заросшая колючками, как и все остальные.

Грин умер в Старом Крыму. Здесь он писал о Лиссе, о Гель-Гью, о несуществующих на карте городах, полных здорового запаха палубах. Солнце, прогревавшее корабли, не было нашим обыкновенным солнцем. Оно больше походило на стеклянный шар, наполненный золотой влагой. Солнце Грина издавало запах, подобно тем тропическим зарослям, которые он описывал. Ни разу в жизни он не видел этих зарослей и не ощущал их запаха. Достаточно было старой обертки от кокосового мыла, чтобы вызвать в его воображении вкус кокосового молока.

После Старого Крыма пустынная дорога вошла в леса. Рыжая осень мчалась по сторонам. Леса были заржавлены, их покрывала желтая плесень.

Северное облачное небо доползло до подножия гор, — дальше к югу его не пускал теплый воздух, подымавшийся с моря. Белое солнце неторопли-

во катилось за нами по вершинам голых холмов и озаряло долины, заросшие старой травой.

Машина сонно шуршала по кремнистой дороге, сонно шумел ветер в радиаторе, дремали пассажиры, кажется — дремал шофер, и, будто во сне, в неторопливо вращающейся панораме перемещалась на дне долины глухая татарская деревня. Сверху, с поворота дороги, она казалась красной от черепичных крыш, снизу — белой от вымазанных мелом стен.

Собаки, заслышав ленивые гудки шофера, бежали рысцой во дворы, прятались от автобуса. Здешние псы хорошо знают неистовый нрав крымских шоферов и никогда не облаивают машины, хотя глаза их и зеленеют от ненависти к зловещей и трескучей повозке, несущейся мимо выветренных оград.

Сквозь дремоту мы увидели на севере гряду красных гор, покрытых старческими морщинами. На горах не было ни единой травинки, как будто с земли сняли веселый растительный покров и обнажили каменный мозг, ссохшийся от геологических, невыносимо длинных эр.

— Если бы на земле исчезла растительность, — пробормотал Берг, — я бы повесился.

Машина катилась, и ее равномерное движение

вызывало простые и спокойные мысли. Вся привлекательность земли заключена в животном и растительном мире. И тот и другой мир изучены нами почти в совершенстве, но всегда от соприкосновения с ними остается ощущение загадки. Загадочны, и потому прекрасны, темные чащи лесов, глубины морей; загадочен крик птицы и треск лопнувшей от теплоты древесной почки. Разгаданная загадка не убивает волнения, вызванного зрелищем земли. Чем больше мы знаем, тем сильнее желание жить.

— Что правда, то правда! — сказал шофер. — Такие сады даже в Америке поискать надо.

Я открыл глаза. Машина стояла. Из радиатора бил пар. Стены вековых облетевших тополей опускались по склонам холмов. За ними серели обширные, как море, яблочные сады. Зеленый ручей шумел по гальке. Запах палого листа и дыма висел над садами, то усиливаясь, то ослабевая от неуверенных нажимов ветра.

— Крымское яблоко — зимнее, — сказал забрызганный пассажир. — В нем сока нет, его хорошо держать для запаха. Можно сказать, для елки это самое подходящее яблоко: его и золотить не надо. Оно само золотое.

Старуха-еврейка торопливо развязала кошелку

и вытащила елочные игрушки. Они пошли по рукам. Даже шофер осторожно повертел в масляных пальцах серебряную дрожащую звезду.

— Вот такую бы звезду моей старухе на радиатор! — сказал он и печально усмехнулся. — Хоть бы ей перед смертью покрасоваться, удивить людей. А то мучилась по чертовым дорогам всю жизнь, растряслась. Один только раз был у нее праздник — в этом году, когда ходил я в Ялту за цветами для Первого мая. Ехал обратно в Симферополь на малом газу, — боялся, облетят цветы. Хотели послать лошадей, говорят — на машине все цветы обобьешь, сделаешь из них зеленую кашу. А я человек упорный, гордый, — довез без повреждения. И машина за себя постаралась. Ехали по горам, ветер в лоб, а все равно запах из кузова было слышно. Мимоза очень крепко пахла.

Шофер вытер лоб черной рукавицей.

— Оглянулся, а за мной машин — целый поезд. Идут сзади, никто не обгоняет. Я остановился, кричу им: «Давайте вперед, чего вы все за мной тащитесь?» А они отвечают: «Мы, значит, вроде как почетный конвой при твоих цветах, Митя. Езжай, не смущайся. Нам сзади ехать — одно удовольствие».

— Легкий груз, — пробормотал забрызганный пассажир.

— Уж чего легче! — ответил сердито шофер. — Не то, что вас возить, скандалистов…

— Вы — хороший человек, — сказала шоферу старуха-еврейка, — потому что вы имеете любовь к хорошим вещам.

Шофер не ответил. Он прибавил газу в моторе, оглянулся и хмуро спросил:

— Все сели?

— Все.

Машина с натугой вырвалась из грязи и зашуршала по скользкой шоссейной гальке.

На краю садов машину остановил пожилой татарин с черным худым носом. Он о чем-то вполголоса поговорил с шофером и, получив согласие, завалил нас корзинами с яблоками, орехами, яйцами и сыром. Потом он притащил громадный ящик с живыми белыми курами.

— Скажите, товарищ шофер, — ядовито спросила старуха-еврейка, — это автобус или толчок? Потому что я уже перестала понимать, что это значит.

— Когда я вам отвечу, так вы сгорите со стыда за свой неспокойный характер, — пригрозил шофер. — Это — святой товар, он мне дороже всех

пассажиров.

— Интересно вы разговариваете, — обиделась старуха. — Даже смешно.

— Кому смешно? — яростно закричал татарин. Шея его покраснела от гнева. — Глупым людям смешно, а ты, старая, ты не должна быть глупой. В Мадрид! — крикнул он с новой яростью. — В Мадрид идет этот товар, испанским детям от наших татарчат. Сами собирали, сами укладывали, сами записки писали. А ты говоришь — смешно!

— Боже ж мой, — закричала старуха и взмахнула руками, — так что же вы шепчетесь с шофером, как последний спекулянт? Надо было раньше сказать! Если не хватает места, так я, старая женщина, вылезу и дохромаю до Карасубазара пешком ради такого золотого багажа!

— Ничего, сиди, — сказал шофер. — Как-нибудь я тебя довезу.

— Выходит, что ваша машина, товарищ шофер, не такая несчастная, как вы жалуетесь, — засмеялась еврейка и вытерла глаза концом теплой шали. — Получается, что у нее уже второй праздник за год.

— Похоже, что так получается, — хмуро ответил шофер.

Степь, залитая лужами, ползла навстречу. Ве-

тер подымал пух на головах кур, и куры делались похожими на сумасшедших, растрепанных чудаков. Забрызганный пассажир прикрыл их полой плаща!

— Как бы курочки наши не простудились! — сказал он и застенчиво засмеялся. — Все-таки надо доставить до Испании в исправности.

Мы пронеслись по окраинам Карасубазара и остановились около почтовой станции. Толпа старых татарок окружила машину.

Городок, обнесенный валами, остался в стороне. Мы обошли его по обочине. По тесным улицам Карасубазара машина пройти не могла, — на них едва расходились ослы. Низкие минареты торчали над крышами. Зеленая жидкая грязь плыла по переулкам медленными потоками. В бесчисленных кофейнях варили черную гущу с сахаром и сидели татары, перебрасываясь сонными словами об урожае яблок и пшеницы.

В Симферополе мы пересели в машину на Ялту. На перевале застала темнота. Шумели сухие леса, ветер нес в лицо крепкую снежную крупу. Пропасти были наполнены сизым дымом. Изредка в этом дыму мертво блестело море, похожее на ртуть.

Ночь простиралась над берегами, где у мокрых

камней плескалась ледяная вода. Береговые огни висели на краю вселенной, за ними начинались хаос, темнота, бездна. Около Ялты из садов потянуло застоявшимся за день теплом.

День был окончен. Он казался громадным, бесконечным и деятельным, несмотря на то, что в пути мы даже не говорили друг с другом.

— Ну, как: вы по-прежнему считаете этот день пропащим? — спросил Осипов, когда машина спускалась в черный провал, где были рассыпаны пригоршнями огни приморского города.

— К чертям! — ответил Берг. — Я не мальчик. Я лучше вас со всей вашей писательской математикой знаю, чего стоит каждый день.

Австралиец со станции Пилево

Отца Вани Зубова каждый год с весны трясла болотная лихорадка. Он лежал на полатях, кашлял и плакал от едкого дыма: в сенцах курили трухлявое дерево, чтобы выжить из избы комаров.

Глухой дед, по прозвищу Гундосый, приходил лечить отца. Дед был знахарь и крикун, его боялись по всей округе, по всем глухим лесным деревням.

Дед толок в ступе сушеных раков, делал из них для отца целебные порошки и кричал, глядя на Ваню злыми дрожащими глазами:

— Разве это земля? Подзол! На нем даже картоха не цветет, не желает его принимать, дьявола. Пропади он пропадом, тот подзол! Наградил нас царь за работу, — некуды народу податься!

— Податься некуды, это верно, — вздыхал отец.

— Ты чего бубнишь?! — кричал Гундосый. — Заладил, как дятел: «Некуды да некуды»! Небось есть куды. Небось бягут люди в Сибирь, за реку Амур, богатые земли пашут.

— Известно, бягут, — стонал с полатей отец.

— Ничего тебе не известно! — продолжал кричать дед. — Ничего не бягут. Народ, что ов-

ца, — все к загону жмется, хоть тот загон ей горше смерти становится. На печи сидеть вы охочие, а пойти поискать счастья, так на это вы не охочие.

— Народ у нас действительно квёлый… Без напору народ, — соглашался измученный отец.

— Но, но! — кричал дед. — Ты поспорь у меня, какой лихой господин! Напор-то у вас есть, да на кой толк он вам даден, одному лешему известно! Напористы вы водку пить, стариков со свету сживать, по судам из-за того подзола веками судиться.

Отец уже молчал. Спорить с дедом не было никакой возможности.

— Вот малый у тебя зря сидит! — Дед тыкал суковатым посохом в Ваню, и Ваня пугался. — Гони его в Сибирь землю искать. Шестнадцатый год ему пошел, а он под ногами суется, чаю просит, а работы с него, как с кота масла. Грамоту знает, вытяни его из-за угла за ухи и пошли.

— Чего ты, дед, раскричался? — говорил умоляющим голосом отец. — Куда я его пошлю, когда за один билет до Сибири отдай тридцать рублей, а то и все сорок?

— Ух ты, бестолочья твоя голова! — возмущался дед. — Пущай без билета едет, чего ему сделается? Где под лавкой, где в товарном, где на крыше, —

так и доедет. А ты как же думал? С чистыми господами, с чайниками, па мягких постелях?

Дед зло захихикал.

— Миллиён! — неожиданно крикнул оп и так стукнул по ступе, что отец закряхтел. — Не мене как миллиён каждый год без билета по чугунке туды-сюды шастает. Зовутся они зайцами. Вот его — зайцем, зайцем! Пусть хлебнет горя да поищет счастья! Зайцем!

Дед взмахнул посохом, засмеялся визгливо, как баба, и перекрестился: лекарство было готово.

В то же лето отец от дедовских порошков умер. Мать Дарья, бестолковая и скупая старуха, упросила Ваню ехать зайцем в Сибирь: может быть, там и взаправду дают сирым людям богатые земли. Мать по ночам не спала: все прикидывала, как они будут жить в Сибири.

— Поставим мы избу о пяти углах из дарового лесу, — бормотала она, и Ване казалось, что старуха молится. — На самом на берегу реки. Ох, мать пресвятая богородица! А река бегучая, течет из великих лесов по золотым пескам. Посеем гречиху, поставим ульи, пчел заведем…

— Вы бы спали, мамка, — говорил Ваня.

Но мать все бормотала и бормотала. Бормотанье ее сливалось в один тягучий ночной звук с

шорохом осеннего дождя, и под этот шорох Ваня засыпал. Ехать в Сибирь он боялся. Он знал, что в Сибирь уезжает много народу, но ни разу не видел, чтобы из Сибири возвращались. И отец говорил, что в Сибири народ тонет, как в зыбуне, в болоте.

Мать дала Ване на дорогу хлеба, луку, кусок старого сала, круто посыпанный желтой солью, и проводила на узкоколейку до станции Пилево.

Шел надоедливый октябрьский дождь. Он сбивал с берез холодные подгнившие листья и стучал по железной крыше вагонов. Ваня выглянул из окна, хотел крикнуть матери, что ему страшно ехать, что он хочет назад, в избу, где теплая зола в печке и тараканы, но мать, должно быть, поняла в чем дело, погрозила ему сухим, сморщенным кулаком и тем же кулаком вытерла слезы.

Так он и запомнил ее на всю жизнь: в старой поневе, с жилистыми сизыми ногами, измазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах.

Только в конце зимы Ваня добрался до Владивостока. В дороге его несколько раз били. Били станционные жандармы, кондуктора и грузчики-бродяги: у них он отбивал хлеб, напрашиваясь почти даром на тяжелую работу.

Сибирь показалась ему холодной, черной страной, где хлеб прячут в крепких домах за пудовыми замками, чтобы он не достался бедным, и ничто не растет, кроме заплесневелых бесконечных лесов, засыпанных по колени снегом.

Во Владивостоке Ваня попал в китайскую прачечную кочегаром. Приходилось топить дровами четыре больших котла, из котлов шел нездоровый серый пар от белья. Седой китаец сидел на корточках около огня, курил и смотрел на Ваню желтыми дряхлыми глазами.

— Ты молодой, я старый, — говорил китаец и сплевывал сквозь длинные зубы. — Ты русский, я китаец, все равно нам плохо. Кушать мало надо, работать много.

— Плохо, дедушка, — соглашался Ваня. — Конца не видно нашей жизни.

— Ты молодой, я старый, — бормотал китаец. — Кушай мало, работай много.

Китаец был так худ, что широкие синие штаны постоянно сползали у него на бедра, открывая коричневый сухой живот. Китаец утюжил мужские сорочки. Однообразная эта работа казалась Ване хуже каторги, ей но было видно конца. Одни и те же рубашки возвращались в прачечную каждую неделю, и китаец снова утюжил их, чтобы через

неделю опять и опять гладить все те же мужские сорочки.

Весной старый китаец умер. Он упал грудью на гладильную доску, затянутую паленой простыней, и чугунный утюг с грохотом вывалился из его руки.

Хоронили китайца за городом, на пустыре, где росла серая трава.

Весна была туманная, сырая, но во время похорон, когда китайцы сидели около свежей могилы и бормотали прощальные молитвы, появилось солнце. Его свет одним взмахом лег на воду, и берега и океан внезапно наполнились таким глубоким блеском и прозрачностью, что Ваня тут же решил бросить прачечную и уйти кочегаром на пароход.

Несколько лет он проплавал кочегаром на грузовом пароходе «Лансу», ходившем под китайским флагом. Сначала «Лансу» плавал из Владивостока в Шанхай; потом, когда началась война, он ушел в Австралию и оттуда возил овец и мороженое мясо в Батавию и Сингапур.

Команда па пароходе была сборная. Больше всего было норвежцев, странных людей, белоглазых и неразговорчивых. Капитаном был Ксиди — маленький жирный грек с золотыми зубами,

всегда пьяный, в кителе, облепленном пухом от подушек и обсыпанном трубочным табаком.

Пароход был так же грязен, как и его капитан. Ване — теперь его звали Джоном — казалось, что одним своим появлением около тропических берегов «Лансу» отравляет воздух, настоянный на дыхании источников, трав и вьющихся цветов. От парохода шла густая вонь овечьего помета и пережженного кофе. Кофе пили с утра до вечера, и кок по нескольку раз в день выливал в зеленую океанскую воду ушаты бурой кофейной гущи.

Ваня быстро привык к пароходной жизни. Она была бедна событиями: все тот же рейс, то же темное небо, те же лесистые острова, как бы утонувшие в воде, торчащие из нее одними зелеными верхушками, те же клопы в кубрике и матросские разговоры о вороватом коке и береговом пьянстве.

На третий год «Лансу» сел в тихую погоду на камни на Большом коралловом рифе около берегов Австралии. Риф лежал до горизонта, как громадная губка, чуть покрытая тонким слоем воды. Подводные камни отвесно поднимались со дна. Шлюпка каждую минуту то царапала днищем о камни, то проплывала над бездонными колодцами: добраться до берега было трудно.

Берег виднелся вдалеке узкой полосой песков, освещенных белым солнцем.

Около самого берега Ваня заглянул в воду и увидел круглые водоросли, похожие на шары из зеленого дыма. Они медленно колебались в теплой воде.

Ваня вспомнил Боровые озера, куда он бегал летом ловить рыбу. Там были такие же водоросли. В них жили стаи мальков. Ваня лез в черную воду, накрывал водоросли рубахой и вытаскивал их на берег вместе с мальками. Водоросли были такие топкие, что на рубахе оставалась от них только паутина. Она быстро высыхала и осыпалась зеленой пылью.

Когда шлюпка пристала к австралийскому берегу, Ваня разделся и нырнул в воду. Он поймал тельником одну водоросль и вытащил на горячий белый песок. Водоросль пахла так же, как и там, на Боровых озерах, чистой глубокой водой.

Ваня развернул тельник; зубастая серая рыба с налитыми кровью глазами лежала в нем и трещала колючими костяными плавниками. Ваня схватил ее, хотел бросить в воду, но рыба изогнулась и вцепилась ему в ладонь.

Ваня оторвал ее и швырнул на песок. Из руки лилась кровь. Рыба пищала и хрипела. Матрос-

малаец сказал Ване, что рыба эта ядовитая, что в океане вообще много ядовитых рыб и рука у Вани наверняка отсохнет.

Ване хотелось заплакать, но он сдержался и только выругался по-русски.

— Все у вас не как у людей, — сказал он малайцу, — даже рыбы кусаются, как собаки. Одна от этого получается тоска.

Малаец виновато улыбнулся.

С тех пор тоска не оставляла Ваню. Она медленно усиливалась. Ею было пропитано все вокруг. Тоска была в самом небе этой страны, пыльном, высоком, светящемся по ночам чужими и редкими звездами, в сухом воздухе, в деревьях без коры, в клекочущих звуках английской речи, но больше всего в изнурительном и однообразном труде.

Ваня с матросом-малайцем поступил рабочим на сахарные плантации. С рассвета до позднего вечера рабочие шли рядами, согнувшись до земли, по полям сахарного тростника и рубили его под корень кривыми толстыми ножами, похожими на секачи. На тростниковых полях застаивался спертый воздух, от него пыла голова. Один раз Ваня попробовал тростниковую мякоть, — она была приторной, липкой и пахла

аптекой.

Следил за рабочими высокий сухой человек с вывихнутым носом. Звали его «босс». Он никогда не кричал и не сердился. Он безмолвно и неторопливо подходил к провинившемуся рабочему, сильно бил его кулаком в лицо и так же неторопливо проходил дальше. Его боялись. Говорили, что когда-то он был знаменитым по всему Тихому океану карточным шулером.

Ночью спали в бараках. Друг с другом почти не разговаривали. Народ был разноязычный, набранный только на уборку одного урожая. Вечером пили кофе и сразу же валились на койку — спать до рассвета. Босс молча обходил бараки, гасил свет, иногда сбрасывая ударом ноги с койки какого-нибудь «цветного» рабочего — малайца или негра — и шарил под циновкой: искал водку.

Однажды босс ударил в лицо работницу-китаянку. Она визгливо заплакала и швырнула в босса ножом. Нож упал плашмя на землю и поднял пыль. Босс нехотя обернулся и пошел к китаянке. Она затряслась всем телом и начала кричать пронзительно и непрерывно.

Рабочие выпрямились. Страшное, сухое солнце жгло их головы. Сквозь красноватый туман в гла-

зах они не сразу могли разобрать, что случилось.

Босс подошел к китаянке вплотную, но его схватил за плечо рабочий-американец, по прозвищу «Золотой мешок», — единственный веселый человек на плантациях. Он когда-то работал па золотых приисках, рассказывал, как золотоискатели носят золотой песок в кожаных мешочках, и за это его прозвали «Золотым мешком».

— Босс, — сказал «Золотой мешок», — вонючая собака, надо посчитаться с тобой по-белому за эту цветную.

Он показал на китаянку.

— Закажи сначала справку о смерти, — ответил босс и начал засучивать рукава.

«Золотой мешок» снял соломенную шляпу, несколько раз быстро сжал и разжал кулаки и вдруг стремительно и страшно ударил босса в переносицу. Босс упал и больше не поднимался: он был убит одним ударом наповал.

«Золотой мешок» скрылся. Вечером приехали полицейские в широкополых фетровых шляпах. Китаянку арестовали, а всех рабочих уволили.

Ваня с малайцем пошли пешком в портовый город Брисбен искать счастья.

Искать счастья! Несколько раз за последние годы Ваня вспоминал крик Гундосого: «Пусть

хлебнет горя да поищет счастья!» Счастье осталось на родине.

Однажды, незадолго до аварии «Лансу», капитан Ксиди вызвал Ваню к себе в каюту и спросил:

— Джон, ты знаешь, что творится на твоей картофельной родине?

— Война, — ответил Ваня.

— Дурак! — сказал капитан. — Война кончена. Она навоняла на весь мир и потухла. В твоей стране революция. Гальюнщиков сажают министрами. Может быть, твой почтенный отец уже сидит в кабинете с телефоном и пьет квас с икрой.

— Мой отец умер, — тихо сказал Ваня. — Вы моего отца лучше не трогайте.

— Ты мне грубишь, кочегар! — торжественно сказал капитан и икнул (он был, по обыкновению, пьян). — Отстоишь за это две вахты. Кто лезет в революцию? Кто? — крикнул он. — Астраханский мужик, народ, не имеющий истории! Надо было поучиться у греков. Мы умели драться за свободу, как львы!

— Умели, да не успели, — сказал Ваня. — Ваше дело лимонами спекулировать.

— Пошел вон, бандит! — сказал печально Кси-

ди. — За что бог покарал меня вонючей командой на этом дырявом китайском сундуке?

Ксиди упал головой на стол и всхлипнул. Ваня ушел. Так он впервые узнал о революции. Он начал жадно читать газеты. Он думал о революции по ночам. Неужели сбылись мечты матери и там, на родине, уже дают сирым людям богатые земли?

Он думал о революции и родине в душном ночном кубрике, пропитанном крепким потом, думал, что счастье осталось позади, в России, что он уехал от пего и на это глупое бегство от счастья потратил долгие годы голода, каторжного труда и унижений.

В Брисбене Ваня с малайцем провели несколько ночей в портовом саду. Работы не было.

Стояла австралийская зима. Океан ревел па рифах. Изредка Ваня жевал жареные кукурузные зерна. Их давала ему старуха — чистильщица сапог.

Дули ветры, потом пошли дожди. Ночью Ваня прятался с малайцем на крыльце закрытого па зиму летнего ресторана. Ветер бил в лицо тяжелыми каплями воды и гнилыми листьями. Ветер бесновался над океаном и гнал на молы горы мутной воды. Она захлестывала землю и

разливалась холодными лужами. Соленая вода хлюпала в порванных бутсах и разъедала до крови натруженные ноги.

На пятую ночь Ване стало жарко; океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками черной воды, звезд и дыма. Ваня сидел на крыльце, покачивался и пел:

Ревела буря, гром гремел,

Во мраке молнии блистали!..

Малаец испугался и заплакал. Потом он побежал к ближайшему полицейскому, и наутро Ваню перевезли в больницу.

Он пролежал два месяца в тифу. Его мучил все один и тот же бред. В больницу приходил Гундосый. Он толок в ступе зубастую серую рыбу и хихикал.

— Зайцем! — кричал он. — Поезди по миру зайцем, поищи счастья!

— Зачем отца уморил? — спрашивал Ваня.

— Не я его уморил, — кричал дед, — подзол его уморил!

Тесно было ворочаться мужикам на худой земле. От той тесноты дох народ, как раки от водяной чумы.

— Ты бы ушел, дед, — просил Ваня.

— Куда мне идти-то? — кричал дед. — Мне идти некуда: знахарей всех сничтожили, подрубили под самый корень, вот и шастаем по чужим австралийским землям, просим Христа ради у нехристей-англичан.

Потом дед силой открывал Ване рот и сыпал колючий порошок из толченой ядовитой рыбы.

Ваня кричал, рвался и выбивал из рук сиделки стакан с водой.

Из больницы Ваня вышел в начале весны. Уже грело солнце, и легкие ветры ровно и тепло дули с океана, заволакивая портовые улицы сернистым пароходным дымом.

Нашлась работа: доктор из больницы предложил Ване перекопать у него в большом саду грядки под цветы и овощи.

Ваня копал медленно, часто садился и пережидал, пока перестанет кружиться голова. Маленький мальчик, сын доктора, приносил Ване завтрак и дешевые папиросы. Особенно радовался мальчик тому, что мать доверяла ему носить работнику такую запретную вещь, как табак. Папиросы он никогда не отдавал сразу. Он таинственно и долго вытаскивал их из кармана и со смехом протягивал Ване.

Когда Ваня копал грядки, мальчик стоял рядом,

внимательно смотрел на согнутую Ванину спину и без конца расспрашивал о России. Все, что рассказывал Ваня, казалось мальчику замечательной выдумкой.

Каждое утро мать мальчика — худая и красивая женщина — читала ему вслух толстую книгу. Ваня копал грядки около террасы и слушал.

В книге рассказывалась печальная история матроса, скитавшегося по земле в поисках потерянного кисета с табаком. Океаны сменялись вековыми лесами, леса — горячими пустынями, пустыни — вершинами диких гор, горы — шумными и веселыми городами.

Матрос встречал много людей, то крикливых и насмешливых, то робких и гостеприимных, то драчливых и вспыльчивых, но никто не мог помочь ему найти драгоценный кисет. Без этого потертого кисета чудак-матрос не мог жить. Наконец одна маленькая веснушчатая школьница посоветовала матросу вернуться домой п посмотреть, не забыл ли он кисет на скамейке около кровати, куда он складывал, ложась спать, свое грубое платье. Матрос вернулся домой и нашел кисет. В нем осталось табаку как раз на одну трубку. Порог его дома зарос высокой травой. Трава качалась и кланялась матросу, радовалась тому,

что этот упрямый человек вернулся на родину, и матрос осторожно переступил через траву, чтобы не помять ее.

Книга кончалась словами:

«Чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время, несмотря на всю свою красоту. В конце концов придет пора, когда одинокая ромашка на краю дороги к отчему дому покажется нам милее звездного неба над Великим океаном и крик соседского петуха прозвучит, как голос родины, зовущей нас обратно в свои поля и леса, покрытые туманом».

Ваня сел на грядку и стал осторожно счищать щепкой с лопаты налипшую землю. Он прислушивался, но голос на террасе замолк.

Муравьи ползли один за другим по серому стволу дерева, и Ваня вспомнил муравьиные дороги в сосновых лесах около Пилева, заросли вереска и бересклета, крик журавлей под родным небом с его топкими вечерними облаками.

Ваня поймал одного муравья па щепку. Он был синий, огромный. Он тотчас же стал па задние лапки и приготовился вцепиться в руку.

Ваня бросил щепку и заплакал. Он не мог удержать слез, они текли по его впалым небритым щекам, капали на руки, на лопату, на злых синих

муравьев, и Ваня, плача, думал, что он мог бы проплакать сутки, целую неделю, так много накопилось тяжести на душе. О ней он никому не рассказывал, да и некому было рассказывать.

Когда мальчик принес Ване завтрак, он застал его еще плачущим. Губы у мальчика задрожали, но он сдержался и сказал суровым голосом:

— Я все знаю. Вас обидела рыжая девчонка. Ваня покачал головой и украдкой вытер слезы.

— Нет, — сказал он глухо. — Это так…

— «Так» ничего не бывает, — строго повторил мальчик слова, слышанные от взрослых тысячу раз.

— Ну так… — сказал Ваня. — Вспомнил про разное, про свою страну. Очень она далеко отсюда.

Мальчик осторожно поставил кастрюльку с супом на землю и убежал в дом. Он долго не возвращался. Ваня начал есть суп. Слезы изредка еще текли по его щекам, но было уже легче.

Мальчик прибежал красный от волнения и сунул Ване в руку маленький кусок картона. Это был старый, давно использованный пароходный билет.

— Он настоящий, — сказал мальчик таинственно. — Мама ездила с ним в Лондон. Она подарила его мне и сказала, что, когда я вырасту большой,

тоже поеду по этому билету в Лондон. Я его спрятал за печкой. Возьмите.

— Зачем же он мне? — спросил Ваня.

— Возьмите, — повторил мальчик, и губы у него опять задрожали. — Поезжайте домой. Взрослому нельзя плакать.

Завтра уходит пароход. Я смотрел в газете.

Ваня встал. Он хотел что-то сказать мальчику, но не смог. Он только ласково взъерошил теплые волосы на его голове, осторожно воткнул лопату в землю и вышел из сада. Хлопнула калитка. Ваня прислушался. За ней было тихо.

Больше месяца еще прожил Ваня в Брисбене, голодал и зарабатывал гроши на билет до соседнего порта, чтобы только уехать из Брисбена и случайно не встретить мальчика. Мальчик был уверен, что Ваня уехал на родину с его использованным, пробитым несколькими контролерами билетом, и нельзя было разрушать эту уверенность. Ваня прятался от мальчика, как бродяга прячется от полицейских.

Только через месяц он уехал в Батавию, а оттуда то зайцем, то палубным пассажиром, то гальюнщиком-матросом, моющим пароходные уборные, — добрался до Лондона.

В Лондоне его взяли на советский теплоход и

привезли в Ленинград.

Ваня вернулся на родину осенью. Осень выдалась в том году сухая и ясная. Земля отдыхала от богатого и тяжелого урожая, она как будто спала в голубых туманах, в шелесте тихих лесов. Ее дыхание было свежим, исцеляющим прежние обиды.

В Пилеве Ваня поступил помощником машиниста на узкоколейную железную дорогу. Он с жадностью говорил с людьми, присматривался ко всему, что происходило вокруг, и чувствовал даже в каждом пустяке удивительную жизнь как будто знакомой и вместе с тем повой родины, видел множество признаков счастья, расцветавшего на некогда-то скудных полях, в когда-то нищих деревушках.

Однажды в выходной день Ваня пошел с машинистом Кузьмой Петровичем — маленьким, лоснящимся от машинного масла стариком — на Боровые озера ловить рыбу.

Мальчишкой он бегал на эти озера, но каждый раз, когда возвращался, мать замахивалась на пего вожжами и визгливо кричала:

— Откуда такой барчук взялся, косоротый! Лошадь не поена, не кормлена, а он по озерам шлендает!

Мать давно умерла. Умер и дед Гундосый.

Старое кладбище, где они были похоронены, распахали и засеяли клевером. В клевере гудели шмели. Они отвесно взлетали из травы и с треском ударялись о заколоченные окна церкви. В церкви жили старые худые пауки. Они заткали все окна и часами сидели в оцепенении около высохших мух, болтавшихся в паутине.

Путь на озера был долог. День стоял туманный, засыпанный сухими березовыми листьями. Посвистывали синицы, курлыкали журавли над вершинами сосен. Ваня узнавал старые места: лесные заброшенные дороги, уводившие в заросли осинника, просеки, заросшие вереском, бессмертником и колосистой травой, и муравьиные тропы в рыжем зернистом песке.

Над лесным краем стояла прозрачная тишина — та осенняя тишина, когда кажется, что звенит даже паутина, перелетающая через поляны.

По пути зашли в деревню, где стояла Ванина изба.

В избе давно уже жили чужие — семья лесника.

К Ване вышла девушка в синем сарафане. Две длинные темные косы она перекинула через плечо и все время перебирала их от смущения.

— Дома-то никого нет, — сказала она и подняла

на Ваню спокойные светлые глаза. — Отец в лесу, а мать поехала в город па колхозную ярмарку. Зайдите.

Ваня вошел и остановился у притолоки. Цветы стояли на оконцах, на столе, даже на полатях, где умер отец. Солнечный свет падал на суровую скатерть и раскрытую на столе книгу. Пахло сухим хлебом и яблоками.

Ваня взял книгу — это была ботаника.

— Учебник, — улыбнулась девушка. — Я здесь только летом живу, зимой учусь в городе.

Ваня по дороге в лесу собрал немного цветов. Он срывал их и старался вспомнить их названия. Он показал цветы девушке и пожаловался, что вот, мол, забыл русский язык и не помнит названий цветов. Девушка разложила цветы на столе, начала медленно перебирать их и называть имена: медуница, кипрей, ромашка, генциана, плакун-трава.

Ваня смотрел на нее, и ему все казалось, что это соседская Зинка. Когда он уезжал, ей было три года, она ползала по полу вся в коросте, измазанная куриным пометом, и мать звонкими шлепками отгоняла ее от корыта со свиным пойлом.

— Вы меня не помните? — спросил Ваня.

Девушка застенчиво посмотрела на него и по-

качала головой,

— Нет, не вспоминаю. А вы разве здешний?

Ваня не ответил. Он оставил девушке цветы и вышел. В сенях валялась в углу черная от старости, расколотая ступа, в которой дед Гундосый толок для отца целебные порошки. Долго потом Ваня не мог отделаться от мысли, что вся его прошлая жизнь, так же как и жизнь отца и матери, была чем-то похожа на эту страшную, вырубленную из дерева ступу, где годами толкли ядовитый злой порошок.

Дорога на Боровые озера шла сначала лесами. Потом пошли сухие болота, заросшие низкой березкой, ольхой, брусникой и кукушкиным льном. Мшары были золотые от осени: желтые листья падали в жесткую и высохшую траву. Красные стрекозы летали над травами, в воздухе столбами толклась мошкара, облака медленно уходили в вышину и растворялись в ней — все это предвещало сухие и теплые дни. Среди мшар стояли острова сосновых боров. Сосны росли на песчаных холмах. Земля в лесах — тот серый, похожий на пепел подзол, из-за которого и начались все Ванины несчастья, — была покрыта папоротником и ландышами с оранжевыми ягодами.

На одном из лесистых островов Кузьма Петро-

вич показал Ване свежие следы лося. Лось шел скачками в сторону озер, должно быть спешил на водопой. Уже на закате, когда огромное тихое солнце спускалось за океаны осенних лесов, Ваня и Кузьма Петрович поднялись на остров, где лежало пять Боровых озер. От воды тянуло ночной прохладой. Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в глубине озер.

Ваня остановился на холме над озерами, и слезы, как тогда в Брисбене, в саду у доктора, подступили к горлу. Он вспомнил мальчика, свои мечты о родине и подумал, что родина во сто крат прекраснее, чем оп представлял ее себе издалека.

Всю ночь Ваня не спал, сидел у костра и прислушивался. Он узнавал плач сов, свист летучих мышей, сонные удары рыб в озерных омутах. Чем глуше становилась ночь, тем ярче разгоралось небо. Перед рассветом взошел Сириус и медленно понес свой пронзительный зеленый огонь над сырыми чащами, где печально трубил, как будто звал кого-то, какой-то лесной зверь.

Кузьма Петрович проснулся, послушал и сказал:

— Сохатый плачет.

На обратном пути Ваня снова зашел в свою ста-

рую избу. Встретила его хлопотливая чистенькая старушка в маленьких лаптях — тетка Василиса. Он совсем забыл о ней, но она его хорошо помнила.

— Ванятка! — вскрикнула она, расцеловалась с Ваней и захлопотала вокруг стола. — А народ все гудит и гудит который год, что ты сгинул за краем земли, пропал в теплых морях. Все твоего отца поминаю, Игната. До чего тихий был человек, даже кашлять надсадно боялся, чтобы людей не тревожить! Бывало, лежит, помирает. Придешь к нему, спросишь: «Тебе, Игнатушка, может, пирог ржаной испечь или бруснички принести к чаю, все полегчает малость?» А он говорит: «Ни к чему это, Василиса. Жизнь надо бы себе стесать хорошую, светлую, как новая изба, да вот не стесал: руки у нас, у мужиков, от навоза не гнутся...» Говорит: «Есть земля, Василиса, где стоят тихие, светлые воды и пшеница в полях клонит голову до самой земли — такой тугой у нее колос, — и песни народ поет веселые, как ихняя беспечальная жизнь. Да вот помираю, а той страны не видел. Ванюшка мой ее должен увидеть, а увидит — беспременно вспомнит отца». Так и помер Игнат, не дождался иной жизни. А Дарья померла почитай уже перед самой революцией, в одночасье. Простыла. Все

бегала зимой в Пилево, дожидалась письма от тебя, а ты никак не писал. Бывало, плачет: «Ванятка мой больно далеко заехал, даже почта достигнуть не может. Зачем я его, дура, в Сибирь погнала?»

Ваня встал. Ему тяжело было слушать певучий Василисин рассказ о прошлом. Вошла девушка в синем сарафане, покраснела и поздоровалась с Ваней за руку.

— Дочка моя, — сказала старуха с гордостью. — Ты небось ее и не помнишь, Зинку-то? Она при тебе еще совсем сопливой была, а теперь учится в самой-то Москве.

— Ну, мама! — сказала девушка с укором и еще гуще покраснела. Она застенчиво взглянула па Ваню и показала ему на стакан; в нем стояли лесные цветы — подарок Вани. — Вот и цветы без вас все завяли, — сказала она печально. — Я два раза воду меняла, а они вянут и вянут.

— Ай цветы тоже по человеку скучают? — спросила старуха и рассмеялась.

Через несколько дней Ваня послал из Пилева письмо со странным адресом: «Австралия, город Брисбен».

Почтарь долго вертел письмо в руках, щупал: в письме что-то шуршало. Он посмотрел письмо на свет и увидел внутри очертания красного

кленового листа. Почтарь ничего не понял, но штемпель приложил очень старательно: пусть в Австралии знают, что есть на свете станция Пилево, утонувшая в русских лесах.

В письме было написано:

«Спасибо, Боб, за билет. Он оказался совсем настоящим. Меня везли в отдельной каюте с кипятком и цветами, всю дорогу играла музыка, кормили нас яблочными пудингами, и я вспоминал о тебе. Ты, смотри, не забывай меня все время, пока растешь, потому что, когда ты вырастешь и станешь большой, то приедешь ко мне в гости, и я покажу тебе страну, где все делается для того, чтобы у людей было в будущем поменьше горя и побольше счастья.

Посылаю тебе лист из наших лесов. Наши леса совсем красные, ты таких никогда не видел. Недавно я ходил в леса на глубокие озера и видел следы лесного зверя — лося. Он похож на громадную лошадь, но только с рогами. Пиши мне, а я буду писать тебе. Передай привет твоей маме, скажи: от Джона. Он же тот самый матрос, который искал свой кисет с табаком по всему миру. Скажи маме, что я тоже нашел свой кисет дома.

Прощай, учись, веселись и будь здоров!

Твой *Джон Зубов*».

1937

Робкое сердце

Варвара Яковлевна, фельдшерица туберкулезного санатория, робела не только перед профессорами, но даже перед больными. Больные были почти все из Москвы — народ требовательный и беспокойный. Их раздражала жара, пыльный сад санатория, лечебные процедуры — одним словом, все.

Из-за робости своей Варвара Яковлевна, как только вышла на пенсию, тотчас переселилась на окраину города, в Карантин. Она купила там домик под черепичной крышей и спряталась в нем от пестроты и шума приморских улиц. Бог с ним, с этим южным оживлением, с хриплой музыкой громкоговорителей, ресторанами, откуда несло пригорелой бараниной, автобусами, треском гальки на бульваре под ногами гуляющих.

В Карантине во всех домах было очень чисто, тихо, а в садиках пахло нагретыми листьями помидоров и полынью. Полынь росла даже на древней генуэзской стене, окружавшей Карантин. Через пролом в стене было видно мутноватое зеленое море и скалы. Около них весь день возился, ловил плетеной корзинкой креветок старый,

всегда небритый грек Спиро. Он лез, не раздеваясь, в воду, шарил под камнями, потом выходил на берег, садился отдохнуть, и с его ветхого пиджака текла ручьями морская вода.

Единственной любовью Варвары Яковлевны был ее племянник и воспитанник Ваня Герасимов, сын умершей сестры.

Воспитательницей Варвара Яковлевна была, конечно, плохой. За это на нее постоянно ворчал сосед по усадьбе, бывший преподаватель естествознания, или, как он сам говорил, «естественной истории», Егор Петрович Введенский. Каждое утро он выходил в калошах в свой сад поливать помидоры, придирчиво рассматривал шершавые кустики и если находил сломанную ветку или валявшийся на дорожке зеленый помидор, то разражался грозной речью против соседских мальчишек.

Варвара Яковлевна, копаясь в своей кухоньке, слышала его гневные возгласы, и у нее замирало сердце. Она знала, что сейчас Егор Петрович окликнет ее и скажет, что Ваня опять набезобразничал у него в саду и что у такой воспитательницы, как она, надо отбирать детей с милицией и отправлять в исправительные трудовые колонии. Чем, например, занимается Ваня? Вырезает

из консервных жестянок пропеллеры, запускает их в воздух при помощи катушки и шнурка, и эти жужжащие жестянки летят в сад к Егору Петровичу, ломают помидоры, а иной раз и цветы — бархатцы и шалфей. Подумаешь, изобретатель! Циолковский! Мальчишек надо приучать к строгости, к полезной работе. А то купаются до тошноты, дразнят старого Спиро, лазают по генуэзской стене. Банда обезьян, а не мальчишки! А еще советские школьники!

Варвара Яковлевна отмалчивалась. Егор Петрович был, конечно, не прав, она это хорошо знала. Ее Ваня — мальчик тихий. Он все что-то мастерил, рисовал, посапывая носом, и охотно помогал Варваре Яковлевне в ее скудном, но чистеньком хозяйстве.

Воспитание Варвары Яковлевны сводилось к тому, чтобы сделать из Вани доброго и работящего человека. В бога Варвара Яковлевна, конечно, не верила, но была убеждена, что существует таинственный закон, карающий человека за все зло, какое он причинил окружающим.

Когда Ваня подрос, Егор Петрович неожиданно потребовал, чтобы мальчик учился у него делать гербарии и определять растения. Они быстро сдружились. Ване нравились полутемные комна-

ты в доме Егора. Петровича, засушенные цветы и листья в папках с надписью «Крымская флора» и пейзажи на стенах, сделанные сухо и приятно, — виды водопадов и утесов, покрытых плющом.

После десятилетки Ваню взяли в армию, в летную школу под Москвой. После службы в армии он мечтал поступить в художественную школу, может быть даже окончить академию в Ленинграде. Егор Петрович одобрял эти Ванины мысли. Он считал, что из Вани выйдет художник-ботаник, или, как он выражался, — «флорист». Есть же художники-анималисты, бесподобно рисующие зверей. Почему бы не появиться художнику, который перенесет на полотно все разнообразие растительного мира!

Один только раз Ваня приезжал в отпуск. Варвара Яковлевна не могла на него наглядеться: синяя куртка летчика, темные глаза, голубые петлицы, серебряные крылья на рукавах, а сам весь черный, загорелый, но все такой же застенчивый. Да, мало переменила его военная служба!

Весь отпуск Ваня ходил с Егором Петровичем за город, в сухие горы, собирал растения и много рисовал красками. Варвара Яковлевна развесила его рисунки на стенах. Сразу же в доме повеселело, будто открыли много маленьких окон и

за каждым из них засинел клочок неба и задул теплый ветер.

Война началась так странно, что Варвара Яковлевна сразу ничего и не поняла. В воскресенье она пошла за город, чтобы нарвать мяты, а когда вернулась, то только ахнула. Около своего дома стоял на табурете Егор Петрович и мазал белую стенку жидкой грязью, разведенной в ведре. Сначала Варвара Яковлевна подумала, что Егор Петрович совсем зачудил (чудачества у него были и раньше), но тут же увидела и всех остальных соседей. Они тоже торопливо замазывали коричневой грязью — под цвет окружающей земли — стены своих домов.

А вечером впервые не зажглись маяки. Только тусклые звезды светили в море. В домах не было ни одного огня. До рассвета внизу, в городе, лаяли, как в темном погребе, встревоженные собаки. Над головой все гудел-кружился самолет, охраняя город от немецких бомбардировщиков.

Все было неожиданно, страшно. Варвара Яковлевна сидела до утра на пороге дома, прислушивалась и думала о Ване. Она не плакала. Егор Петрович шагал по своему саду и кашлял. Иногда он уходил в дом покурить, но долго там не оставался и снова выходил в сад. Изредка с

невысоких гор задувал ветер, доносил блеяние коз, запах травы, и Варвара Яковлевна говорила про себя: «Неужто война?»

Перед рассветом с моря долетел короткий гром. Потом второй, третий… По всем дворам торопливо заговорили люди — Карантин не спал. Никто не мог объяснить толком, что происходило за черным горизонтом. Все говорили только, что ночью, в темноте, человеку легче на сердце, безопаснее, будто ночь бережет людей от беды.

Быстро прошло тревожное, грозное лето. Война приближалась к городу. От Вани не было ни писем, ни телеграмм. Варвара Яковлевна, несмотря на старость, добровольно вернулась к прежней работе: служила сестрой в госпитале. Так же, как все, она привыкла к черным самолетам, свисту бомб, звону стекла, всепроникающей пыли после взрывов, к темноте, когда ей приходилось ощупью кипятить в кухоньке чай.

Осенью немцы заняли город. Варвара Яковлевна осталась в своем домике на Карантине, не успела уйти. Остался и Егор Петрович.

На второй день немецкие солдаты оцепили Карантин. Они молча обходили дома, быстро заглядывали во все углы, забирали муку, теплые вещи, а у Егора Петровича взяли даже старый

медный микроскоп. Все это они делали так, будто в домах никого не было, даже ни разу не взглянув на хозяев.

Во рву за Ближним мысом почти каждый день расстреливали евреев; многих из них Варвара Яковлевна знала.

У Варвары Яковлевны начала дрожать голова. Варвара Яковлевна закрыла в доме ставни и переселилась в сарайчик для дров. Там было холодно, но все же лучше, чем в разгромленных комнатах, где в окнах не осталось ни одного стекла.

Позади генуэзской стены немцы поставили тяжелую батарею. Орудия были наведены на море. Оно уже по-зимнему кипело, бесновалось. Часовые приплясывали в своих продувных шинелях, посматривали вокруг красными от ветра глазами, покрикивали на одиноких пешеходов.

Однажды зимним утром с тяжелым гулом налетели с моря советские самолеты. Немцы открыли огонь. Земля тряслась от взрывов. Сыпалась черепица. Огромными облаками вспухала над городом пыль, рявкали зенитки, в стены швыряло оторванные ветки акаций. Кричали и метались солдаты в темных серых шинелях, свистели осколки, в тучах перебегали частые огни разрывов. А в порту в пакгаузах уже шумел

огонь, коробил цинковые крыши.

Егор Петрович, услышав первые взрывы, торопливо вышел в сад, протянул трясущиеся руки к самолетам — они мчались на бреющей высоте над Карантином, — что-то закричал, и по его сухим белым щекам потекли слезы.

Варвара Яковлевна открыла дверь сарайчика и смотрела, вся захолодев, как огромные ревущие птицы кружили над городом и под ними на земле взрывались столбы желтого огня.

— Наши! — кричал Егор Петрович. — Это наши, Варвара Яковлевна! Да разве вы не видите? Это они!

Один из самолетов задымил, начал падать в воду. Летчик выбросился с парашютом. Тотчас в море к тому месту, где он должен был упасть, помчались, роя воду и строча из пулеметов, немецкие катера.

Тяжелая немецкая батарея была сильно разбита, засыпана землей. На главной улице горел старинный дом с аркадами, где помещался немецкий штаб.

В порту тонул, дымясь, румынский транспорт, зеленый и пятнистый, как лягушка. На улицах валялись убитые немцы.

После налета пробралась из города на Каран-

тин пожилая рыбачка Паша и рассказала, что убита какая-то молодая женщина около базара и больной старичок провизор.

Варвара Яковлевна не могла оставаться дома. Она пошла к Егору Петровичу. Он стоял около стены, заросшей диким виноградом, и бессмысленно стирал тряпкой белую пыль с листьев. Листья были сухие, зимние, и, вытирая листья, Егор Петрович все время их ломал.

— Что же это, Егор Петрович? — тихо спросила Варвара Яковлевна. — Значит, свои своих… До чего же мы дожили, Егор Петрович?

— Так и надо! — ответил Егор Петрович, и борода его затряслась. — Не приставайте ко мне. Я занят.

— Не верю я, что так надо, — ответила Варвара Яковлевна. — Не могу я понять, как это можно занести руку на свое, родное…

— А вы полагаете, им это было легко? Великий подвиг! Великий!

— Не умещается это у меня в голове, Егор Петрович. Глупа я, стара, должно быть…

Егор Петрович долго молчал и вытирал листья.

— Господи, господи, — сказала Варвара Яковлевна, — что же это такое? Хоть бы вы мне

объяснили, Егор Петрович.

Но Егор Петрович ничего объяснять не захотел. Он махнул рукой и ушел в дом.

Перед вечером по Карантинной улице прошло трое немецких солдат. Один нес пук листовок, другой — ведро с клейстером. Сзади плелся, все время сплевывая, рыжий сутулый солдат с автоматом.

Солдаты наклеили объявление на столб около дома Варвары Яковлевны и ушли. Никто к объявлению не подходил. Варвара Яковлевна подумала, что, должно быть, никто и не заметил, как немцы клеили эту листовку. Она накинула рваную телогрейку и пошла к столбу. Уже стемнело, и если бы не узкая желтая полоска на западе среди разорванных туч, то Варвара Яковлевна вряд ли прочла бы эту листовку.

Листовка была еще сырая. На ней было напечатано:

> «За срыванье — расстрел. От коменданта. Советские летчики произвели бомбардирование мирного населения, вызвав жертвы, пожары квартир и разрушения. Один из летчиков, виновных в этом, взят в плен. Его зовут Иван Герасимов. Герман-

ское командование решило поступить с этим варваром как с врагом обывателей и расстрелять его. Дабы жители имели возможность видеть большевика, который убивал их детей и разрушал имущество, завтра в семь часов утра его проведут по главной улице города. Германское командование уверено, что благонамеренные жители окажут презрение извергу.

Комендант города
обер-лейтенант Зус».

Варвара Яковлевна оглянулась, сорвала листовку, спрятала ее под телогрейку и торопливо пошла к себе в сарайчик.

Первое время она сидела в оцепенении и ничего не понимала, только перебирала дрожащими пальцами бахрому старенького серого платка. Потом у нее начала болеть голова, и Варвара Яковлевна заплакала. Мысли путались. Что же это такое? Неужели его, Ваню, немцы завтра убьют где-нибудь на грязном дворе, около поломанных грузовиков! Почему-то мысль, что его убьют обязательно во дворе, около грузовиков, где воняет бензином и земля лоснится от автола, все время приходила в голову, и Варвара Яковлевна никак

не могла ее отогнать.

Как спасти его? Чем помочь? Зачем она сорвала эту листовку со столба? Чего она испугалась? Немцев? Нет. Ей было совестно перед своими. Она хотела скрыть листовку от Егора Петровича, от всех. Немцы убьют Ваню, могут убить и ее. Варвару Яковлевну, за то, что она сорвала этот липкий клочок бумаги. А свои? Свои, кроме чудака Егора Петровича, никогда не простят ей эту убитую женщину, и несчастного старичка провизора и разбитые в мусор дома, где они жили столько лет, дома, где все знакомо-от облупившейся краски на перилах до ласточкиного гнезда под оконным карнизом. Ведь все знают, что Ваня — ее воспитанник, а многие даже уверены, что он ее сын.

Варвара Яковлевна как будто уже чувствовала на себе недобрые пристальные взгляды, слышала свистящий шепот в спину. Как она будет смотреть всем в глаза! Лучше бы Ваня убил ее, а не этих людей. А Егор Петрович еще говорил, что это — великий подвиг.

Варвара Яковлевна все перебирала бахрому платка, все плакала, пока не начало светать.

Утром она крадучись вышла из сарайчика и спустилась в город. Ветер свистел, раздувая над улицами золу, пепел. В черной мрачности, во

мгле шумело море. Казалось, что ночь не ушла, а только притаилась, как воровка, в подворотнях и дышит оттуда плесенью, гарью, окалиной.

Теперь, на рассвете, у Варвары Яковлевны все внутри будто выжгло слезами, и ничто уже ее не пугало. Пусть убьют немцы, пусть ее возненавидят свои — все равно. Лишь бы увидеть Ваню, хоть родинку на его щеке, а потом умереть.

Варвара Яковлевна шла торопливо, глядя себе под ноги, и не замечала, что позади нее шел Егор Петрович. Не видела она и старого Спиро, пробиравшегося туда же, на главную улицу, и веснушчатую рыбачку Пашу. Варвару Яковлевну не покидала надежда, что, может быть, никто не придет смотреть, как будут вести ее Ваню. Придет только она одна, и ничто не помешает ей его увидеть.

Но Варвара Яковлевна ошиблась. Серые озябшие люди уже жались под стенами домов.

Варвара Яковлевна боялась смотреть им в глаза. Она не подымала голову, все ждала обидного окрика. Иначе она бы увидела, как переменился ее родной город. Увидела бы трясущиеся головы людей, сухие волосы, пыльные морщины, красные веки.

Варвара Яковлевна остановилась около афиш-

ного столба, спряталась за ним, вся съежилась, ждала.

Обеими руками она комкала старенькую шелковую сумочку, где, кроме носового платка и ключа от сарайчика, ничего не было.

На столбе висели клочья афиш. Они извещали о событиях как будто тысячелетней давности — симфонии Шостаковича, гастролях чтеца Яхонтова.

Люди все подходили молча и торопливо. Было так тихо, что даже до главной улицы доносились раскаты прибоя. Он бил о разрушенный мол, взлетал серой пеной к тучам, откатывался и снова бил в мол соленой водой.

Потом толпа вдруг вздохнула, вздрогнула и придвинулась к краю тротуара. Варвара Яковлевна подняла глаза.

За спинами людей, закрывавших от нее мостовую, она увидела в глубине улицы серые каски, стволы винтовок. Все это медленно приближалось, слегка покачиваясь и гремя сапогами.

Варвара Яковлевна схватилась рукой за столб, подалась вперед, вытянула худенькую шею.

Кто-то взял ее за локоть и быстро сказал: «Только не кричите, не выдавайте себя!» Варвара Яковлевна не оглянулась, хотя и узнала голос

Егора Петровича.

Она смотрела на темную приближающуюся толпу. Среди серых шинелей синел комбинезон летчика. Варвара Яковлевна видела мутно, неясно. Она вытерла глаза, судорожно втиснула носовой платок в сумочку и наконец увидела: позади коренастого немецкого офицера шел он, ее Ваня. Шел спокойно, прямо смотрел вперед, но на его лице уже не было того выражения застенчивости, к которому Варвара Яковлевна так привыкла.

Она смотрела, задохнувшись, сдерживая дыхание, глотая слезы. Это был он, Ваня, все такой же загорелый, милый, но очень похудевший и с маленькими горькими морщинами около губ.

Внезапно руки у Варвары Яковлевны задрожали сильнее, и она уронила сумочку. Она увидела, как люди в толпе начали быстро снимать шапки перед Ваней, а многие прижимали к глазам рукава.

А потом Варвара Яковлевна увидела, как на мокрую от дождя мостовую неизвестно откуда упала и рассыпалась охапка сухих крымских цветов. Немцы пошли быстрее. Ваня улыбнулся кому-то, и Варвара Яковлевна вся расцвела сквозь слезы. Так до сих пор он улыбался только

ей одной.

Когда отряд поравнялся с Варварой Яковлевной, толпа перед ней расступилась, несколько рук осторожно — схватили ее, вытолкнули вперед на мостовую, и она очутилась в нескольких шагах от Вани. Он увидел ее, побледнел, но ни одним движением, ни словом не показал, что он знает эту трясущуюся маленькую старушку. Она смотрела на него умоляющими, отчаянными глазами.

— Прости меня, Ваня! — сказала Варвара Яковлевна и заплакала так горько, что даже не увидела, как быстро и ласково взглянул на нее Ваня, не услышала, как немецкий офицер хрипло крикнул ей:

«Назад!» — и выругался, и не заметила, как Егор Петрович и старый Спиро втащили ее обратно в толпу и толпа тотчас закрыла ее от немцев. Она только помнила потом, как Егор Петрович и Спиро вели ее через пустыри по битой черепице, среди белого от извести чертополоха.

— Не надо, — бормотала Варвара Яковлевна. — Пустите меня. Я здесь останусь. Пустите!

Но Егор Петрович и Спиро крепко держали ее под руки и ничего не отвечали.

Егор Петрович привел Варвару Яковлевну в сарайчик, уложил на топчан, навалил на нее все,

что было теплого, а Варвара Яковлевна дрожала так, что у нее стучали зубы, старалась стиснуть изо всех сил зубами уголок старенького серого платка, шептала: «Что же это такое, господи? Что же это?» — и из горла у нее иногда вырывался тонкий писк, какой часто вырывается у людей, сдерживающих слезы.

Как прошел этот день, Варвара Яковлевна не помнила. Он был темный, бурный, сырой — такие зимние дни проходят быстро. Не то они были, не то их и вовсе не было. Все настойчивее гудело море. Ветер рвал сухой кустарник на каменных мысах, швырялся полосами дождя.

Ночью в гул моря неожиданно врезался тяжелый гром, завыли сирены и снаряды, загрохотали взрывы, эхо пулеметного огня застучало в горах. Егор Петрович вбежал в сарайчик к Варваре Яковлевне и что-то кричал ей в темноте. Но она не могла понять, что он кричит, пока не услышала, как вся ненастная ночь вдруг загремела отдаленным протяжным криком «ура». Он рос, этот крик, катился вдоль берега, врывался в узкие улицы Карантина, скатывался по спускам в город.

— Наши! — кричал Егор Петрович, и желтый кадык на его шее ходил ходуном. Егор Петрович всхлипывал, смеялся, потом снова начинал

всхлипывать.

К рассвету город был занят советским десантом. И десант этот был возможен потому, что советские летчики разбомбили, уничтожили немецкие батареи.

Так сказал Варваре Яковлевне Егор Петрович. Сейчас он возился в кухоньке у Варвары Яковлевны, кипятил ей чай.

— Значит, и Ваня мой тоже?.. — спросила Варвара Яковлевна, и голос ее сорвался.

— Ваня — святой человек, — сказал Егор Петрович. — Теперь в нашем городе все дети — ваши внуки, Варвара Яковлевна. Большая семья! Ведь это Ваня спас их от смерти.

Варвара Яковлевна отвернулась к стене и снова заплакала, но так тихо, что Егор Петрович ничего не расслышал.

Ему показалось, что Варвара Яковлевна уснула.

Чайник на кухне кипел, постукивал крышкой. Среди низких туч пробилось солнце. Оно осветило пар, что бил из чайного носика, и тень от струи пара без конца улетала, струилась по белой стене голубоватым дымом и никак не могла улететь.

1943

Бриз

Весь день шел дождь с холодным, порывистым ветром. Такая погода часто бывает в Москве в начале мая. Все было серое: небо, дым над крышами, самый воздух. Только асфальт блестел, как черная река.

К старому, одинокому доктору в большой дом на набережной Москвы-реки пришел молодой военный моряк. В 1942 году моряк был тяжело ранен во время осады Севастополя и отправлен в тыл. Доктор долго лечил его, и в конце концов они подружились. Сейчас моряк приехал на несколько дней из Черноморского флота. Доктор пригласил моряка к себе на бутылку кахетинского и оставил ночевать.

В полночь радио сообщило о взятии нашими войсками Севастополя. Салют был назначен на час ночи — тот час, когда улицы Москвы совершенно пустеют.

Дожидаясь салюта, доктор и моряк беседовали, сидя в полутемном кабинете.

— Любопытно, — сказал доктор, допивая вино, — о чем думает человек, когда он тяжело ранен. Вот вы, например, о чем вы думали тогда

под Севастополем?

— Я больше всего боялся потерять коробку от папирос «Казбек», — ответил моряк. — Вы, конечно, знаете, там на этикетке нарисован Казбек, покрытый снегом. Ранило меня на рассвете. Было еще свежо после ночи, в тумане светило раннее солнце, надвигался знойный, тяжелый день. Я терял много крови, но думал об этой коробке и о снегах на Казбеке. Мне хотелось, чтобы меня зарыли в снег. Я был уверен, что от этого прекратится кровотечение и мне будет легче дышать. А солнце все подымалось. Лежал я в тени от разрушенной ограды, и эта тень делалась с каждой минутой все меньше. Наконец солнце начало жечь мои ноги, потом руку, и я очень долго подымал эту руку и передвигал ее, чтобы закрыть ладонью глаза от света. Пока что я не чувствовал особенной боли. Но я твердо помню, что все время беспокоился из-за коробки «Казбека».

— Почему вы так боялись ее потерять?

— Да как вам сказать... Почти у всех новичков на фронте есть одна глупая привычка — на всем, что они таскают с собой, писать адреса родных. На чехлах от противогазов, полевых сумках, на подкладке пилоток. Все кажется, что тебя убьют и не отыщется никакого следа. Потом это, конечно,

проходит.

— Чей же адрес вы написали на вашей папиросной коробке? — спросил доктор и хитро прищурился.

Моряк покраснел и ничего не ответил.

— Ну, хорошо, — сказал поспешно доктор. — Оставим этот вопрос.

В это время в квартиру позвонили. Доктор вышел в переднюю, открыл дверь. Молодой женский голос сказал, задыхаясь, из темноты:

— Сейчас салют. Можно мне посмотреть на него с вашего балкона?

— Ну конечно, можно! — ответил доктор. — Вы что? Бегом мчались с третьего этажа на восьмой? Сердце себе хотите испортить! Погасите свет, — сказал доктор; моряку из передней, — и пойдемте на балкон. Только накиньте шинель. Дождь еще не прошел.

Моряк встал, погасил свет. В передней он поздоровался с незнакомой женщиной. Пальцы их столкнулись в темноте. Женщина ощупью нашла руку моряка и легко ее пожала.

Вышли на балкон. Пахло мокрыми железными крышами и осенью. Ранняя весна часто похожа на осень.

— Ну, — сказал доктор, ежась от дождя, — что

же все-таки случилось с вашей коробкой «Казбека»?

— Когда я пришел в себя, коробка исчезла. Должно быть, ее выбросили санитары. Или сестра, которая меня перевязывала. Но вот что странно…

— Что?

— Та… то есть тот человек, чей адрес был на коробке, получил письмо о том, что я ранен. Сам я ему не писал.

— Ничего странного, — сказал доктор. — Кто-то взял коробку, увидел адрес и написал. История самая обыкновенная. Но вы, кажется, склонны придавать ей преувеличенное значение.

— Нет, почему же? — смутился моряк. — Но, в общем, это письмо обо мне уже оказалось в то время ненужным.

— Почему?

— Да, знаете, — ответил, поколебавшись, моряк, — любовь — как бриз. Днем он дует с моря на берег, ночью — с берега на море. Не все же нас так преданно и терпеливо ждут, как нам бы хотелось.

— Однако, — заметил насмешливо доктор, — вы разговариваете, как заправский поэт.

— Боже мой! — воскликнула женщина. — Ка-

кой вы прозаический человек, доктор!

— Нет, позвольте! — вскипел доктор.

В это время багровым огнем вспыхнул первый залп. Пушечный гром прокатился над крышами. Сотни ракет полетели, шипя под дождем, в мутное небо. Они озарили город и Кремль разноцветным огнем. Ракеты отражались в асфальте.

На несколько мгновений город вырвался из темноты. Появилось все то, что жильцы высокого дома видели каждый день: Кремль, широкие мосты, церкви и дома Замоскворечья.

Но все это было совсем другим, чем при свете дня. Кремль казался повисшим в воздухе и очень легким. Ускользающий блеск ракет и дождевой туман смягчили строгие линии его соборов, крепостных башен и колокольни Ивана Великого. Величественные здания потеряли тяжесть. Они возникали как вспышки света в пороховом дыму ракет. Они казались созданными из белого камня, освещенного изнутри розовым огнем.

Когда погасала очередная вспышка, гасли и здания, будто они сами являлись источником этого пульсирующего огня.

— Прямо феерия какая-то! — сказала женщина. — Жаль, что салют в двадцать четыре выстрела, а не в сто двадцать четыре.

Она помолчала и добавила:

— Севастополь! Помните, какая там очень-очень прозрачная и зеленая вода? Особенно под кормой пароходов. И запах поломанных взрывами сухих акаций.

— То есть как это «помните»? — сказал доктор. — Кого вы спрашиваете? Я в Севастополе не был.

Женщина ничего не ответила.

— Но я-то все это хорошо помню, — сказал моряк. — Вы были в Севастополе?

— Примерно тогда же, когда и вы, — ответила женщина.

Салют окончился. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась, пожаловалась на головную боль, попросила у доктора пирамидона и снова ушла, смущенно попрощавшись.

Ночью моряк проснулся, посмотрел за окна. Дождь прошел. В разрывах между туч горели звезды. «Меняется погода, — подумал моряк, — поэтому и не спится». Он снова задремал, но протяжный голос сказал совсем рядом: «Какая там очень-очень прозрачная вода!» — и моряк очнулся, открыл глаза. Никого в комнате, конечно, не было.

Он потянулся к коробке папирос на стуле. Она

была пуста. Он вспомнил, что у него есть еще папиросы в кармане шинели. Моряк встал, накинул халат, висевший на спинке стула, вышел в переднюю, зажег свет. На столике около зеркала, на его морской фуражке лежала изорванная и измятая коробка «Казбека». Большое черное пятно закрывало рисунок снежной горы.

Моряк, еще ничего не понимая, взял коробку и открыл ее, — папирос в ней не было. Но на крышке с внутренней стороны он увидел знакомый адрес, написанный его собственной рукой. «Откуда она здесь? — подумал моряк. — Неужели...» Почему-то испугавшись, он быстро погасил свет и, зажав коробку в руке, вернулся в комнату. До утра он уже не мог уснуть.

Утром моряк ничего не сказал доктору. Он долго брился, потом умывался холодной водой, и руки у него вздрагивали. «Глупо! — думал моряк. — Что за черт!»

Пропитанный солнцем туман лежал над Москвой. Окна стояли настежь. В них лилась ночная свежесть. Утро рождалось в сыром блеске недавнего дождя.

В этом утре уже было предчувствие длинного лета, теплых ливней, прозрачных закатов, летящего под ноги липового цвета.

Моряк почему-то был уверен, что это утро и не могло быть иным. Тишина на рассвете, такая редкая в Москве, не успокаивала, а, наоборот, усиливала его волнение.

— Что, в самом деле, за черт! — сказал вполголоса моряк. — В конце концов бывают же в жизни и не такие случаи.

Он догадывался, что эта женщина работала, очевидно, сестрой в Севастополе, первая перевязала его, нашла коробку с адресом и написала письмо той, другой женщине, забывшей его так легко и быстро. А вчера она услышала его рассказ, узнала его и нарочно принесла эту коробку «Казбека».

«Да, но зачем она ее сберегла? И почему ничего не сказала? От молодости, — решил моряк. — Я же сам люблю всякие таинственные вещи. Надо обязательно зайти к ней и поблагодарить». Но тут же он понял, что понадобится отчаянная смелость, чтобы нажать кнопку звонка у ее дверей, и что он вряд ли на это решится.

Через час моряк вышел от доктора. Спускался он по лестнице очень медленно. На третьем этаже он остановился. На площадку выходило три двери.

Моряк с облегчением подумал, что он не

спросил доктора, в какой квартире живет эта женщина и как ее зовут. Да и неловко об этом спрашивать. А теперь нельзя же звонить подряд во все двери и спрашивать неизвестно кого!

В это время за одной из дверей моряк услышал знакомый голос. «Я вернусь через час, Маша, — сказал этот голос. — Я плохо спала эту ночь. Здесь очень душно. Пойду к реке».

Моряк понял, что вот сейчас, сию минуту она выйдет и застанет его на площадке. Он бросился к двери и с отчаянно бьющимся сердцем позвонил.

Дверь тотчас отворилась. За ней стояла вчерашняя женщина. Из двери дуло ветром. Он развевал легкое платье женщины, ее волосы.

Моряк молчал. Женщина вышла, захлопнула дверь, взяла его за руку и сказала:

— Пойдемте. Я провожу вас.

— Я хотел поблагодарить вас, — сказал моряк. — Вы спасли меня там… в Севастополе. И послали по этому адресу письмо…

— И, кажется, послала неудачно? — улыбнулась женщина. — Вы на меня не сердитесь?

Они спускались по лестнице. Женщина отпустила руку моряка, поправила волосы.

— За что? — спросил моряк. — Все это очень

странно. И хорошо…

Женщина остановилась, заглянула ему в глаза.

— Не надо волноваться, — сказала она тихо. — Хотя, что я говорю. Я сама волнуюсь не меньше вас.

Они вышли на набережную, остановились у чугунных перил. Кремль просвечивал розовыми стенами сквозь утреннюю мглу.

Женщина прикрыла рукой глаза и молчала. Моряк смотрел на ее руку и думал, что на этих вот пальцах была, наверное, его кровь. На этих тонких и милых пальцах.

Женщина, не отнимая руки от глаз, сказала:

— Никогда я не верила, что это бывает так… сразу. И что я увижу вас снова после Севастополя.

Моряк взял ее руку. Он поцеловал эту маленькую и сильную руку, не обращая внимания на прохожих. Прохожие шли мимо, как бы ничего не замечая. Только отойдя очень далеко, они украдкой оглядывались и смущенно улыбались.

1944

Роза ветров

Второй день облака над морем раскидывались огромным веером, а там, на горизонте, откуда они тянулись к зениту, сверкал необыкновенный белый свет.

Настя долго смотрела с веранды дома отдыха на этот свет. Смотрела, сощурившись и придерживая худенькими пальцами волосы, — их все время путал ветер.

Настя не знала, что это был за свет, — отблеск ли моря, освещенного солнцем, или, может быть, так светилось самое небо. Она не решалась спросить об этом у отдыхающих. Она давно уже заметила, что они считают ее дурочкой.

Чем пристальнее Настя всматривалась в белый свет на горизонте, тем он казался загадочнее. Тянуло туда, в далекую даль, где над морем лежала, покачиваясь, синеватая мгла. День казался таким высоким, будто небо распахнулось до самой глубины и льется потоками света все туда же, в ту даль, откуда расходятся над морем облака.

А может быть, на горизонте был виден ослепительный берег еще неизвестной страны? Могут же быть на земле такие страны? Или нет? Те

страны, где, как пишут в книгах, еще не ступала нога человека. Как хорошо сойти утром с корабля на берег такой страны, на песок, перемытый прибоем, оглянуться и посмотреть на свои следы. В каждом из них еще прячется прохладная тень — остаток ночи.

А потом подняться выше и увидеть… Что увидеть? Леса на кручах каменных гор, откуда каскадами падает вода, пенится и перекатывает голыши. Увидеть большое солнце, закинуть голову и закричать — протяжно, во весь молодой голос. Закричать и прислушаться, как ответит эхо на первый человеческий крик.

Настя задумалась и не заметила, как на веранду вышел поэт Соколовский. Отдыхающие гордились перед другими домами тем, что у них живет Соколовский. Но Настя его долго боялась. Если бы она встретила его на улице, то никогда бы не догадалась, что это поэт. Ей казалось, что даже во внешности у каждого поэта есть что-то, отличающее его от других людей, — негритянские губы Пушкина, сумрачные глаза Лермонтова, громовой голос Маяковского.

Ничего такого у Соколовского не было. Это был коренастый человек неопределенного возраста с длинным лицом и большими руками. Каждый

вечер он ходил в ресторанчик, окруженный почитателями, и все время острил. Настю он называл «дитя природы», но поглядывал на нее благосклонно.

Он дал ей прочесть книжку своих стихов. На голубой обложке были нарисованы растрепанные снопы. А потом шли стихи о войне, подружках, о городе, где поэт «слышит грохот столетья и несет в своем сердце войну».

Стихи Насте не понравились, но Соколовскому она ничего не сказала. Она поблагодарила его, возвращая книгу, а он взял Настины руки в свои и, глядя ей в лицо желтыми глазами, спросил:

— Афродита, дитя, почему вы прячетесь от всех?

Настя отняла руку, покраснела и ничего не ответила.

— Не сердитесь, — сказал примирительно Соколовский. — Общество здесь, конечно, муровое. Но вы мне нравитесь. Да и какое нам с вами дело до этого общества!

Этими снисходительными словами он как бы поставил Настю наравне с собой — признанным поэтом. Настя покраснела еще сильнее.

После этого разговора Соколовский переменился к Насте, — начал говорить с ней ласково,

много шутил и часто придумывал какую-нибудь неожиданность, чтобы порадовать Настю. То он показывал ей на красивый голыш на берегу, и когда Настя его подымала, то под голышом оказывалась шоколадная конфета в серебряной обертке. То перед прибором у Насти появлялась в бокале лимонная кудрявая хризантема, тогда как у других женщин никаких хризантем не было, а стояли только перечницы с надписью «Память о Сочи».

Женщины ходили темные, как тучи, и как только Настя появлялась среди них, переглядывались и замолкали. Они собирались по укромным комнатам — все в пестрых пижамах, похожие на трескучих тропических птиц, — и возмущались дурным вкусом Соколовского. Как можно было променять культурных женщин на эту наивную девушку, не умеющую даже правильно говорить. Променять их на слушательницу педагогического техникума, не знающую даже, кто такой Хемингуэй! Непонятно, как она попала в этот дом отдыха! Если бы она была красавицей, тогда можно было бы понять. Соколовского. Что он в ней нашел?

Но втайне женщины завидовали Насте — и ее косам, тяжелым, русым, с медным отливом, и

большим глазам, и особенно длинным черным ресницам. Было просто невероятно, что это настоящие, а не приклеенные ресницы.

Настя все это замечала и приходила в отчаяние. «Чем же я виновата, — думала она, — что отец у меня был простой хлебороб, а мама до сих пор то и делает, что возится с курами и с огородом. Что им от меня надо, этим павам!»

Соколовский любил расспрашивать Настю об ее родной деревне, и Настя всегда отвечала охотно, вся раскрасневшись:

— У нас село широкое-широкое, над балкой. А весной, как зацветет акация, так кажется, будто по всем садам кипит молоко, Мамин-а хата хоть и маленькая, а чистая, белая, и печка у нас расписана цветами — мальвами и бархатцами. Очень у нас хорошо. Вот приезжайте на то лето, — мама будет так рада! Она у меня добренькая, всегда смеется.

— Добрая? Вроде вас? — спрашивал Соколовский.

— Да, — доверчиво соглашалась Настя. — Я на нее похожа.

— Скажите мне правду, — говорил Соколовский, брал Настины руки и рассматривал ее длинные пальцы, — ваша мама, должно быть,

согрешила с каким-нибудь заезжим красавцем? Почему вы такая?

— Ну что вы говорите! — испуганно восклицала Настя. — Как вам не совестно!

Часто по вечерам Соколовский ходил с Настей из дома отдыха в соседний маленький городок. Настя полюбила шоссе над морем, покрытое перистой тенью эвкалиптов, полюбила крутые горы и курчавые леса, просвеченные и прогретые до корней солнцем, опускавшимся в шумящее море, полюбила горький запах лавров и даже запах лилового слабого вина, которым однажды угощал ее Соколовский в дощатом ресторанчике.

Хозяин ресторанчика — черный человек с выпуклыми глазами — вытер столик мокрым от вина полотенцем и подмигнул Соколовскому. Потом хозяин поставил на стол бутыль вина.

Соколовский пил молча, стакан за стаканом, будто решил поскорее выпить всю бутыль, Настя выпила только один стакан и вдруг сказала:

— У вас совсем плохие стихи. Очень плохие. Прочтите мне что-нибудь хорошее.

Сказала и испугалась. Если бы не вино и не веселая светлость в голове, она бы этого, конечно, не сказала. Во Соколовский не обиделся. Он усмехнулся и, глядя на море, где плавали под

берегом нырки, сказал:

— Я вас прощаю. За все. Что вам прочесть?

— Можно Пушкина? — спросила нерешительно Настя. — Только читайте медленно.

— Ну, ладно! — вздохнул Соколовский и тихо начал говорить как раз те пушкинские слова, которые Настя хотела услышать, а услышав, вздрогнула и замерла.

— «Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой…»

Настя смотрела на Соколовского и не узнавала его. Он сидел, сгорбившись, и читал тихо и внятно, как будто только для себя.

«Значит, он хороший, — подумала Настя. — Конечно, хороший».

— «Но там — увы — где неба своды сияют в блеске голубом», — сказал Соколовский, и Настя почувствовала, как у нее сжалось горло. Она знала, что дальше, за этими торжественными словами стоит смерть, не пощадившая ни любви поэта, ни его тоски, ни светлой красоты любящей женщины. И вот они пришли, эти слова — «Где под скалами дремлют воды, уснула ты последним сном…»

Слеза сползла по щеке у Насти и упала в стакан, где на дне еще оставалось немного вина. А когда

Соколовский окончил читать и поднял голову, Настя уже плакала, не скрываясь. Соколовский, сморщившись, посмотрел на Настю, взял ее руку и поцеловал. Настя расплакалась еще сильнее, еще горше.

— Да, — тихо сказал Соколовский. — Великан! А у меня силенки не хватает.

Когда они возвращались после этого в дом отдыха, на маленьком мосту над шумным потоком у Насти закружилась голова. Звезды вдруг закачались и начали падать в море. Соколовский подхватил Настю и усадил на теплый придорожный камень.

— Глупость какая! — сказала тихо Настя. — Это же от вина. Я не пила его два года.

По шоссе неслась машина. Свет фар ударил в лицо Насте. В этом струящемся свете лицо ее с закрытыми глазами показалось Соколовскому таким прекрасным, что он схватил Настю за плечи и начал долго целовать в дрожащие губы. Настя рванулась, вскочила, но тотчас опять села на камень и сказала:

— Зачем? Это же страшно!

Настя вернулась к себе в смятении и не могла уснуть всю ночь. Несколько раз она крадучись выходила на веранду и долго смотрела на море,

будто оно могло сказать те спокойные слова, которые оправдали бы этот первый поцелуй и близость и смыли бы с души горечь. Но в горечи этой все чаще мелькала то тут, то там, как лукавый зверек, непонятная радость.

Море лежало во мраке, и беспредельный его шум был как всегда равнодушен ко всему человеческому, будто волны повторяли одно и то же: усни, усни, усни…

Море не могло помочь Насте. Может быть, один только человек мог ей помочь: седой писатель с сухим лицом. Настя видела его однажды на пристани и знала, что он живет в белом воздушном санатории, окруженном кипарисами.

Что бы он сказал ей? «Дитя, — сказал бы он, наверное, — как ты ни боялась любви, но ты полюбила. Если это радость, то береги ее, как мать бережет ребенка. А если это крест, то ты будешь нести его долго, может быть всю жизнь. И ты никогда не подумаешь о том, достоин любимый твоей любви или нет. Как песчинка не может остановить морскую волну, так ты не остановишь свое простое и преданное сердце. А раз так — то люби!»

И Настя полюбила. Это было и радостно и очень страшно, потому что по нескольку раз за день

Настя переходила от отчаяния к покою, а потом опять к отчаянию. Ей трудно было объяснить это себе, но почему-то все, что происходило с ней, казалось хотя и хорошим, но очень непрочным.

«Мое счастье в его руках, — думала Настя. — А что, если он вдруг разожмет руки, выронит его и оно разобьется».

И еще ей было совестно перед окружающими, будто она украла у них то, что принадлежало всем, а не только ей одной, — и они никогда не простят ей этого.

И вот сейчас, когда Соколовский вышел на веранду и остановился позади Насти, она думала о том, что любовь — это еще не все счастье. Для полного счастья нужно еще очень много: и веселье, и вот это море, и эти розовеющие облака… Все, все нужно.

— Роза ветров, — неожиданно сказал Соколовский за спиной у Насти.

Настя обернулась.

— Что? — спросила она.

— Вот то, что происходит на небе, — спокойно объяснил Соколовский, — называется розой ветров. Облака расходятся во все стороны из одной точки. Там, где лежит эта светлая точка, зарождается ветер и равномерно дует во все стороны

света.

— Роза ветров, — повторила Настя и улыбнулась. — Откуда вы все знаете?

Соколовский ничего не ответил.

— Чем больше знаешь, тем интереснее жить, — заметила Настя.

Свет на горизонте расплылся в широкое серебряное озеро. Оно сверкало и росло, приближаясь к берегу.

— Настя, — сказал, помолчав, Соколовский. — Я получил сегодня телеграмму. Из Москвы. Завтра я уезжаю.

Настя не оглянулась. Она только сжала пальцами сырые от недавнего дождя перила веранды.

— Ну и что же? — спросила она едва слышно.

— Давайте поговорим, — неуверенно предложил Соколовский. — Как будет в Москве?

Настя долго молчала.

— Никак! — ответила она наконец, повернулась к Соколовскому и улыбнулась ему, как взрослый улыбается ребенку. — Не бойтесь! В Москве я не буду ни видеть вас, ни писать вам, ни звонить — ничего! Бог с вами. Я все давно уже поняла. И ни капельки не сержусь. Живите, как вам хочется.

— Настя! — сказал Соколовский придушенным трагическим голосом.

— Ну что? Что Настя? Я же обо всем давно начала догадываться. Помните, вы говорили, что самое важное в жизни — покой и легкое счастье. Хоть на две недели. Я бы для вас жизнь охотно сломала, а вам этого делать нельзя. У вас и семья, и положение в обществе. Да еще и устали вы. Трудно вам переиначивать жизнь. Я все помню, что вы мне говорили. Поезжайте спокойно. Из-за меня у вас не будет никаких неприятностей.

Соколовский схватил Настины руки, начал целовать их и торопливо бормотал:

— Но мы еще увидимся? Правда? Увидимся?

— Если захотите, то увидимся, — спокойно ответила Настя. Она осторожно отняла руки, подняла за подбородок голову Соколовского, посмотрела в его растерянные глаза, поцеловала в лоб и сказала совсем тихо:

— Слабый вы человек. Но милый. И скажу я вам, как говорила моя бабушка: бог вас простит.

— Вы что ж, презираете меня? — удивленно спросил Соколовский.

— Да, — сказала Настя. — И люблю. Больше мы не будем ни о чем таком разговаривать.

Настя сошла с веранды и медленно пошла к морю. Соколовский смотрел ей вслед. Настя ни разу не оглянулась.

«Я негодяй», — подумал Соколовский. От этой мысли у него сразу стало легко на сердце. Это слово как бы снимало с него все обязательства, сомнения, необходимость решений, снимало все, что было связано с Настей.

Соколовский вздохнул, достал папиросу, сел в плетеное кресло, закурил и, наслаждаясь крепким табаком, повторил про себя:

«Я негодяй. Пусть! Но это последний раз в жизни».

Ему было особенно легко оттого, что только один человек знает здесь, каким он оказался трусом, но никому об этом не расскажет. Ничто не изменится. Так же, как всегда, к нему будут тянуться, как птицы на маячный огонь, почитатели, с обычным восхищением будут выслушивать его остроты и гордиться знакомством с известным поэтом.

Настя медленно шла вдоль кромки прибоя. Волны то выбрасывали на берег, то смывали мандариновые корки и коричневые листья магнолий. Худенький мальчишка ловил на самолов рыбу. Это был известный на берегу «Толя-капитан». В карманах зеленых штанов и за пазухой рваной фуфайки он таскал много интересных вещей: рогатку, крючки, орехи, банку с червями

и высушенные клешни крабов.

Настя подошла к Толе и села на теплую гальку. Волна подбежала к самым ногам, но передумала и осторожно отхлынула, уволакивая за собой пену.

— Ну, как жизнь, Толя? — спросила Настя и болезненно улыбнулась.

Толя мельком взглянул на нее и отвернулся.

— Да как! — ответил он недовольно. — Пацаны сегодня с утра нахватали бычков! А я опоздал. Я сегодня пустой.

Он яростно дернул самолов и начал выбирать его из воды. На конце самолова, на огромном ржавом крючке болтался маленький, похожий на пиявку, бычок. Толя сплюнул.

— Зараза! — сказал он с досадой. — Тоже лезет! Вдруг Толя бросил самолов и побежал вдоль берега, вытаскивая на бегу из кармана рогатку.

— Нырок! — отчаянно крикнул он Насте. Нырок качался на волнах около берега. Он вертел головой и с беспокойством поглядывал на Толю. Толя, почти не целясь, ударил из рогатки. Камень врезался в воду рядом с нырком. Нырок тотчас исчез. Вынырнул он так далеко, что попасть в него из рогатки было уже невозможно. Толя с удивлением рассматривал рогатку, будто он не попал в нырка только потому, что в рогатке была

какая-то неисправность. Потом он размашисто раскрутил над головой самолов, закинул его далеко в море и сказал Насте:

— Вот наловлю бычков, а вы до нас сегодня вечером приходите. Моя мама их так жарит, как никто.

— А кто твоя мама?

— Уборщица в вашем доме. Знаете Пашу? Так это она.

— Знаю, — ответила Настя и покраснела. Однажды, когда Настя сидела вечером с Соколовским на веранде и он поцеловал ее, вошла Паша. Паша смутилась и заметалась по веранде, притворяясь, будто что-то ищет. Соколовский смотрел на Пашу неподвижными злыми глазами.

— Хорошо, я приду, — согласилась Настя. — А где ты живешь?

— Вы сами ни за что не найдете. Я за вами прибегу. Перед ужином.

Настя встала, пошла к дому отдыха. Солнце уже опускалось в море, и облака колыхались золотыми дорогами на отлогих волнах. Поперек этих золотых дорог шел, растягивая за кормой полосу дыма, большой пароход.

Настя часто останавливалась, все думала о Соколовском. Слабый, несчастный человек! Может

быть, и слабость, и желание казаться совсем не тем, чем он был, — все это оттого, что никто его по-настоящему не любил. Он был никому не нужен и ни у кого не болело сердце, когда он делал глупости, ошибался, лгал или страдал. «Не мне его судить, — думала Настя. — Он поэт. Может быть, поэтам и вправду все время нужно что-то новое — люди, неожиданные встречи, увлечения. Иначе они заскучают и перестанут писать».

Когда стемнело и в небе заблистала первая звезда — одинокая и ясная, та звезда, которую Настя почему-то всегда жалела, будто эта звезда была разлученной с нею подругой, Настя вышла в парк и пошла по темной аллее.

На скамейке около старого платана сидел Соколовский, а рядом с ним — полная женщина с круглыми настойчивыми глазами и папиросой в углу рта. В доме отдыха все ее звали Люсей. Она похлопывала Соколовского по руке пухлыми пальцами с ногтями кровавого цвета и говорила:

— Вы унижаете себя, Петя, этим увлечением. Наивный человек! Да неужели вы думаете, что никто ничего не замечает. За каждым вашим шагом следят. Да и что вы нашли в ней необыкновенного? Поэт — талантливый, образованный, а рядом какая-то дурочка. Вы не уважаете себя,

Петя. Так нельзя, милый.

— Спасибо, Люсенька, — ответил ей Соколовский, и Настя вся сжалась, сообразив, что она подслушивает и что это — страшно и гадко. — Спасибо за откровенность. Я сам все это прекрасно знаю. Настя меня интересует только как литературный персонаж. Не больше! И потом, вы же сами понимаете, что мне нужны потрясения. Без этого я не могу писать. Да, собственно говоря, все уже кончено. Я исчерпал эту тему до конца.

— Значит, — игриво сказала Люся, все так же похлопывая Соколовского пальчиками по руке, — мы скоро прочтем поэму и узнаем в ней нашу дурочку Настю?

Настя повернулась и быстро пошла к себе в комнату. Лицо ее горело. Она прижала ладони к щекам. Тотчас на глазах выступили слезы. В своей комнате Настя села в уголок дивана и сидела неподвижно, поджав ноги, боясь пошевелиться. Она знала, что стоит ей двинуться или разжать стиснутые руки — и она закричит, потому что все внутри у нее ныло от тупой боли. Настя тихонько качалась от этой боли, приоткрыв рот, глядя в одну точку удивленными глазами. Ей казалось, что кто-то чужой все спрашивает ее с той же назойливой равномерностью, с какой бьется у

нее на виске маленькая жилка:

— Что же это? Что же это? Скажи!

Потом Настя вспомнила, что сейчас могут войти в комнату и позвать ужинать. Надо поскорее уйти. Настя вскочила, открыла дверь и тихонько вскрикнула, — в коридоре за дверью стоял Толя. Рваную кепку он держал в руке.

— А я уже давно-жду, — сказал он таинственно, — пока вы выйдете. Мама бычков уже жарит. С черносливом.

— Пойдем! — порывисто сказала Настя и положила руку на Толино плечо, оно было худенькое, горячее, и из-под него выпирала ключица.

Толя провел Настю в большой мандариновый сад. Дощатый дом с террaской, где жила Паша, стоял в глубине сада. Через сад надо было идти по узкой дорожке, усыпанной крупным гравием, и пониже наклонять голову, — ветки мандаринов опускались до земли. Идти было трудно, потому что под ногами вертелась мохнатая черная собачонка и все время норовила лизнуть Настю в руку.

— Заходите! — крикнула Паша из зарослей, где трещал очаг, и от него пахло сладковатым дымом. Паша топила его кипарисовыми щепками.

Настя вошла в комнату, оглядела ее и вздохну-

ла. Как хорошо!

— Откуда у вас все это? — спросила она Толю.

— А тут жил до нас старичок, морской капитан. Совсем один. Это от него осталось. Умер зимой, потому что все дожди и дожди, а он был уже слабенький. Вон его карточка, на комоде, — в полном капитанском мундире.

Настя не взглянула на карточку старика в полном капитанском мундире. Она смотрела на картину на стене и не расслышала последних слов Толи. Ей казалось, что она уже давно видела то, что было изображено на картине, но никак не могла вспомнить — где и когда. Должно быть, во сне.

Голубоватые сумерки простирались над морем, над равниной тусклой и тихой воды, а вдали, на берегу какой-то неизвестной страны, горели желтые портовые фонари. Их свет отражался в воде длинными столбами. И одна-единственная, страшно отдаленная звезда блестела в небе, похожем на туман, — печальная звезда, спутница кораблей. «Что там, на берегу?» — думала Настя. Должно быть, пристань, и на ней сидят девушки в таких же светлых платьях, как эта северная ночь, — счастливые девушки, верящие любимым. И тишина. Тишина на тысячи и тысячи

миль. Только изредка у песчаного берега всплеснет спросонок волна и стихнет, испугавшись собственного плеска.

— Любуетесь? — спросила Паша. Она вошла в комнату со сковородкой жареной рыбы. — Это нам наследство осталось от Евгения Максимовича. И картины, и книги, и карты, и всякие эти морские инструменты.

— Тетя Паша, — сказала Настя, — мне осталось уже немного дожить в доме отдыха. Можно, я перееду к вам? Я не хочу там оставаться.

— Все можно, — ответила Паша, вытерла руки о фартук, подошла к Насте и пригладила ее волосы. — Все можно, голубка моя, красавица.

Настя подняла на Пашу глаза, полные слез.

— А вы мне ничего не рассказывайте, — сказала Паша. — Я и сама вижу. Садитесь, кушайте. Я сейчас сбегаю, соберу ваши вещи, принесу сюда. Вы только директору записочку напишите.

Настя написала две записки: директору и Соколовскому.

«Не хочу быть и не буду, — писала она Соколовскому, — кроликом для ваших поэтических упражнений. Думаю, что и в этом вы солгали, так как я вас занимала совсем не как литературная героиня, а просто как женщина. Кто дал вам пра-

во играть такими вещами, как любовь? Талант? Да у вас его один только грамм, этого таланта. А если бы было и больше, то все равно, — талант создан, чтобы давать людям радость, а не люди созданы для того, чтобы этот талант разрастался, как ядовитый гриб. Настоящий человек должен быть настоящим во всем: и в стихах, и в жизни, и в каждой мелочи. А вы не настоящий. И стихи ваши — обман и ложь. Вы в них нарядились, как в красивый костюм, чтобы петушиться перед людьми. Вот все, что может сказать вам такая дурочка, как я. Прощайте».

Через час Паша принесла чемодан с вещами Насти и большой конверт от Соколовского. Настя вскрыла его, и на пол посыпались изорванные и измятые страницы той самой книжки стихов, которую Соколовский давал Насте читать. Вместе с порванными страницами выпала записка. Соколовский писал: «Вы правы. Стихи я порвал».

— Еще и паясничает! — сказала Настя, собрала все обрывки в конверт, вложила в него записку, вышла в сад и бросила конверт в очаг.

Тетя Паша ушла на ночь дежурить в дом отдыха. Толя спал на сундуке, свернувшись калачиком. Настя разделась и, сидя на кровати, задумалась. Она долго смотрела на картину с сумеречным

морем и огнями, потом заметила около этой картины старую морскую карту. Настя надела туфли и подошла к карте. Какие-то синие реки впадали на ней в зеленый океан, маяки были очерчены тонкими кружками. В углу карты Настя увидела нарисованную тушью звезду и над нею надпись «Роза ветров». Лучи у звезды были разной длины, и Настя, наморщив лоб, долго смотрела на рисунок звезды, стараясь в нем разобраться. Потом она догадалась по надписям «норд», «ост», «зюйд» и «вест», что каждый луч этой звезды говорит о силе и направлении ветров, дующих у тех берегов, что были нанесены на карту. Самый длинный луч звезды был направлен на юг, и это значило, что чаще всего на этом побережье дуют южные ветры. Настя вспомнила все, что рассказывал ей о розе ветров Соколовский, и только вздохнула. И тут он, ничего не зная, соврал, чтобы поразить ее и покрасоваться.

— Никогда не прощу, — сказала Настя. — Никогда! Даже перед смертью.

Она легла в постель, укрылась, поджала высокие колени, но они были холодные, как ледяшки. Настя никак не могла согреться и уснуть и тихонько проплакала всю ночь.

Утром, когда солнечный луч осветил висевшую

на стене оранжевую хурму, Настя встала, оделась и пошла к морю. Оно шумело, несло к берегам теплый воздух безбрежных своих пространств.

Настя сбросила платье и вошла в воду. Она легла на спину, прищурила глаза, и на ресницах у нее, в крошечных капельках воды закружились такие волны света и блеска, что Настя даже улыбнулась!

— Море! — сказала она шепотом, лаская теплую воду, переливавшуюся между пальцами.

Она легко и сильно дышала и думала, что вот все кончено и теперь она, Настя, строже стала к жизни, А море шумит вокруг и совершенно не знает, что ему дана великая сила смывать с человеческой души грязь и горечь.

1947

Встреча

Крым резко делится на две части: западную — нарядную, полную блеска, листвы, и восточную — каменистую, сухую, где летом только маки цветут на сухой земле и неделями висят над горами сонные облака.

В восточном Крыму бывал я летом. Потом приехал туда в конце осени. Я начал писать повесть, и мне хотелось уйти на время от напряженной московской жизни.

В этих безлюдных местах я выбрал самое уединенное место — уцелевший после войны низенький дом над морем у подножия горы Карадаг. Дом стоял в трех километрах от ближайшего поселка. В нем жила пожилая женщина Настя с дочерью Любой.

— Да живите, где хотите, — сказала мне обрадованно Настя. — Дом пока что пустой. Мы вам поставим стол и табуретку. И тюфяк у меня есть лишний. Из морской травы. И печка здесь хорошая, целая. Живите! И нам будет веселее. А то зимой штормы такие тяжелые, что мы с Любой, бывает, до самого свету не можем заснуть. Хотя, если правду сказать, штормы нам на руку.

Настя с дочерью работали на берегу, в нескольких километрах от дома. Они заготовляли гравий для ремонта шоссе, сгребали его в большие кучи. Потом приходил грузовик и забирал гравий. Каждый новый шторм намывал свежие валы гравия.

Настя с Любой возвращались домой к сумеркам. А потом Люба еще долго сидела при лампочке над учебниками: она заочно готовилась к экзаменам за последний класс средней школы.

Муж Насти работал до войны на цементном заводе. Когда пришли немцы, кто-то донес на него, будто он держал связь с партизанами. Зимним утром немцы ворвались в дом, взяли Настиного мужа и повели к морю. Они заставили его раздеться, войти по пояс в ледяную воду и дали по нему очередь из автомата. Море тут же выбросило его труп. Настя похоронила мужа у берега. Могилу она завалила камнями и запутала колючей проволокой.

По утрам Настя и Люба брали лопаты и шли на берег. Я оставался один и работал. В свободное время я уходил к Карадагу по узкой и опасной тропе. Тропа шла над самым морем и приводила к маленькой бухте под отвесной скалой. Вершина ее всегда терялась в тучах. Тучи эти были рядом. Я хорошо видел, как они медленно клубились.

Когда налетал ветер, тучи начинали метаться из стороны в сторону, разрывались на клочья и падали на берег. Иногда в лицо бил дождь.

Но в конце декабря наступило безветрие. Шторм стих ночью, а утром глубокая тишина и теплота уже расстилались над пустынными долами побережья.

В это первое тихое утро мальчишка принес мне с почты телеграмму. Меня вызывали в Москву.

Мне не хотелось уезжать, но, раз надо, пришлось смириться. В оставшиеся до отъезда два дня я решил отдохнуть, заняться рыбной ловлей.

Я тотчас начал налаживать «самолов» — длинный шнур с несколькими крючками и тяжелым грузилом на конце.

Я никогда зимой не ловил рыбу в море и решил попробовать, что из этого выйдет. Очень долго провозился с «самоловом», а когда пришел на берег, оставалось часа два до темноты.

Я раскинул над головой «самолов» и далеко закинул его в воду. Конец шнура намотал на палец, сел на холодную гальку и стал ждать. Слоистые облака разошлись и открыли полосу чистого неба.

«Самолов» сильно дернуло. Я начал быстро выбирать шнур и вытащил морского окуня. Он

переливался всеми зелеными и синими красками, какие, должно быть, есть на земле.

— Вот и поймали! — сказала у меня за спиной Люба.

Я оглянулся. Люба стояла на маленьком камне, где едва помещались ее ноги. Она старалась удержаться на нем, но это было трудно. То одна, то другая нога соскальзывала с камня, и Люба смеялась.

Потом Люба соскочила с камня и села рядом со мной. Я вытащил второго окуня.

— Я мешать не буду, — сказала Люба. — Посижу тут немного и пойду. В Якорную бухту.

— Что ж так поздно? — спросил я.

— Луна скоро взойдет. Я не боюсь.

— А что там, в Якорной? — спросил я. — Что за дело такое срочное?

Люба улыбнулась и ничего не ответила. Я вытащил еще двух рыбок. Облака незаметно ушли в сторону Феодосии. На темнеющем небе проступили звезды. С каждой минутой свет делался ярче, и наконец одна звезда заиграла на самом краю моря и отразилась в спокойной воде.

— Да это не звезда, — сказала Люба. — Это теплоход идет на Ялту.

Она помолчала.

— Теплоход идет на Ялту, — повторила она и незаметно вздохнула. — Мне уезжать отсюда и хочется и не хочется. А уехать придется: надо же мне дальше учиться!

Она опять помолчала.

— Только маму жалко, — добавила она. — Мама отсюда ни за что не уедет. Привыкла. Да и отец тут похоронен. Мама у меня робкая. Я вас про многое хотела расспросить, да мама не позволяет, чтобы я вам мешала.

Люба встала, поправила волосы.

— Ну, что ж, я пойду, — сказала она неуверенно и замолчала, как будто ожидая, что я ей отвечу на это.

Я молча стал сматывать «самолов». Он, конечно, запутался.

— Вы были в Якорной? — спросила Люба, взяла «самолов» и стала его распутывать. — Погодите, не дергайте!

— Нет, не был. А что там, в Якорной бухте?

— Да ничего. Есть один старичок хороший…

— А чем он интересный, этот ваш старичок?

— Интересный, и все! — ответила Люба. — Я рассказывать не умею.

— Пойти мне с вами, что ли? — спросил я.

— Как хотите. Он, конечно, обрадуется. Я ему

про вас рассказывала.

Дорога в Якорную шла среди невысоких гор. Луна еще не взошла, но какой-то неясный свет падал на землю и помогал нам идти. По левой руке тянулся кряж однообразных горбатых вершин. В темноте они напоминали окаменелый караван верблюдов. На одном из этих каменных верблюжьих горбов много лет назад был похоронен известный поэт, уроженец этих мест. Я сказал об этом Любе.

— Я знаю, — ответила она. — Только я его не читала. Не достала его книгу.

— А что вы читали?

— Я много читала. И все помню. Колючки какие — просто идти невозможно!

Она остановилась и оторвала от платья колючку.

— А что же вы запомнили лучше всего?

— Что? — переспросила Люба. — Одни слова я запомнила. А чьи они, так это я позабыла.

— Какие слова?

— Да как-то их трудно даже вам рассказать. Неловко. Ну, ладно! Есть такие слова: «Человек создан для счастья, как птица для полета»?

— Есть.

— Ну, вот. Про них я и говорю. Это правильно

сказано? Как вы думаете?

— Правильно.

Я замолчал. Молчала и Люба. Ночь лежала над побережьем. И почему-то эта ночь показалась мне необыкновенной, тогда как, если разобраться, в ней не было ничего особенного. Я думал о поэте, о поэзии… Может быть, это чувство поэзии родилось и от ночи, и от того, что рядом со мной шла загорелая, обветренная, сероглазая девушка и несла с собой целый мир мыслей, чистоты, волнения и веселости. А у меня все это вызывало едва приметную, но законную грусть оттого, что эта девушка только что входит в жизнь; она остановилась на пороге «страны чудес», а я уже прошел по этой стране далекий и долгий путь, и мне бесконечно жаль, что я не могу пройти его снова и снова.

Потянулись кустарники, потом какой-то низкорослый лес, и, наконец, открылись редкие, но яркие огни поселка в Якорной бухте. Луна уже поднялась. При ее свете я посмотрел на часы — было еще рано, всего половина девятого.

Мы свернули с дороги, перелезли через низкую каменную изгородь, прошли через виноградник и остановились около беленного мелом дома. Свет падал сквозь щель ставни. В его полосе чернела

ветка дерева с крупными, еще не облетевшими листьями.

— Здесь, — сказала Люба и постучала в ставню.

Дверь нам открыл низенький старик. Старик этот показался мне поначалу колючим, — может быть, потому, что щетина торчала белой щеткой на его суховатом лице, а может быть, потому, что глаза блестели остро и даже насмешливо.

В низкой комнате пахло вином.

— Вот, — сказала смущенно Люба, — я к вам по делу пришла, Петр Петрович. А это наш жилец, тот, про которого я говорила…

— Все правильно! — старик явно был рад нашему приходу. — А то я уже заскучал. Одиночество, знаете, — вещь полезная, но в маленьких дозах.

— Я винодел, — сказал старик, как только усадил меня в кожаное кресло, — и потому причисляю себя к служителям искусства. Виноделие — одно из самых древних искусств.

— Я давно хотел познакомиться с виноделием, — пробормотал я.

— Э-хе-хе! — старик постучал пальцами по столу. — С ним знакомиться нужно годами. Если бы вы были помоложе, я бы уговорил вас заняться этим делом. Не все же вам писать и писать. Обучил бы вас, как вот обучаю этому Любу. Ви-

ноделие! О нем поэмы надо писать! Вот, скажем, начали прибавлять к вину фосфор — и сразу же добились очень тонкого вкуса. От примеси железа вино, например, получает необыкновенно живой красный цвет. Есть у меня сухое винцо, правда, простое каберне, но мне удалось придать ему запах фиалки. При этом в нем много огня. Я открыл этот новый сорт вина путем сочетания разных веществ. Вот почему я считаю виноделие искусством.

— Пожалуй, что так, — согласился я.

— А как же! Каждое искусство требует преемственности. Преем-ственно-сти! Понимаете? Мастер должен передавать свое искусство ученикам. В любой области — и в вашей, писательской, и в моей, винодельческой.

Я не заметил, как на столе появилась бутылка вина, черного и густого.

— Я, — продолжал старик, — винодел. И из Любы я тоже сделаю винодела. На днях она уедет учиться в винодельческую школу. А когда вернется, я передам ей, как говорится, все свои «секреты» изготовления вина.

— Какая вы счастливая, Люба! — сказал я с грустью. — Я просто завидую вам.

— А я и сама рада, — ответила Люба. — Мне

только маму жалко.

Обратный путь был неожиданно бурным. Ветер шумел в кустарниках, в горах, высвистывая на зубчатых вершинах свою беззаботную песню. Шум его мешал мне слушать старика. И, помню, мы все время боялись что-то уронить и разбить, но что, я не знаю, так как было темно и я по своей близорукости не мог разобрать, что это такое мы тащим с собой.

Старик довел нас до самого дома и ушел обратно.

Через день я уехал. Настя и Люба проводили меня в поселок, до пыльного автобуса. Когда я садился в автобус, Люба протянула мне маленький сверток.

— Это что?

— Это вам от Петра Петровича, — сказала Люба. — Бутылка его вина, того, про которое он вам рассказывал.

Только сейчас я понял, что, очевидно, эту бутылку мы так боялись разбить ночью.

— Да не от Петра Петровича это вам, — сказала, улыбаясь, Настя, — а от Любы. Она бегала тогда с вами за этим самым вином. Вам на дорогу.

Вечером теплоход, на котором я уезжал, отвалил от феодосийской пристани. Как всегда во

время зимнего рейса, на теплоходе почти не было пассажиров. Я стоял у борта и старался разглядеть знакомые берега. В далекой тьме угадывался Карадаг. Я увидел — мне это не могло показаться — слабый свет у самого края горы. Может быть, эго был свет из окна Любиной комнаты.

Я спустился в каюту, откупорил бутылку стариковского вина и выпил немного — всего один стакан. Выпил за эту кремнистую землю, за зимнее море, за новых моих друзей, но больше всего за то, чтобы мимолетная наша дружба стала такой же крепкой, как сок этого рубинового вина.

1950

Черноморское солнце

Когда у нас в Средней России начинают лить осенние обложные дожди и в дыму этих дождей тонут леса и свинцовые речные просторы, тогда приходит к человеку тоска по далекому черноморскому солнцу.

Мы, рыболовы, обычно терпеливо ждали, когда наконец пройдет ненастье. Чаще всего оно оканчивалось ночью. Мы просыпались от глубокой тишины. Дождь не гремел по железной крыше деревенского дома, не шумели от ветра старые вязы, и только последние капли изредка постукивали то тут, то там за стеной.

За окном мезонина было видно, как ненастье сваливалось за леса непроглядных туч. В очистившемся небе сияла омытая дождем Большая Медведица.

Но пока длилась непогода, мы, запертые ею в бревенчатых комнатах, любили поговорить о рыбной ловле под иными широтами, под южными безоблачными небесами.

Больше всего я привязан душой к нашей средней полосе России. Рыбная ловля в ее реках и озерах кажется мне замечательной. Но в дожд-

ливые дни я тоже вспоминал о рыбной ловле на Черном море. В морской ловле было много своеобразия и прелести.

Я вспоминал старый мол-волнолом в Одессе, изъеденный, как губка, крепкой солью и ржавчиной.

В лужах на молу вода была так прогрета солнцем, что попадавшие в нее креветки тотчас умирали. При этом они краснели, как крабы в кипятке.

Креветки сами по себе, конечно, не могли попасть в эти лужи. Их роняли туда рыболовы.

Креветок продавали в толстых бумажных фунтиках. У каждого рыболова торчало в кармане по два-три таких фунтика вместе с горстью маслин, куском брынзы и свежего арнаутского хлеба.

Торговала креветками — по-одесски «рачками» — тут же на молу худая маленькая женщина, тетя Пая, с таким взвинченным голосом, что вытерпеть его могли только философически настроенные одесские рыболовы.

— Слушайте, граждане! — пронзительно говорила тетя Пая, сидя на перевернутой корзине из-под креветок. — Неужели я приговоренная навеки к этим проклятым рачкам? Так нет же и нет! У меня есть своя думка: вырастить из моего

Моти знаменитого скрипача. Он учится у самого Столярского. Чтобы мне добра не было, если я не сделаю из Моти свое утешение.

Было совершенно непонятно, к кому обращалась тетя Пая со своими речами. Рыболовы сидели поодаль на краю мола, свесив ноги и воткнув в щели между камнями длиннейшие бамбуковые удилища, или, как их зовут в Одессе, «пруты». Голос тети Паи, конечно, долетал до рыболовов, но они так привыкли к нему, что уже не слышали его, подобно тому как береговой житель перестает замечать шум прибоя.

Слушал тетю Паю только рыжий кот Зяма — единственный постоянный обитатель волнолома. Он спал на солнцепеке около тети Паи, закрыв один глаз. Второй глаз был на всякий случай только прищурен. Зяма лениво следил этим глазом за всем, что делалось на молу.

Как Зяма попал на мол, никто не знал. Большинство рыболовов склонялось к той мысли, что Зяма был сильно вороват. За это хозяин Зямы и завез его на мол, чтобы навсегда от него отвязаться. Дело в том, что мол не соединялся с берегом. Па него переезжали на шлюпке. Зяма остался на молу, как на необитаемом острове.

Зяма воровал рыбу и этим питался. Жил он

в пещере от вывалившегося из мола большого камня-массива. Пещера была расположена не со стороны моря, где набегал прибой, а со стороны порта. Там даже в штормы было тихо.

То обстоятельство, что кот сообразил, где поселиться, вызывало к нему даже некоторое уважение. Может быть, из этого уважения кто-то из рыболовов поставил в пещеру к Зяме пустую жестянку от консервов («бычков в томате»). В эту жестянку рыболовы наливали коту пресную воду, а то, бывало, и ситро, если кто-нибудь привозил ситро и опускал «для прохлады» бутылку на длинном шпагате с волнолома в морскую глубину.

Креветок тетя Пая держала в круглой корзине, прикрытой морской травой. В корзину была воткнута палка, а к ней прибита дощечка. На дощечке рукой будущего знаменитого скрипача было нетвердо написано: «Граждане! Кредит портит отношения!» Но, несмотря на эту предостерегающую надпись, тетя Пая охотно отпускала рыболовам креветок в кредит.

Мы проводили на волноломе с поэтом Эдуардом Багрицким целые дни и возвращались в город сожженные солнцем до медного блеска.

Багрицкий научил меня ловить на самолов

— длинный шнур с несколькими крючками и тяжелым грузилом на конце. Одесские рыболовы ловили только на белые серебрёные крючки. На эти крючки морская рыба брала, по их словам, охотнее, чем на черные.

Ловля на самолов оказалась увлекательным делом. Мы со свистом раскручивали над головой грузило и далеко закидывали шнур. Он разрезал малахитовую воду и уходил на дно. От шнура бежали торопливыми струйками пузыри воздуха. Море дышало, — вода то подымалась, натягивая самолов, то опускалась, и тогда самолов провисал.

После речной ловли я не сразу привык к тому, что не надо было смотреть на поплавок. Поплавка на самолове вообще не было. Клев передавался по шнуру, как нервный дрожащий удар. Тогда надо было подсекать и быстро выбирать шнур.

Попадались большие черные бычки — «кнуты», мелкая камбала — «глосса», барабулька, морские окуни и ерши, будто сделанные из одной колючей кости.

Морские рыбы казались мне тогда загадочными. Они вырывались из глубины, трепеща, разбрасывая брызги, и падали на горячие камни волнолома, как существа из далекого прохлад-

ного мира. Все в них было удивительным, — не только радужный блеск и странная окраска, но и острый свежий запах. Может быть, так, думал я, пахнут коралловые рифы (хотя этих рифов на Черном море и не было). А может быть, они пахли пузыристыми морскими водорослями. Или морской водой с ее неиссякаемой свежестью. Запах этот был похож на дыхание озона после длинной и веселой грозы.

Барабулька, блестящая, как новенькие серебряные монеты, тотчас лиловела на воздухе и покрывалась красными пятнами. Морские окуни переливались, как перламутр, тончайшими и туманными красками, заключенными в морской воде, — от лазоревой до золотой и пурпурной. В раскраске окуней было что-то схожее с тускнеющим цветом отраженных в море вечерних облаков.

Однажды худой рыболов в вылинявшей турецкой феске вытащил морского петуха — очень редкую и самую причудливую рыбу на Черном море.

Петух лежал на молу и шевелил плавниками, разгораясь переливами синего цвета. Вокруг стояли толпой рыболовы и молча смотрели на чудесную рыбу.

Потом самый старый рыболов грек Христо подошел к морскому петуху, осторожно взял его под жабры, спустился по выщербленному каменному трапу к воде и бросил рыбу обратно в море. Это был старый рыбацкий обычай — всегда выпускать в море морских петухов. Они были слишком необыкновенны. Зажарить их и съесть казалось таким же кощунством, как если бы человек растопил печку картиной великого мастера.

Я хорошо помню один «великий скумбрийный день» на волноломе. Над морем лежал синий штиль. Сквозь утреннюю дымку проступал далекий Дофиновский берег. У него был цвет охры.

Солнечная тишина уходила от подножья мола на тысячи миль. Море молчало на всем своем протяжении, до берегов Крыма, Кавказа, до Анатолии и Босфора. Даже рыболовы, сидевшие с длинными своими «прутами», перестали покачивать ими в воде, завороженные синевой и безмолвием.

Тетя Пая только вздыхала.

— До чего же приятное наше море! — говорила она вполголоса. — Такое приятное, что и не поверишь, будто на свете есть всякие ненависти и страсти.

Мы с Багрицким лежали на молу и смотрели на

небо. Оно, казалось, неслось все ввысь, к какому-то недостижимому зениту. Шнуры мы намотали на босые ноги. Бычки нетерпеливо дергали за шнуры, но нам было лень подняться, нам было жаль нарушать сияние этого утра. Багрицкий вполголоса читал стихи Веры Инбер об одесской осени:

Осенний воздух тонок и опасен,
Иной напев, иной порядок дней.
И милый город осенью прекрасен,
И шум его нежней.

Внезапно все сдвинулось и смешалось. Рыболовы схватились за удилища. Над водой, как залп из тысячи серебряных узких пуль, взлетела скумбрийная стая. Скумбрия разлеталась веерами, неслась потоками живых узких веретен. Тучи чаек налетали с открытого моря, шумя крыльями. Казалось, на волнолом несется метель.

Тотчас все пруты во всю длину мола взвились, будто их подкинула высокая волна, и на конце каждой лески забилась и засверкала скумбрия.

Пруты подымались и опускались торопливо и непрерывно. По всему молу скакали тугие рыбы с синеватыми спинками. Кот Зяма вертелся среди скачущей рыбы, и глаза его пылали зеленым

восторгом. Что-то кричала тетя Пая. К волнолому шли, торопясь, шлюпки с новыми рыболовами. С берега долетали протяжные крики: «Скумбрия пойшла!» Там метались в отчаянии толпы одесских мальчишек, так называемых «пацанов». Они хотели попасть на волнолом, но их не брали в шлюпки.

Все корзины рыболовов были уже полны рыбой, а скумбрийные стаи все еще мчались под водой струящимся серебром. Океанский наливной пароход входил в порт и величаво гудел. Красные отблески от его днища переливались в воде. Скумбрия проносилась сквозь этот блеск и на мгновение вспыхивала пурпурным цветом. А пароход все гудел, приветствуя большой южный порт. След за кормой парохода тянулся далеко через заштилевшее море, и мне казалось, что он никогда не растает и по этому следу можно будет прочертить путь парохода к Одессе из далеких, затуманенных зноем морей.

После этого я потом часто ловил рыбу на Черном море — в Балаклаве, Ялте, Коктебеле, в Сухуми и под Батумом, но ни разу больше я не видел таких несметных стай рыбы, как в это осеннее утро в Одессе. И, пожалуй, я ни разу больше не видел такого чуть туманного и прозрачного

штиля. Хотя нет! Были и другие морские тихие дни. Но все они очень различались друг от друга.

Год назад я был в Коктебеле. Потухший вулкан Карадаг обрывался в море опаленными стенами. Карадаг был суров и темен, а море у его ног лежало безмолвное и белое от облачного неба. В серой воде был далеко виден шнур самолова и маленький краб, прицепившийся клешнями к этому шнуру.

Брали морские окуни, но так редко, что у меня оставалось время подолгу смотреть на разноцветные облака над вершинами желтых гор, заросшими терновником. Облака эти стояли над всем восточным Крымом, как архипелаг летучих островов.

Я помню много хороших рыболовных дней на Черном море. Помню старую шхуну «Кудесник» в Балаклаве. Я ловил рыбу с ее рассохшейся палубы. Помню гранитную пристань в Массандре, похожую на средневековый форт. Там за час можно было поймать всего одного-двух бычков, но, несмотря на это, просидеть весь день, подремывая на теплых, отполированных волнами камнях.

Помню горячую крупную гальку на берегу под Сухуми. Там вместо грузила я привязывал к са-

молову плоские голыши. Они часто срывались, когда я раскручивал над головой самолов, и били с размаху о скалы, как разрывные пули. Тогда от скал шел едкий дымок и пахло порохом.

Помню ловлю на удочку в Батумском порту, когда красный пробковый поплавок затеривался среди множества мандариновых корок и ветер с берега приносил лимонный запах черной лакированной листвы. А Черное море шумело за молом, где стояли, накренившись, огромные грузовые пароходы и спали, дожидаясь погрузки.

Но все же морская ловля, несмотря па всю ее прелесть, не может, по-моему, сравниться с речной. Прежде всего на море мешают штормы. К речной ловле нужно применять несравненно больше ловкости и мастерства, чем к ловле в море, где рыба берет жадно и без разбора, даже на куски тряпок, лишь бы они были ярко окрашены.

Но все же будем благодарны Черному морю не только за его праздничность, блеск и пенный шум, но и за рыбную ловлю у его берегов. Она полна поэзии. Стоит провести на морском берегу весь день хотя бы для того, чтобы увидеть, как прибой вынесет на берег лимонную корку и осторожно положит ее к вашим ногам, чтобы

слышать ропот прибоя и следить за тем, как армады облаков плывут к вершинам гор, редеют к вечеру и невольно напоминают нам о великом нашем поэте, который так пылко был привязан сердцем к этой полуденной земле и оставил нам о ней свои изумительные стихи:

Редеет облаков летучая гряда…

1951

Умолкнувший звук

В Крыму около мыса Карадаг есть маленькая бухта. Называется она Разбойничьей. Очевидно, когда-то она была приютом контрабандистов. Здесь они прятали в расщелинах скал свои товары.

Сейчас на этих скалах всегда дрожат от ветра желтые бессмертники. Огромные камни, скатившиеся с Карадага тысячу лет назад, лежат на берегу. Они ушли в землю, обросли железным терновником и стали похожи на грубые гробницы героев.

Как-то я лежал на пляже в этой бухте и, закрыв глаза, прислушивался к морскому шуму. Он состоял из равномерного чередования звуков. Сначала был слышен набегающий гул. Потом наступало короткое затишье, когда волна останавливалась у края намытой гальки. И, наконец, волна с шорохом уходила обратно.

Настойчивый гул прибоя прекращался только при полном штиле. Но такой штиль бывает редко. Всегда кажется, что он приходит из каких-то мерцающих стран. Берега пахнут теплым гравием, и на мачтах не шевелятся даже старые,

истлевшие флаги.

Штиль наступает в такой тишине, что слышно, как в горах стучит топор. От каждого его удара вздрагивает на воде легкая рябь. Отражение этой ряби на подводном песке похоже на испуганную беготню маленьких рыб.

Оцепенение штиля овладевает берегами древней Киммерии — Восточного Крыма. Говорят, что в рыжем здешнем кремнеземе еще недавно находили головы мраморных богинь — покровительниц сна и легкого ветра Эола.

Я лежал, слушал ропот волн, думал о каменных богинях и чувствовал себя счастливой частицей этого южного мира.

Невдалеке от меня сидела на пляже незнакомая девочка лет пятнадцати, должно быть школьница, и учила вслух стихи Пушкина. Она была худенькая, как приморский мальчишка-пацан. На ее загорелых коленях белели шрамы. В ладонях она рассеянно перебирала песок.

Я видел, как сыпались между ее тоненьких пальцев обломки ракушек и крабьих лапок, крошечные осколки зеленого стекла и марсельской черепицы. В этих местах море почему-то выбрасывает очень много обломков этой оранжевой и звонкой, как медь, черепицы.

Девочка часто замолкала и смотрела на море, прищурив светлые глаза. Ей, должно быть, хотелось увидеть парус. Но море было пустынно, и девочка, вздохнув, снова начинала читать скороговоркой стихи Пушкина:

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;

Старца великого тень чую смущенной душой.

Я долго слушал ее бормотание, потом сказал:

— Вы неправильно читаете эти стихи.

Девочка подползла на коленях поближе ко мне и, упираясь ладонями в горячий песок, спросила:

— Почему?

Она требовательно посмотрела на меня большими серыми глазами и повторила:

— Почему же?

В голосе ее я услышал тревогу. Маленькая жилка быстро билась на шее у девочки. Казалось, что она бьется так быстро тоже от тревоги.

— Потому, что это гекзаметр, — ответил я, — древний эллинский размер. Он придуман Гомером. Стихи, написанные гекзаметром, нужно читать не так.

— А как?

— Сейчас я вам объясню, — ответил я и понял, что объяснить гекзаметр будет не так уж просто. — Дайте мне немного подумать.

— Пожалуйста. Вы думайте, а я пока выкупаюсь. Хорошо?

— Только осторожнее. Я здесь закинул самолов.

— Ой! — воскликнула она. — Это такой шнур с крючками? Если у вас клюнет, дайте мне вытащить. Ну, пожалуйста! Может быть, мы поймаем морского черта.

— Все может быть, — ответил я, и в ту же минуту самолов, как нарочно, сильно дернуло.

Девочка схватила шнур и, перебирая черными руками, потащила его из воды. Шнур натянулся и начал туго ходить из стороны в сторону. Потом в прибрежной пене что-то засверкало, забилось, и девочка вытащила разъяренную камбалу. Рыба подскакивала, открывала пасть и кусала мокрую гальку.

— Я не знала, что камбала такая злющая, — с грустью сказала девочка. Правда, мы ее здорово вытащили?

Я отцепил камбалу, а девочка пошла к морю. Она вошла в воду по щиколотку ж остановилась. За последние дни со стороны Севастополя нагна-

ло холодную воду.

Девочка подняла руки и начала закручивать венком на голове рыжеватые выгоревшие косы. Она была похожа сейчас на маленькую бронзовую богиню целомудрия.

Я начал вслух повторять тот же пушкинский гекзаметр, что читала девочка. Шумели равномерные волны — с моря катилась мертвая зыбь, — и первая строка стихов неожиданно слилась с размером волны.

Пока я говорил: «Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи», волна успела набежать на берег, остановиться и отхлынуть. И вторая пушкинская строка: «Старца великого тень чую смущенной душой» — с такой же легкостью вошла в размер второй волны.

По законам гекзаметра в середине строки надо делать небольшую паузу — «цезуру» — и только после этого произносить конец строки.

Я снова повторил первую строку. Пока я говорил: «Слышу умолкнувший звук», волна набежала на берег. После этих слов я остановился, выдерживая цезуру, и волна тоже остановилась, докатившись до небольшого вала из гравия. Когда же я произносил конец строки: «божественной эллинской речи», то мой голос слился с шорохом

уходящей волны, не опередив его и не отстав ни на мгновение.

Я сел на песке, пораженный тем, что мне сейчас открылось в шуме волн. Надо было проверить эту удивительную, как мне казалось, случайность на более сложном гекзаметре.

Я вспомнил стихи Мея о златокудром Фебе и прочел их, дождавшись начала волны:

Феб утомленный закинул (пауза — цезура)

Свой щит златокованый за море…

Одна волна ушла, и тут же подошла вторая:

И разливалась на мраморе (пауза — цезура)

Вешним румянцем заря…

Снова гекзаметр повторил размеры волны.

Я еще ничего не понимал. Было ясно одно: протяженность звучания волны совпадает с протяженностью строчки гекзаметра. Я угадывал в этом какую-то тайну, хотя и уверял себя, что это не больше чем совпадение ритма волны и стихов.

Так возникла «тайна гекзаметра». Она появилась в Разбойничьей бухте и там же начала

сгущаться, — именно с той минуты, когда девочка вышла из воды и я объяснил ей, как надо читать гекзаметр.

В общем, я понимаю, — ответила она неуверенно. — Но я только не понимаю, почему среди строки надо останавливаться и делать, эту… Ну, как это вы говорили… паузу.

— Цезуру, — подсказал я.

— Вот эту самую цезуру. Зачем она нужна? Без нее получается даже лучше. Вы прочтите, пожалуйста, про себя. И сами увидите.

Я прочел про себя гекзаметр о божественной эллинской речи. Девочка была как будто права. Но я не хотел сдаваться и ответил:

— В гекзаметре очень длинная строка. Чтобы ее облегчить, нужно сделать остановку. Только сейчас вы это вряд ли поймете.

Она улыбнулась и ничего не ответила. В ее улыбке я заметил оттенок некоторого превосходства надо мной. Девочка была еще в том возрасте, когда интересно ставить взрослых в тупик и спорить с ними из-за каждого пустяка.

Она ничего не ответила, но все же чувство превосходства надо мной у нее появилось. В конце концов оно должно было в чем-нибудь выразиться.

Когда мы возвращались в Коктебель по тропинкам над обрывами, в одном совершенно безопасном месте она вдруг сказала мне Родосом, не допускавшим возражений;

— Дайте мне руку! Я сама здесь не влезу.

Она уже начинала капризничать. Когда же мы прощались, девочка небрежно сказала таким же строгим голосом:

— Приходите завтра в Мертвую бухту. Я вам принесу сердолик. Вы таких никогда не видали.

Я понял, что при моем характере даже эта едва знакомая девочка станет командовать мной, как захочет. Поэтому я не пошел назавтра в Мертвую бухту.

Через несколько дней я встретил девочку на дороге к могиле поэта Волошина. Она осторожно вела под руку седую женщину в черных очках.

Девочка холодно кивнула мне и, ничего не сказав, прошла мимо.

— Что с тобой, Лиля? — спросила женщина в черных очках. — Ты вся вдруг сделалась как каменная.

— Я боюсь, чтобы вы не споткнулись, тетя Оля, — ответила девочка. — Тут очень плохая дорога.

У меня началась бессонница. Первое время она

даже мне нравилась. Нравилась тем, что, лежа в темноте, я мог следить за всеми переменами ночи. Окно было открыто. Я слышал плеск самой ничтожной волны и треск стручков из сада. Обыкновенно созревшие стручки акации лопались днем, в жару. Но иногда стручки раскрывались и ночью.

Ночью я не курил. Все, что нарушало темноту, даже огонек папиросы, мешало мне слушать. Мне казалось, что я один не сплю на всей огромной земле, и если я затаю дыхание, то смогу даже уловить тихий звенящий звук от движения звезд в мировом пространстве. Древние греки верили в этот звук и называли его «гармонией сфер».

Звезды нетленно сияли за окном, умножая красоту окружающей ночи. Лежа без сна, я как бы охранял сон других людей, — были ли то дети, или молодые женщины, или старики, забывшие на несколько часов тягость своего возраста.

Несколько раз во время бессонницы я слышал из соседнего дома горький плач знакомого пятилетнего мальчика. Он был чем-то испуган. Только мать могла понять его и успокоить, поцеловать мокрые щеки и пригладить растрепанные волосы. То была материнская тайна, и никто из посторонних не мог проникнуть в нее.

Мальчик успокаивался, и снова ночь, на миг остановившись, шла дальше, сея сон на заросли дубняка в горах и остывшие скалы, на море и отары овец, на пыльную полынь и мокрые от недавних слез ресницы ребенка.

В одну из таких ночей я вспомнил о слепой женщине в черных очках — ее так бережно вела под руку девочка Лиля — и о том, что я обидел эту девочку неизвестно за что. Неужели только за то, что ей на мгновение захотелось вообразить себя юной женщиной? Подумаешь, какой грех!

Потом я начал перебирать стихи о бессоннице. Я вспомнил пушкинскую «жизни мышью беготню» и стихи Мандельштама:

Бессонница. Гомер. Тугае паруса.

Я список кораблей прочел до середины:

Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,

Что над Элладою когда-то поднялся…

Бессонница… Гомер… Вспышка зарницы ворвалась во тьму. Слепая женщина… Гомер был слеп! Жизнь существовала для него лишь во множестве звуков.

Гомер создал гекзаметр.

И вдруг мне стало ясно, что слепой Гомер, сидя у моря, слагал стихи, подчиняя их размеренному шуму прибоя. Самым веским доказательством,

что это было действительно так, служила цезура посередине строки. По существу она была ненужна. Гомер ввел ее, точно следуя той остановке, какую волна делает на половине своего наката.

Гомер взял гекзаметр у моря. Он воспел осаду Трои и поход Одиссея торжественным напевом невидимых ему морских пространств.

Голос моря вошел в поэзию плавными подъемами и падениями, — голос того моря, что гнало, шумя и сверкая, веселые волны к ногам слепого рапсода.

Нашел ли я разгадку гекзаметра? Не знаю. Я хотел рассказать кому-нибудь о своем открытии, но никого вокруг не было, кто бы мог заинтересоваться этим. Кому какое дело до Гомера!

Мне хотелось убедить кого-нибудь, что рождение гомеровского гекзаметра — только частный случай в ряду еще не осознанных возможностей нашего творческого начала, что живая мысль часто рождается из столкновения вещей, не имеющих на первый взгляд ничего общего между собой. Что общего у кремня с железом, а между тем их столкновение высекает огонь.

Что общего между шумом волн и стихами? А их столкновение вызвало к жизни величавый стихотворный размер.

В конце концов мне представился случай рассказать о Гомере только обиженной на меня девочке Лиле. Я встретил ее в Мертвой бухте с тем мальчиком, что иногда плакал по ночам.

Добраться до Мертвой бухты было трудно. Приходилось перелезать через отвесную скалу над морем. В некоторых местах надо было карабкаться, хватаясь за кусты. Тогда земля оказывалась в нескольких сантиметрах от глаз, и на ней были хорошо видны блестки серного колчедана и красные муравьи — такие маленькие, что с высоты своего роста человек не мог их заметить.

Бели Разбойничья бухта была приютом контрабандистов, то Мертвая — бухтой кораблекрушений.

На песке валялись горлышки бутылок, обломки шлюпок с облупленной голубой краской, погнутые немецкие каски, оболочки глубинных бомб и куски ребристых резиновых труб. В них жили крабы.

Лиля нисколько мне не удивилась. Она посмотрела на меня прищуренными глазами и сказала:

— А-а, это вы!

И тут же начала болтать:

— А я оставила дома тот сердолик, который хотела вам подарить. Я же не знала, что вы сюда

придете. Мишка, не бей по воде ногами. Ты всю меня забрызгал. Невозможный тип! Вы знаете, только что выскочила из воды большущая рыба. Должно быть, кефаль. Вы будете здесь ловить? Тут никого нет, даже страшно. Один только раз прошел пограничный патруль. Мишка их попросил, и они выстрелили в воду. Такое было эхо — до самого Коктебеля. Вы посмотрите, что я нашла, — морского конька.

Лиля порылась в сброшенном на песок легком платье и достала из кармана сухого морского конька в колючей броне.

— А зачем он? — спросил мальчик.

— Это фигура, — ответила Лиля. — Понимаешь? Ими крабы играют в шахматы. Сидят под скалой и играют. А кто смошенничает, того бьют клешней по голове.

Не переставая болтать, Лиля засунула морского конька обратно в карман своего платья, потом вдруг нахмурилась, скосила глаза, медленно вытащила из кармана руку и осторожно разжала ее. На ладони у Лили лежал сердолик с дымными жилками.

— Оказывается, он здесь, — сказала Лиля и сделала большие глаза. — А я думала, он дома. Как это я его не потеряла. Возьмите, пожалуйста.

Это вам. Мне совсем не жалко. Я еще найду их сколько хотите.

Я взял сердолик. Лиля следила за мной.

— Ой! — вдруг вскрикнула она. — Да разве вы не видите, что на нем рисунок волны? Вон он, будто из дыма. Сейчас будет лучше видно.

Она облизала сердолик. Он потемнел, и действительно, на нем появился рисунок морской волны.

— Он соленый, — сказал мальчик. — Я пробовал.

— Слышу умолкнувший звук, — вдруг торжественно сказала Лиля, сделала цезуру и рассмеялась, — божественной эллинской речи…

— Хотите послушать? — спросил я, — рассказ про тайну гекзаметра?

Я рассказал Лиле про слепца Гомера и про то, как он открыл гекзаметр. Лиля лежала на песке, подперев подбородок руками, и слушала. Мальчик лег рядом с ней и тоже оперся подбородком на руки.

Он следил за Лилей и повторял все ее движения. Она подымала брови — и он подымал брови, она встряхивала головой — и он встряхивал головой, она немного поболтала в воздухе пятками — и он тоже немного поболтал пятками.

Лиля шлепнула его по спине:

— Перестань, обезьяна!

— Ну как? спросил я ее. — Интересно?

— Да! Тетя Оля слепая. Может быть, она тоже услышит, как Гомер, что-нибудь такое, чего мы не слышим, потому что мы зрячие. Можно, я расскажу об этом у себя в школе в Ленинграде на уроке о Пушкине? Он тоже писал гекзаметром.

— Ну что ж, расскажите.

— Пусть мне даже поставят двойку, а я непременно расскажу, — сказала Лиля с самозабвенным видом.

Мы возвращались в Коктебель по крутым скалам. Лиля крепко держала за руку мальчика, сердилась, когда он оступался, а в опасных местах молча протягивала мне руку, и я вытаскивал ее и мальчика наверх.

Через неделю я уехал и почти позабыл о Коктебеле, Гомере и Лиле. Но все же судьба снова столкнула меня с Гомером и с ней.

Это было через три года после того, что описано выше.

Наш пароход оставил по левому борту бетонные форты и пожелтевшие, как паленая бумага, дома Галлиполи и вышел из Дарданелл в Эгейское море.

Обычное представление о море исчезло. Мы вышли не в море, а в лиловое пламя. Пароход даже замедлил ход, как бы не решаясь потревожить эту светоносную область земли. Он осторожно приближался к ней, выгибая за кормой длинный пенистый след.

По левому борту еще тянулись сожженные берега Малой Азии, бесплодные холмы баснословной гомеровской Трои. Там, в бухте, как в красноватых чашах из окаменелой глины, качалась и шумела живая водяная лазурь и разбивалась пеной о низкие мысы.

К вечеру на море опустился штиль, и началось медленное шествие по горизонту древних островов: Имроса, Тенедоса, Лесбоса, Милоса.

Острова проходили подобно морским валам. Каждый остров вырисовывался на угасающем небе отлогим подъемом, вершиной и таким же отлогим падением. Это напоминало титанический каменный гекзаметр, что лег на море сплошной строфой — от Эллады до побережья Малой Азии.

Потом острова приблизились. Можно было уже различить серовато-зеленые масличные рощи и поселки в маленьких береговых бухтах. Над всем этим вздымались кручи рудых и сиреневых гор. На их вершинах, подобно дыму из гигантских

кадильниц, курились облака, освещенные вечерним солнцем. Они бросали красноватый отблеск на море, горы и лица людей.

Мигнул первый маяк. Дуновение ветра донесло от островов запах лимона и еще какой-то запах, горьковатый и приятный, как будто сушеной ромашки.

Ночью я поднялся на палубу. Пароход шел Саронических заливом. Два пронзительных огня — зеленый и красный — лежали на низком горизонте ночи. То были створные огни Пирея.

Я взглянул туда, где лежали Афины, и почувствовал холод под сердцем: далеко в небе среди плотного мрака аттической ночи сиял Акрополь, освещенный струящимся светом прожекторов. Его тысячелетние мраморы светились нетленной, необъяснимой красотой.

Пароход медленно втягивался на рейд Пирея.

Осенью после этого путешествия я приезжал на несколько дней в Ленинград и попал на концерт Мравинского в филармонии.

Около меня сидела худенькая девушка, а рядом с ней — слепая женщина в черных очках.

— Ну как, Лиля, — спросил я вполголоса девушку, — получили вы двойку за Гомера? Или нет?

Девушка живо обернулась, прищурила серые

глаза и схватила меня за руку.

— Нет! Я получила даже пятерку. И, вы знаете, я рада, что вы здесь.

Она познакомила меня со слепой женщиной — тетей Олей, застенчивой и молчаливой, потом сказала, что в истории с гекзаметром и Гомером было что-то такое, чего она не может передать, так же как стихи, которые никак не можешь вспомнить во сне.

Я удивился этому сравнению.

Мы вышли, и я проводил слепую женщину и Лилю до дома. Жили они на Тучковой набережной. По дороге я рассказал об Эгейском море и островах. Лиля тихо слушала меня, но иногда перебивала и спрашивала слепую: «Ты слышишь, тетя Оля?» — «Слышу, не волнуйся, — отвечала слепая. — Я все это очень ясно представляю».

Около старого темного дома мы попрощались.

— Ну вот, — сказала Лиля, — мы только то и делаем, что прощаемся. Даже смешно. Напишите, когда вы опять будете в Ленинграде, и я покажу вам в Эрмитаже одну картину. Ее никто не замечает. Просто грандиозная картина.

Они вошли в парадное. Я немного постоял на набережной. Зеленоватый свет речных фонарей падал на черные баржи, причаленные к деревян-

ным трубам. Мимо фонарей летели сухие листья.

И я подумал, что, в конце концов, утомительно и печально все время встречать новых людей и тут же терять их неизвестно на сколько времени — может быть, навсегда.

Ялта, 1957